

М. В. БИБИКОВ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ВИЗАНТИИ

1369



Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
1998

ББК 67.105 (Рос.)

Бибииков М. В. (98)

Редколлегия серии «Византийская библиотека»:

Г. Г. Литаврин (председатель), О. Л. Абышко (со-председатель), И. А. Савкин (со-председатель), С. С. Аверинцев, М. В. Бибииков, С. П. Карпов Г. Л. Курбатов, Г. Е. Лебедева, Я. Н. Любарский, И. П. Медведев, Д. Д. Оболенский, Г. М. Прохоров, А. А. Чекалова, И. И. Шевченко

Монография М. В. Бибиикова «Историческая литература Византии» является систематическим описанием и анализом эволюции исторических представлений византийских авторов всего «византийского тысячелетия». Ученый анализирует изменения в пространственно-временных ориентациях средневековых греков, отраженных на страницах монументальных историографических сочинений, в хрониках, мемуарных записках, других текстах близких жанров.

Для всех интересующихся византийской историей и культурой.

На форзацах — Брак в Кане. Тайная вечеря. Миниатюры из Евангелия конца IX — начала X в.



ВВЕДЕНИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ВИЗАНТИЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Византинистику, если ее сравнивать с многочисленными возникающими на наших глазах научными направлениями, не отнесешь к разряду новых наук. Но византийское литературоведение — отрасль молодая. Изучение литературного творчества Византии, функции художественного слова и словесного образа, выяснение эстетического общественного значения памятников византийской книжности, и в особенности историографии, стало сферой пристального внимания литературоведов.

Характерная черта современного научного развития — углубление принципов историзма при анализе творчества деятелей византийской литературы. С этим связаны и некоторые другие особенности постижения средневековой культуры. В центре исследования оказывается авторская индивидуальность писателя, а не просто совокупность «написанного» (того, что немецкая традиция называет «Schriftung»). В результате стало возможным не формальное каталогизирующее

описание или схематическая классификация литературы «по жанрам» или «по памятникам», но определение социо-культурологических основ творчества, авторских установок и целей создания того или иного произведения с учетом его художественной роли и общественной направленности.

Книга одного из крупнейших современных византистов, бывшего президента Австрийской академии наук, профессора Венского университета Герберта Хунгера¹ о византийской светской литературе на греческом «чистом» языке ожидалась с большим интересом. Этим исследованием, вышедшем в ряду пособий по византиноведению в рамках фундаментальных изданий по истории античности, как бы завершается «переиздание» «Истории византийской литературы» Карла Крумбаха², выпущенной наиболее полным изданием без малого сто лет назад. Входящие в монографию К. Крумбаха разделы по социально-политической истории Византии (написан Х. Гельцером), богословской литературе (написан А. Эрхардом) и литературе на народном языке составили в наше время сюжеты отдельных книг Г. А. Острогорского и Г.-Г. Бека.³ Но два тома Г. Хунгера, как и эти книги, не могли стать простым дополнением и «исправлением» работы К. Крумбаха. На них не мог не сказаться опыт современной гуманитарной науки. Особый интерес к рассматриваемому произведению диктуется и значительным удельным весом, по подсчетам Г.-Г. Бека и И. И. Шевченко, среди византийских литераторов именно светских авторов. Центральное место в книге австрийского ученого занимает и историческая проза.

Предметное деление перечисленных выше монографий предписано традицией. Влияние компендиума К. Крумбаха на последующее развитие византинис-

тики сказалось как в отождествлении понятия литературы с совокупностью написанного на данном языке, так и в жанрово-метрической дифференциации литературного наследия. Эти установленные «правила» и определили водораздел между темами Г. А. Острогорского, Г.-Г. Бека и Г. Хунгера, ограничили и предмет исследования каждого из них (соавторами Г. Хунгера стали Кристиан Ханник, написавший главу о музыкальной литературе, и Петер Пилер — автор главы по правовой литературе).

Формулируя свою задачу, Г. Хунгер сводит ее к составлению справочника в качестве *instrumentum studiorum*, к «критической интерпретации» сохранившегося объема нецерковной византийской литературы на кафаревусе. В издании учтены многочисленные изменения и дополнения по сравнению с крумбахеровским сводом. Анализируются новые публикации, появившиеся в нашем столетии, — от эпистолярного наследия Григория Кипрского до риторических сочинений Никифора Васибеки. Учтены атрибуция известного К. Крумбахеру «Синописа Сафы» Феодору Скутариоту и сомнения, высказанные относительно аутентичности и датировок записок Готского топарха и Иоанна Каминиата; реконструирована самим Г. Хунгером хроника Иоанна Хортасмена, дезатрибуирован «Лексикон Зонары», вторая редакция которого, вслед за К. Алперсом, приписывается Никифору Влеммиду; исчезли псевдоавторы, фигурировавшие у Крумбахера, такие, как Свида, Иоанн Сикелиот и др.

Обзор материала не ограничен изданными памятниками: активно привлекаются неопубликованные сочинения — Иоанна Цеца, Николая Музалона, Евстафия Солунского, Константина Манасси, Василия Педиадита, ритора Георгия Торника, Феодора Ласкаря, Ники-

фора Хрисоверга, Григория Антиоха, Константина Стилва и многих других. Наконец, привлекаются не только известные науке материалы, но и определяются перспективы исследования тех или иных авторов, литературных жанров и направлений (например, подчеркивается необходимость создания корпуса эпиграмм).

Но важнее другое. Новому изданию присущ современный взгляд на предмет исследования, в его основе — современная проблематика византийского литературоведения. Это сказывается как в объеме, в тематике, так и в существе изложения, во взгляде автора.

Вероятно, своеобразная дань нашему времени — почти десятикратное увеличение (по сравнению с книгой Крумбахера) объема, отведенного естественнонаучной литературе (математика, астрономия, естествознание, военная теория, право). Истории естествознания и техники уделяется сейчас большое внимание, что отразилось и на структуре данной книги. Из современных же представлений исходит автор, говоря о самодовлении филологической науки и «всевластии риторики», определяя их место в византийской культуре по контрасту к расхожим оценкам сегодняшнего дня.

Однако самое главное изменение по отношению к К. Крумбахеру — иная ценностная шкала и другие точки отсчета. Родоначальник византиноведения исходил, прежде всего, из античных культурно-исторических критериев: близость античным формам определяла в его глазах значимость творений византийцев. Античные традиции, по Крумбахеру, доминировали и в византийском историописании, причем значение хроник исчерпывалось донесением до нас в убогих компиляциях несохранившихся античных оригиналов. В соответствии с этим и точка отсчета находилась не в самой византийской действительности, а в античном

прошлом, и подобно тому, как основной литературной заслугой средневековых греков признавалось филологическое комментирование древних, вся византийская культура и литература представляла ученическим комментарием к шедеврам древности, не будучи связанной ни со своим временем, ни с движением вперед.

Напротив, византийская литература у Г. Хунгера и его соавторов тесно переплетена с особенностями византийской социальной жизни и ее изменениями. Этот важный принцип анализа последовательно проводится по всем разделам. Индивидуализация византийского общества обуславливает в антитезе категорий «частное» и «общее» (ἰδιόν и κοινόν) акцент на первой у византийских комментаторов Аристотеля; само понятие «философии» переходило от полного слияния к эмансипации по отношению к понятию «теология» в зависимости от хода развития общества, приведшего к формированию в Византии (раньше, чем в ренессансной Италии) христианского гуманизма как специфической формы мировосприятия. Если для К. Крумбахера «мертвый формализм» определял стереотипность риторики, то Г. Хунгер появление, например, «Этопии» Иоанна Киннама, тематику прогимнасм, расцвет энкомиастики при первых Комнинах и угасание при последних связывает с событиями повседневной жизни, актуальными требованиями текущего дня (интересами стабилизации режима, активизацией или ослаблением политической роли ипподрома и т. п.).

Эпистолография у Крумбахера целиком укладывалась в разделе «риторика» с акцентом на типичном и нормативном; для Хунгера важнее социальная функция византийских писем: они — инструмент информации и коммуникации. Социальный круг того или иного византийского автора и его политические сим-

патии — неременная «визитная карточка» каждого рассматриваемого в книге историка. Для расширения средневековых географических знаний существенным моментом представляются исследователю миссионерство, паломничества к Святым местам и т. п. Само увлечение филологическими штудиями в Византии не исчерпывается каким-то имманентным пристрастием к книжности: комментаторство и антикварные изыскания византийцев IV в. оцениваются как своеобразный «бой отступления» язычества, отмечается и национально-политическое значение именно греческой филологии в условиях византийского полиэтнизма. Широкое распространение и популярность филологии и риторики в определенные периоды обусловлены не только эстетическими предпосылками — принимают-ся во внимание такие факторы, как престижность науки, ее роль в карьере политиков и дипломатов. Крумбахер отмечал скудность литературы по военной теории (несмотря на отличную воинскую практику в ранней Византии), не выходящей за рамки представлений древних; Хунгер, напротив, усматривает в Тактике Льва актуальную политическую значимость, а в сочинениях Константина Багрянородного — военно-политическую стратегию с учетом ситуации именно X в. Даже стилистические изменения (состав и структура прооимиона юридической литературы македонского периода) рассматриваются в связи с социально-политическими переменами.

Радикален пересмотр крумбахеровской оценки византийского романа. Там роман — дитя Второй Софистики, «риторика» в пейоративном смысле слова (в этом разделе и были помещены главы о романе); для Хунгера роман — «поэзия». Австрийский византист тонко подмечает следы эпохи создания рома-

нов — печать XII в. находится в самой ткани «Роданфы и Досикла»; он подчеркивает черты реализма и историзма в этих произведениях, имеющих самодовлеющее литературно-художественное значение, не поглощаемое античным субстратом жанра. Условиями византийской культурной жизни определяет автор и причины особого интереса византийцев к роману: исчезновение театра в средние века вызвало к жизни своеобразную форму драмы — «действия» для чтения.

Наиболее принципиальная сторона анализа Г. Хунгером византийской литературы — апелляция к категориям «массовой литературы», «широкого читателя» и другим понятиям социологии. Интерес к наиболее характерным проявлениям массовых феноменов культуры, к потребностям «среднего» византийца свойствен многим современным исследованиям. Таким же образом важнейшим моментом в анализе предмета рассматриваемой книги становится и учет читательской аудитории, «социального заказа», конъюнктуры массового спроса «потребителя» византийского книжной культуры.

Так, особенности византийских хроник связываются с понятием *Trivialliteratur*, ориентирующей преимущественно на низкие слои общества. Вкусы «тривиальной литературы» определяют и популярность таких общих мест, как частые описания стихийных бедствий, знамений, примет, повышенное чувство сенсационности византийской исторической прозы, доходящее до садизма (естественного в этом свете и для христианского общества), натурализм описаний, обостренное любопытство к аксессуарам интимной жизни особ императорского двора, знати, негативные характеристики евнухов, осуждение богатства. Напротив, элитарность (и социальная, и интеллектуальная) ри-

торики обусловливает, с одной стороны, ее деконкретизованность (по принципу *sapienti sat*), архаизацию терминологии, этнонимии, и с другой — учет риториками запросов массы (выражающийся, в частности, в культивировании писателями авторской позиции «бедности»). Впрочем, Хунгер далек от упрощенного толкования энкомиастики лишь как продажного ремесла; ее непрагматизм, ненаправленность на достижение узкоутилитарных выгод по милости восхваляемого василевса не исключается практикой работы по заказу.

В связи с вопросом о читательской аудитории византийцев нельзя не отметить тему театра. В Византии, как известно, не было театра как общественно-культурного института. Тем показательнее подмечаемые в многочисленных произведениях самых разных жанров драматургические приемы, театральные термины, апелляция византийских литераторов к актерству, зрелищу, представлению. Публичное чтение письма, распространенное в Византии, называлось эпистологографами *θεατρον* — «театр». Г. Хунгер пишет о драматизации действия в хрониках Атталиата и Вриенния, разбирает «историческую драму» и ее протагонистов у Пселла и Никиты Хониата. Театр, вернее, его отсутствие, обусловленное, по Хунгеру, тенденциями его развития уже в поздней античности, определил специфические черты византийского стихотворного романа как драмы в стихах (действие романа обозначалось авторами как *δρᾶμα*). Драма в Византии становится предметом чтения, комментирования, филологических экспериментов. Компенсацией отсутствия драматургии представляются широко распространенные в византийских исторических, полемических, риторических сочинениях, романах и сатире диалоги; тяга к зрелищам и представлениям удовлетворялась литургической драмой

церковного богослужения и доведенной до совершенства режиссурой церемоний императорского дворца. «Totus mundus ludit histrionem» становится в византийских условиях не только меткой метафорой, но буквальным принципом самой жизни.

Итак, не столько античные гражданские и духовные ценности составляют суть развития византийской культуры, сколько потребности самого средневекового общества, взаимодействие собственно византийских феноменов.

Средневековая культура греков сама обращалась к античному наследию как эталону, классическому образцу. В связи с этим в науке разработана концепция подражания, «мимесиса», как важного фактора византийского мирозерцания. Таким образом, античность не поглощает собственно византийскую культуру, но является как бы точкой отталкивания лишь в части, сопричастной эпохе средних веков (эта идея хорошо демонстрируется при анализе категорий μέθεξις, μετοχή во взаимоотношениях древнегреческой и византийской философии). Вместе с тем ряд тенденций, связывавшихся у Крумбахера с декадансом средневековья, теперь относится к позднеантичному периоду. Например, популярность византийской астрологической литературы обуславливается тенденцией «ремифологизации» науки уже в поздней античности, когда, пройдя в классическую эпоху путь «от мифа к логосу», мысль то и дело возвращалась «от логоса к мифу».

Итак, литература, историческая проза тесно связываются с социо-культурными условиями средневековой Византии. Но и сами они предстают в развитии. Через всю книгу Г. Хунгера проводится принцип сравнения одного автора с другим, их взглядов, стилей и эмоциональной окраски сочинений. Для ис-

ториописания, математической, исторической и правовой литературы предлагается периодизация, чуждая Крумбахеру. Анализ П. Пилером византийской юриспруденции построен на основе раскрытия закономерностей эволюции как юридических памятников, так и самой государственной машины: ранневизантийский путь от «конституционной монархии» принципата к «абсолютной монархии» византийских василевсов, взаимовлияние тенденций классицизма и вульгаризации, последствия консолидации юридического образования при Юстиниане и стагнация в правоведении по завершении юстиниановской эпохи, оживление в юридической литературе в конце VI в., классицизм македонского ренессанса, военизация права при Комнинах и т. д. — таковы отмечаемые моменты этого движения.

Нельзя не отметить и такого важного принципа современного анализа, как систематическое применение литературно-эстетических критериев при характеристике исторических и других произведений. Литературной традицией определяется идеализация образа адресата послания в эпистолографии, отмечаются художественные достоинства историографических трудов Зосима, Пселла и Анны Комниной, Евстафия и Киннама, символизм, метафорика и эстетизм византийской экфразы, эмоциональное напряжение и живость чувства монодий. Г. Хунгер не согласен с негативной оценкой византийских центонов: в них он видит характерную черту византийского эстетизма — известные цитаты в мозаике сцепления создают эффект отчуждения (*Verfremdung*) хорошо знакомого античного материала, что поражает в заданном византийцем контексте своей новизной. Описание болезней, столь популярное и специфичное для Византии, являет собой

сплав литературных и профессиональных медицинских посылок.

Обращение исследователей к категории литературного образа следует признать важнейшим принципом литературоведческого анализа. Так, рассматривается структура и развитие образа, его сложность, амбивалентность проявлений исторического героя у Никиты Хониата; отмечается разрыв между декларируемым тезисом и образным описанием — прием, используемый в «Хронографии» Михаила Пселла. Неоднозначность художественного образа, неадекватность высказываемой характеристики литературной функции персонажа во всех сложных отношениях с изображаемой действительностью — явление, отличающее литературу самого высокого класса. Применительно к памятникам византийской литературы, ее исторической прозы, об этом и пишет Г. Хунгер.

Но если многие идеи, подчеркнуто сопоставленные здесь вместе, свидетельствуют о пересмотре оценок прошлого века, то принцип организации материала в книге, система изложения по существу традиционны.

Издержки жанровой классификации очевидны. Анализ творчества одного писателя оказывается расфокусированным по разным главам. Такой принцип изложения истории литературы усвоен византинистикой от антиковедения, где тот или иной классический писатель нередко целиком укладывается в главу о соответствующем жанре. Но большинство византийских авторов «многожанровы» в своем творчестве. Недостатки же крумбахеровской схемы членения византийской литературы проявляются в книге, когда речь идет о риторичности Никиты Хониата в его «Истории» (тут бы привлечь для сравнения его речи!) или о литературных достоинствах Евстафия Солунского

(на материале «Взятия Солуни», без привлечения опять-таки риторических сочинений), о выдающемся месте в истории византийской литературы Михаила Пселла, творчество которого не исчерпывается, однако, «Хронографией». Практическая необходимость нарушать установленные с самого начала «правила» по ходу повествования позволяет Г. Хунгеру включать в анализ историописания Никифора Григоры его теологические произведения, ибо их сопоставление помогает определить мировоззренческую позицию автора; в разделе о поэзии рассматривается и прозаический роман «Повесть об Исмине и Исминии»; научная и естественно-научная литература включает и сочинения на «народном» языке и т. д. Все это закономерно. Строгое формальное разграничение предмета исследования, предписанное традициями прошлого столетия, не помогает, а препятствует постижению целого — литературного процесса, творчества авторов, создававших культуру.

Такая методика порождает и другое противоречие. Как сказано выше, византийская литература у Г. Хунгера и его соавторов рассматривается в тесной связи с социальными проблемами византийской культуры. Но самодовление жанровых форм, составлявших при принятой системе работы структурные единицы анализа, как раз не позволяет увидеть художественную целостность произведений и их авторов в связи с развитием времени, не позволяет понять, как византийцы осмысливали свою действительность целостно — в художественных образах с помощью поэтического слова (в широком смысле). Тогда и принципы «тривиаль-литератур» предстали бы в более выигрышном свете, если бы они рассматривались в непосредственном отношении к вопросам социальной психологии,

этики и эстетики византийской цивилизации в их взаимосвязи. Ведь эсхатологизм, тяга к устойчивому канону и вневременному стереотипу при ощущении нестабильности сиюминутного, преходящего настоящего — не только эстетические запросы средневекового читателя, но и отражение настроений, психологического состояния, устремлений общества. В рефренах Романа Сладкопевца, вероятно, можно было бы увидеть не только словесную игру (о них интересно пишет С. С. Аверинцев).⁴ Небезусловно ограничение нормами Trivialliteratur ориентации на читательские вкусы у таких писателей, как Пселл и Никита Хониат. В данном случае, как показал Я. Н. Любарский (см. ниже), скорее имеет место обращение к своего рода интеллектуальной элите.

Современному литературоведению свойственно и более пристальное внимание к пространственно-временной организации материала писателем в произведении. Очень важно было бы сравнить структуру именно исторических сочинений византийских авторов; одной констатации принципов изложения событий в той или иной хронике — «по годам» или «по царям» — уже недостаточно.

Наконец, при комплексном анализе историко-литературного процесса только убедительнее может быть доказано положение о развитии, движении византийской литературы, ее уникальности и самостоятельной ценности. В конечном счете выиграет принцип историзма.

Велик соблазн построить осмысление книги Г.-Г. Бека «Византийское тысячелетие»⁵ на последовательном ее сравнении с вышедшими за последние годы обобщающими монографиями по византийской цивилизации — книгами К. Весселя, П. Арнотта, А. Гийу⁶ и др. Одна-

ко детального — шаг за шагом — сопоставления не получится. Дело не только в том, что анализируемое издание не похоже на привычные описания византийской культуры ни по составу материала, ни по структуре. Отличается, можно сказать, сама логика подачи материала, сам стиль мышления автора. Поэтому приемлемым оказывается известный пуантилизм в сравнительной оценке труда Г.-Г. Бека.

Возможно, разочаруется тот читатель, кто хотел бы, взяв в руки книгу Г.-Г. Бека, узнать «все о Византии». Эта книга — не систематическое описание памятников, институтов, законодательных актов, войн, дворцовых переворотов и т. п. Книга совсем о другом. Она сосредоточена на постановке дискуссионных и, вместе с тем, опорных проблем современного изучения византийской цивилизации: вопроса о взаимоотношении континуитета и дисконтинуитета античности, архаизации и актуализации как формах средневекового мышления, о подлинно художественном значении византийской литературы, о противоречии социальной функции государственной власти в Византии, о роли церкви и религиозности в жизни византийца.

При всей «неклассичности» структуры данной книги она не является просто суммой очерков, но обладает своей известной логикой. После вводного раздела об эллинистическом наследии и периодизации византийской истории помещен анализ структуры и функций государственной власти и аппарата управления. Затем следует глава о «политической ортодоксии» — как бы идеологической предпосылке византийской культуры. Следующий раздел посвящен византийскому художественному творчеству — литературе. Затем автор словно вновь обращается к тем же аспектам византийской истории — социальным связям, идеологии и

духовной культуре, решая их, однако, уже на несколько ином уровне — в широком социологическом плане. Это главы о теологии, монашестве, византийском обществе, верованиях византийцев и, наконец, вопросы Dimension-Geschichte.

Характерной особенностью результатов анализа Г.-Г. Бека является динамизм представленной социокультурной модели Византии. Автор показывает противоречивость, амбивалентность различных феноменов византийской культуры — от императорской власти (как в ее идеальной форме, так и реальном воплощении) и форм функционирования различных «партий» до роли античного субстрата в языке и литературе средневековых греков, где «подражание» — *μίμησις* — античности сопряжено с «соперничеством» — *ζῆλος*, а за архаизацией скрыта средневековая актуальность вкусов и идей. Если А. Тойнби,⁷ опровергая представление о консерватизме византийских форм, подчеркивал отличие их от античности, то Г.-Г. Бек представляет более сложную картину «сцепления» древнеклассических и собственно средневековых политических и культурных феноменов. Подобный угол рассмотрения фиксирует контрасты в единой системе взаимодействия элементов культуры.

Однако в центре интересов исследователя стоят не столько памятники и их классификация, как это имеет место, например, в работе П. Арнотта, сколько византийское общество, византийский человек, воплощение его желаний и чаяний в тех или иных созданиях — литературных, художественных, юридических памятниках, в организации общественного устройства. Сложным и неоднозначным оказывается и сам византиец — плотский, реальный, тонко дипломатичный, наделенный изысканным художествен-

ным вкусом. Если Г. Хунгер в свое время ⁸ подчеркивал процесс христианизации византийского общества, культуры, мироощущений и быта, то Г.-Г. Бек скорее показывает ограниченный и нередко формальный характер этого процесса. Внешняя ортодоксальность не мешала византийцу быть скептиком или вольнодумцем.

Особо следует сказать о главе «Литература». Традиции прошлого, отрицающие самостоятельное художественное значение византийской литературы, отказывающие ей в творческом характере, живы порой и поныне. В таких тонах рассматривается византийская литература и в книгах К. Весселя или А. Гийу. Реакцией их на этот взгляд явилась теперь тенденция «реабилитировать» словесное творчество византийцев. Значение этого направления заключается не только в признании литературной ценности византийских сочинений, но, главное, в выявлении художественной и социальной их актуальности, в понимании ее как отражения (с поправкой на специфическую этикетность средневековой словесности: жанр, опора на канон и т. п.) реального мира, породившего эту литературу (в противовес концепциям Р. Дженкинса или К. Манго ⁹). На это направлено и исследование Г.-Г. Бека, выявляющее не столько различия жанров и форм (на чем строились описания византийской литературы от К. Крумбаха до Ф. Дэлгера в «Кембриджской средневековой истории»), сколько в характеристике адекватности (или неадекватности) самовыражения византийца в своих литературных творениях.

Из перечисленных выше сюжетов книги явствует, что в центре внимания исследователя стоит социокультурная сторона византийской цивилизации. Од-

нако автор в оценке значения «византийского тысячелетия» (в конечном счете книга посвящена этому) не может обойтись и без социально-экономических вопросов, проблем производства, природных условий, территориальных разграничений. Но эти моменты — лишь вкрапления в книгу и, будь они рассмотрены более подробно, анализ выиграл бы в своей полноте и аргументированности. Подчас и композиционное соединение рассматриваемых проблем кажется случайным, что приводит к повторам. Отчасти это искупается блестящим мастерством повествования мюнхенского византиниста, находящего не только точные языковые формулировки, но и любящего само слово в переливах его игры, — черта, кстати сказать, роднящая исследователя с исследуемым им материалом, т. е. творениями самих византийцев.

Одной из категорий, введенных Г.-Г. Беком в византиноведении, является понятие «шарма декаданса» византийской культуры. При всей его афористичности следует отметить аксиологизм такого представления о византийской культуре. Трудно представить себе какую-либо культуру в виде либо *только* героической эпохи, либо *только* декадирующей. Элементы прогресса или стагнации можно обнаружить не только в целом в той или иной культуре, но и в отдельных ее явлениях. На византийском материале это хорошо демонстрирует сам же Г.-Г. Бек. Ограничить эпоху итальянского Возрождения только «ренессансным» в его культуре, отвлекшись от присущей этому времени религиозности и мистицизма, также невозможно (это прекрасно показано Л. Баткиным¹⁰). «Шарм декаданса», несомненно, отбрасывающий заметный блик на мозаику культуры Византии, вряд ли исчерпывающе объяснит очарование византийского наследия.

Показателен в этом отношении анализ, данный И. С. Чичуровым в монографиях, посвященных творчеству византийского хрониста начала IX в. Феофана Исповедника, а также сопоставляемого с ним патриарха Никифора.¹¹ Определить место Феофана в ранневизантийской исторической традиции — значит выявить особенности его авторского самосознания, приемов работы компилятора. Уже введение-прооймион его «Хронографии» контрастирует с аналогичными зачинами, встречаемыми в предшествующей литературе — у Евсевия (IV в.), Созомена и Феодорита Киррского (V в.), Феодора Чтеца и Евагрия (VI в.), Прокопия и Агафия (VI в.), Феофилакты Симокатты (VII в.). Традиционные мотивы вступлений, связанные с тем, что автор выделяет себя из ряда других авторов, обосновывает важность и правомерность избранной темы, подчеркивает свою писательскую исключительность, — совершенно отсутствуют в прооймионе Феофана. Как в декларациях, так и в авторских ремарках он все время сознательно, демонстративно отказывается от принципов авторства, принижает свои способности, — позиция, приближающаяся к утверждению творчества на грани анонимности. Однако текстуальные сравнения компилятивных частей «Хронографии» с их источниками (сочинениями Прокопия, Иоанна Малалы, Феофилакты Симокатты и др.) как раз обнаруживают активное авторское отношение Феофана к материалу.

Феофан — компилятор средневекового типа, — именно так, причем в негативных тонах, характеризовали его исследователи прошлого, начиная с К. Крумбахера. Сегодня же убедительно доказывается в указанных книгах, что перед нами писатель, который в отборе и освещении описываемых событий последовательно придерживается избранных им установок. Столь же

индивидуальными при внимательном анализе оказываются и стилистическая избирательность Феофана и его пространственные ориентации. Таким образом, декларируемый хронистом отказ от «прав на авторство», высказываемая им позиция о намерении писать, «ничего не прибавляя от себя», отнюдь не означали отказа от творческого отношения к материалу, слабости авторского самосознания. Эти установки были скорее литературно-публицистическим приемом, скрывавшим тенденциозность, определенность писательской манеры, обусловленной рядом факторов развития литературных традиций ранней Византии.

С углублением историзма связана и другая характерная черта работ о византийской культуре — определение социального содержания литературных форм, актуального смысла традиционных античных образов, «расшифровка» жанровых стереотипов.

В этом плане интересный материал представляют современные исследования византийского романа. Ранее считалось (К. Крумбахер, В. Шмид, Э. Родэ и др.), что византийский роман идентичен эллинистическому любовному роману, наполнен античными атрибутами, словесными формулами, топикой, сюжетными и образными формами античности. Теперь же Г. Хунгер¹² настоятельно подчеркивает актуальный для византийцев комниновской эпохи смысл средневекового греческого романа. Ученый выявляет различные уровни реалистического повествования (разумеется, в его средневековом облике) в этих произведениях, охватывающих как области социально-политической проблематики (в византийском романе, например, и военизация комниновского режима, и особенности положения женщины в Византии той поры), так и сферу психологической обрисовки героев.

В связи с более глубоким пониманием значения памятников византийской литературы, и в частности романа, встал вопрос о необходимости введения в литературоведческий анализ эстетических категорий, адекватных изучаемой культуре.¹³ Традиционному взгляду на византийскую литературу с высот античной классики в наши дни противостоит тенденция выявления собственных требований исторического развития средневековой культуры, сколь ни были бы в ней сильны античные традиции языковых и жанровых средств. Эта тенденция особенно отчетливо проявилась в работах последних десятилетий.

Так, С. В. Полякова дает развернутую характеристику условий появления романа-аллегии, подробно анализирует «Повесть об Исмине и Исминии» Евматия Макремволита (XII в.), первым возродившего забытый жанр любовного романа.¹⁴ Исследовательница подчеркивает в «Повести» два ее смысла: внешний — фабульный, на уровне фактологии, и внутренний — аллегорический, раскрывающийся при учете символической манеры письма средневекового автора.

Известной полемикой с таким подходом к византийскому роману проникнута книга А. Д. Алексидзе,¹⁵ вышедшая на русском языке через несколько лет после первого, грузинского, издания. Автор настаивает на реалистическом видении византийских романистов, отражавшем, прежде всего, светские тенденции литературного творчества; воспевание непосредственных чувств, земной любви представляется, по мысли литературоведа, формой отмежевания от официальной морали в условиях византийского ренессанса XII в. Если С. В. Полякова, анализируя византино-западно-европейские литературные контакты, подчеркивает

преимущественное влияние византийского романа на любовные аллегории в средневековой западноевропейской литературе, то А. Д. Алексидзе последовательно проводит принцип описания греческого романа XIII—XIV вв. посредством категорий западноевропейской литературной эстетики, с учетом истории развития французского романа. Историко-культурной предпосылкой такой оценки является усиление византино-латинских контактов в условиях «встречи цивилизаций» после завоевания крестоносцами Константинополя в 1204 г., а литературно-эстетическое ее «оправдание» — в большей свободе, по мнению исследователя, творческих поисков в средневековой литературе Западной Европы, не обремененной наследием античной словесности, ее языковым консерватизмом. Наконец, интересен сам опыт такого анализа и в методическом плане: византинистами все чаще используются достижения медиевистики, что позволяет по-новому взглянуть на тенденции культурного развития Византии.

Особенности греческого романа XIII—XIV вв. обусловлены сосуществованием в его художественной ткани двух тенденций. Одна идет от эллинистических традиций, определяет реалистические черты мысли и мировидения; другая, собственно медиевальная, представляет собой волшебнo-фантастический поток рыцарского романа. Таким же противоречивым единством характеризуется и духовно-религиозный фон романа: в культуре православной Византии популярным оказываются (свидетельством чему является богатая рукописная традиция романов) сочинения нарочито-нехристианского характера, где царство Христа уступает место царству Эрота. Показательны в этом же плане наблюдения над стилем произведений: мир гре-

ческого романа со своими формами, терминологией, со своим обусловленным литературно-мифологическими традициями этикетом является системой, чуждой формам, этикету, стилистике, утверждаемым христианской религиозностью.

Однако не стоит спешить с выводами об антихристианской направленности византийских романистов, о ренессансном характере их творчества. Византийский роман остается средневековым по преимуществу жанром, в чем убеждают и конкретные наблюдения упомянутых выше исследователей. Средневековыми оказываются художественные средства, используемые романистами: в книге А. Д. Алексидзе отмечены визуальная неэффектность, умозрительность метафор и сравнений, представляющих собой не наглядный образ, а перечисление, каталог свойств и качеств.

Средневековый характер имеют и писательские установки византийских романистов. В книге хорошо раскрыто содержание эстетики повтора, реставрации как исходных творческих принципов словесности, чем и обусловлена средневековая топка, неперенное явление или скрытое цитирование, опора на авторитет традиции.

Углубление принципов историзма сказывается не только в анализе особенностей авторского начала и социальной определенности позиции византийских литераторов. Становится возможной характеристика историко-художественного типа данной культуры, черт традиций и новаторства; в конечном счете это позволяет определить вклад византийской литературы в мировую духовную культуру. Такой опыт предпринят Я. Н. Любарским на примере творчества Михаила Пселла (XI в.)¹⁶

Изучение творчества выдающегося деятеля византийской культуры, историографа, каким был Михаил Пселл, — филологи его сравнивают с Шекспиром, Вольтером, Лейбницем, Спинозой, Достоевским, — включает в себя анализ его художественного наследия и характеристику личности писателя. Сложный путь жизни и деятельности византийского литератора (и политика!) давал и дает исследователям основание для противоречивых оценок: Пселла представляют то беспринципным циником, то олицетворением набожного благочестия, то экзальтированной артистической натурой, то сильной свободной личностью. Не только нравственные качества писателя, но и мотивы его сочинений оказываются столь противоречивыми, что критики не случайно выдвинули гипотезу о существовании не одного Михаила Пселла, а нескольких совершенно различных писателей, произведения которых дошли до нас под именем Пселла (подобные случаи нередки и в византийской культуре: вспомним хотя бы Феодора Продрома в XII в.)

Неоднозначны декларации Пселла: в них можно найти как средневековую топику, идеи нормативности, этикетности, так и индивидуальные характеристики, утверждение принципов самостоятельности творчества художников. Пселловская эстетика совмещает христианский спиритуализм со свойственными гуманистам эстетизмом, театральностью, игрой. Неоднозначен и сам характер произведений: средневековые жанровые каноны сосуществуют в творчестве Пселла с оригинальными художественными открытиями. Так, вершина творческого наследия писателя — «Хронография» — представляет собой не столько стандартные для византийской историографической традиции фактологические описания, сколько сопоставление образов, вы-

явление характера творцов и жертв исторических судеб.

В подзаголовке монографии Я. Н. Любарского стоит: «К истории византийского предгуманизма». Отмечая сложность самой проблемы «византийских ренессансов», к которой многократно возвращаются исследователи, Я. Н. Любарский определяет место Пселла в истории культуры. Действительно, многие стороны жизнедеятельности константинопольского интеллектуала напоминают стиль творчества, общения, мысли гуманистов треченто и кватроченто. Различия в отношениях Пселла со своими корреспондентами, определявшихся не официальным положением человека, а кругом его духовных и интеллектуальных запросов, заставляют нас вспомнить, что ренессансные интеллигенты представляли собой также неформальную группу единомышленников (или — в других случаях — антагонистов), объединяемых, прежде всего, тягой к «трудам в досуге» независимо от должностных обязанностей. Свойственный Пселлу пафос защиты науки, знания, как показали последние исследования, в высшей степени был развит в литературном наследии эпохи Возрождения. В противовес приниженности и самоуничижению, утверждаемым средневековой этикой, для Пселла было характерно чувство собственного достоинства, высокая степень самосознания, ощущение своего интеллектуального превосходства. Именно эти черты роднят его с гуманистами, с их верой в высокое призвание человеческой личности, решительным неприятием обскурантистской «толпы». Присущий Пселлу отказ от утрирования аскетических принципов (ставших во многих исследованиях банальным атрибутом описания средневековой культуры), активность жизненной позиции — тоже черты человека новой

эпохи. Само представление о времени, измеряемом Пселлом прогрессом в изучении наук, столь же далеко от «времени монахов», сколь и от «времени купцов» и предвосхищает восприятие времени у итальянских гуманистов. Наконец, утверждение византийским интеллектуалом значимости индивидуального чувства и индивидуального представления о прекрасном и дурном, установка на свободу от стереотипа, несмотря на строгую этикетность в отдельных побуждениях и оценках, также далеки от бытующего представления о косности, всеобщей «клишированности» жизни и мышления средневековья. Немаловажно и то, что в центре интересов, устремлений, даже художественных принципов Пселла стоит человек, а не отчужденные от него абстрактные нормы.

Изучение заключительного — палеологовского — этапа исторической драмы византийской цивилизации в последние годы получило свое развитие. С одной стороны, основой тому стали появившиеся новые публикации важнейших источников XIII—XV вв. — «Истории» Кривотула и исторического сочинения Георгия Пахимера, произведений Григория Акиндина и Мануила II Палеолога. С другой стороны, в рамках проводившихся недавно международных семинаров, коллоквиумов, конференций по поздневизантийскому гуманизму, средиземноморской торговле, по демографии и семейным отношениям, истории и культуре палеологовского времени обсуждались новые методики и анализировались пути освоения интенсивно вводимого в оборот обширного материала. Это обуславливает и необходимость применения различных методов изучения социокультурных процессов в поздней Византии — от имманентного анализа собственно средневековых воззрений современников на происходящие со-

бытия до количественной обработки цифровых данных, почерпнутых из источников.

Книга гарвардского профессора, президента Международной ассоциации византистов, И. Шевченко «Общество и интеллектуальная жизнь в поздней Византии» представляет собой сборник его статей, объединенных по тематическому принципу в очередном выпуске серии «*Variorum Reprints*».¹⁷ Смысл изданий серии не исчерпывается задачей количественной интеграции разрозненных по различным журналам статей одного автора; эти сборники помогают читателю яснее представить себе авторскую концепцию, находящую отражение в конкретных исследовательских наблюдениях. Для И. Шевченко изучение социальных условий культурного развития Византии, в частности, палеологовской, — средоточие его многолетних научных исследований. В русле этой проблематики — и теоретические статьи, и издание источников, и текстологические изыскания, и палеографические и кодикологические штудии.

Книга открывается статьей «Общество и интеллектуальная жизнь в XIV в.», где сконцентрированы как статистические выкладки, так и концептуальные сообщения. Расчеты И. Шевченко включают 91 писателя (в т. ч. и историографов) XIV в.; около 60 из них, т. е. две трети, жили в Константинополе; 51, или 55%, относились к клиру, из этого числа 28, т. е. более четверти всех литераторов, были монахами. Принадлежность к черному духовенству не предопределяет сама по себе социальный статус: здесь и игумены, и простые монахи. Если в XII в. среди литературных деятелей весьма значителен удельный вес клириков столичного храма св. Софии, то в XIV в. не наблюдается подобной избирательности. Гражданские профессии (врачи, юристы и

т. п.) имели лишь пятеро из общего числа. Крупными землевладельцами могут считаться лишь трое — Метохит, Иоанн Кантакузин и Плифон. Вместе с тем и представительный среди литераторов XII в. элемент — нищенствующие поэты — теперь уменьшается. Отмечается в целом гомогенность среды византийских интеллектуалов в это столетие, чему не противоречит обилие полемических споров времени. В основном византийские интеллектуалы XIV в. относились к одной из групп — клиру, придворным или к окружению какого-либо династа. Так или иначе, основная масса византийских литераторов этого времени, историков и мемуаристов, состояла из лиц или занимавших важные посты в обществе, или связанных с теми, кто относился к высоким общественным сферам. В целом «удельный вес» почти ста писателей XIV в. весьма значителен, особенно если учесть, что за все византийское тысячелетие насчитывается 435 литераторов, сохранных нам историей поименно.

Говоря о тенденциях социокультурного развития Византии XIV в., И. Шевченко отмечает падение исключительной роли императорского патроната в области культуры, что сказалось и в падении императорского престижа, и в десакрализации царского образа, отмечающихся в середине столетия. Ослабление императорского контроля за религиозной политикой сопровождалось усилением роли церкви. Вырастают различные культурные центры, помимо придворных сфер; провинция, окраинные земли становятся культурными очагами, готовя почву для эмиграции интеллектуалов в XV в. В Москве и Новгороде, Венеции и Болгарии, Грузии и Валахии деятели византийской культуры находили более благодатную почву для творчества, чем у себя на родине.

И все-таки константинопольский двор продолжал оказывать существенное влияние на состояние интеллектуальной жизни страны. Велика была роль своеобразных литературных салонов. Классическое образование оставалось критерием учености; риторика имела практический смысл, ибо обеспечивала успехи в общественной практике. Дальнейшее ослабление константинопольского двора, ухудшение материальных условий жизни предопределили упадок интеллектуальной жизни в следующем веке.

Упадку Византии, каким он виделся самим поздневизантийским писателям, историкам, посвящена специальная статья книги. В XIV в. противоречие между имперской идеологией традиционной византийской пропаганды и реальным соотношением сил на мировой арене проявилось как никогда остро. Впрочем, темы заката государства, «упадка Рима» традиционны в византийской публицистике, и И. Шевченко прослеживает пути формирования этих представлений, начиная с середины V в. И все же до XIV в. эти воззрения не несли печати обреченности: Пселл, говоря о катастрофе при Манцикерте, предвкушал новые победы, а Никита Хониат и после завоевания Константинополя в 1204 г. сочинял полные внешнего оптимизма речи. Для Никифора же Григоры государство уже представлялось «трупом», на который набрасываются в обоюдном соперничестве враги — турки и татары.

Если политический крах отчетливо осознавался византийскими писателями, то о культурном упадке речь не шла столь резко. Однако и Кидонис, и Геннадий Схолярый отмечали определенный декаданс в словесности, интеллектуальной жизни, элементаризацию образования, варваризацию культуры. В условиях конфронтации с Западом некоторые византийцы призна-

вали культурное превосходство «латинян» в их время. Для таких, как Феодор Метохит, империя ромеев уже не была избранной, неоспоримым центром ойкумены.

Кризис общественного развития сказался в тех противоречиях, которые вылились в социальные столкновения XIV в. Ряд статей книги посвящен вопросам зилотского движения. О кризисе общества свидетельствует и арест писателя Мануила Мосхопула в 1305/6 гг., чему посвящена особая работа с изданием писем византийского гуманиста. Атмосфера подозрительности в византийской столице, наказания невиновных — таковы черты кризиса социальной жизни, вызванного каталанским натиском. Жертвой этих событий и стал Мануил Мосхопул.

В связи с изучением переписки Николая Кавасилы исследователем ставятся некоторые общие вопросы понимания поздневизантийской литературы. Отмечая эзотерический, даже элитарный характер литературы XIV в., И. Шевченко настаивает на важности актуального значения этих памятников: они не были абстрактными упражнениями в красноречии, но являлись непосредственным откликом на события современности, облеченным в специфическую литературную форму.

Широк круг охвата темы поздневизантийского общественного и культурного развития и в последней монографии К. В. Хвостовой.¹⁸ Исследовательница стремится к максимальному анализу сюжета, объединяя под одной обложкой книги и формулы дифференциальных уравнений, оценивающие степень расслоения крестьянства, и описания главных категорий поздневизантийских определений пространства и времени, сопоставляемых к тому же с их античными прототипами у Аристотеля или Порфирия. Из этой мозаики строится общая характеристика эпохи, нередко, пожа-

луй, экстраполируемая автором и на всю византийскую культуру в целом.

Наиболее очевидные результаты данного исследования достигнуты, как представляется, в области анализа византийской терминологии документов и нарративных текстов, категориального аппарата социально-экономических и философских воззрений, уточнения смысла и условий превращения понятий обыденной речи в технические термины официальных документов. Так определяется путь слова «пронойя/прония» от раннехристианского понятия Промысел к экономико-правовой категории пронии — условного пожалования прав на определенную территорию, включая, в конце концов, само поместье. Также анализируются в книге термины «икономия», «ипостась», «кайрос», «тиха», «симвевикос» и др. Очень важно установление подвижности грани между сферами применения категорий, неуловимого подчас нюанса, отделяющего техническое значение термина от общего богословского содержания категории.

Книга интересна и в методическом отношении, представляя собой редкий — не только в отечественной, но и в международной византистике — опыт применения количественных методов, использования ЭВМ, решения задач кластерного анализа.

Наконец, важен и мировоззренческий аспект исследования. С одной стороны, автор раскрывает те образы и понятия, которыми оперировали сами носители изучаемой культуры, вслед за чем предпринимается попытка и анализа с помощью современного логического и философского категориального и методического аппарата. С другой стороны, конкретные поведенческие ситуации и их оценки современниками возводятся к общефилософским теологическим обоснованиям, реставри-

руемым исследовательницей. Представления об изменчивости конкретных социально-экономических процессов дедуцируются из поздневизантийской философии истории.

Существенной представляется и постановка вопроса о механизме сочетания теоретического, конкретно-правового и практического уровней византийских социально-экономических представлений, что имеет важное методологическое значение не только для анализируемого периода, но и для всей исследуемой цивилизации. Вместе с тем, как всегда при встрече с богатым идеями и материалом исследованием, многое в книге побуждает к дальнейшим размышлениям.

Анализ фактически идентифицирует правовые нормы, взгляды авторов, оценки источников, относящиеся как к ранней Византии, так и к изучаемому периоду. Так, в качестве подтверждения замеченным исследовательницей правовым казусам предлагаются нормы новелл Юстиниана VI в., или Льва VI—X в., часть которых для XIV—XV вв. имеет не более, чем декларативное значение.

Напротив, некоторые явления, представляемые в книге в качестве характерных для XIV—XV вв., на самом деле таковыми не являются. Заявления о дидактической роли истории отнюдь не выделяют прооймионы исторических трудов Григоры, Кривовула или Николая Кавасилы из ранневизантийской и даже античной традиции. Это же касается заявлений средневековых историографов о необходимости достоверного и беспристрастного описания. Как раз наоборот: для поздневизантийских историографов сознательной целью становятся прогностические функции историописания,¹⁹ как это, кстати, фактически и демонстрируется на конкретном материале в рассматриваемой

книге. Вообще, необходимо четче различать этикетные декларации, ритуальные высказывания византийских авторов и ситуативные новации их оценок и поведенческих реакций, выраженных в слове.

Очень общими являются высказывания об «античных» корнях рассматриваемых понятий. Античность сама по себе достаточно разнообразна и богата различными тенденциями: настала пора не просто сравнивать византийские феномены с некоей общей, а потому представляющейся безликой, «античностью», но конкретизировать как генетические, так и типологические истоки. Так, нуждается в серьезном уточнении (если не пересмотре) утверждение, что «античная идея „тихи“ (судьбы. — М. Б.) была подчинена христианскому понятию „симвефикос“ в смысле разнообразия» (с. 128). Ни многочисленные концепции судьбы в античности — от Гомера до неоплатоников,²⁰ ни несводимость христианского временного телеологизма к важной, но не всеохватывающей категории византийского историзма, не укладываются в предложенную формулу и, главное, не подтверждаются исчерпывающе приводимым фактическим материалом. Это же следует иметь в виду при возведении идеи исторического времени у Никифора Григоры к Аристотелю, в то время как поздневизантийский гуманист сам был как раз одним из наиболее интересных приверженцев платонизма, а не аристотелизма.

Вызывает сомнения и категоричность отдельных характеристик, как, например, теократический характер византийского государства. Как раз взаимоотношения духовной и светской власти в Византии были прямо противоположны ситуации в теократическом Ватикане.

Рассмотренные новейшие исследования византийской культуры и литературы, ее исторической прозы, различны между собой: в одних случаях это монографические исследования творчества одного автора, в других — история конкретного жанра, в третьих — комментарии в связи с изданием памятника,²¹ в четвертых — пособия сводного характера. Однако можно говорить об общих чертах, их объединяющих. Прежде всего это стремление исследователей постичь те критерии и мерки, с которыми следует подходить к византийской литературе и истории, понять художественную ценность византийских сочинений в адекватных им категориях и принципах, исходить в оценках из тех задач, которые преследовались литературным творчеством в средние века. Существенной стороной рассмотренных трудов является также то, что выявлено конструктивное значение форм византийских литературных произведений, их содержательность, духовная значимость. Наконец, важным является представление о сложности, многоплановости такого явления, как византийская литература. Все это позволяет вплотную подойти к созданию современной концепции византийского историко-литературного развития.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ *Hunger H.* Die Hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 1—2. München, 1978.

² *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur (2. Aufl.) München, 1897 (ND: New-York, 1958).

³ *Ostrogorsky G.* Geschichte des byzantinischen Staates. München, 1963 (2. Aufl. — 1974); *Beck H.-G.* Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1977;

idem. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. Munchen, 1971.

⁴ *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.

⁵ *Beck H G.* Das byzantinische Jahrtausend. Munchen, 1978.

⁶ *Wessel K.* Die Kultur von Byzanz. Frankfurt a. M., 1970; *Arnott P D.* The Byzantines and their World London, 1973; *Guillou A.* La civilisation byzantine. Paris, 1974.

⁷ *Toynbee A.* Constantine Porphyrogenitus and his World. London—New York—Toronto, 1973.

⁸ *Hunger H.* Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen Kultur. Graz—Wien—Koln, 1965.

⁹ *Jenkins R.* Byzantium. The Imperial Centuries: A. D. 610—1071. New York. 1966. P. 385; *Mango C.* Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Oxford, 1975.

¹⁰ *Batkin L.* Die historische Gesamtheit der italienischen Renaissance. Versuch einer Charakterisierung eines Strukturstyps. Dresden, 1979.

¹¹ *Чичуров И. С.* Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980; *его же:* Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской исторической традиции // ДГ 1981. М., 1983.

¹² *Hunger H.* Antiker und byzantinischer Roman. Heidelberg, 1980.

¹³ *Каждан А. П.* Книга и писатель в Византии. М., 1974; *Kazhdan A., Constable P.* People and Power in Byzantium. Washington, 1982; *Kazhdan A.* Der Mensch in der byzantinischen Literatur. — Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik. Bd. 32, 2. Wien, 1982.

¹⁴ *Полякова С. В.* Из истории византийского романа. М., 1979.

¹⁵ *Алексидзе А. Д.* Мир греческого романа (XIII—XIV вв.) Тбилиси, 1979.

¹⁶ *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество (К истории византийского предгуманизма). М., 1978; Михаил Пселл. Хронография. Пер., ст. и прим Я. Н. Любарского. М., 1978.

¹⁷ *Ševčenko I.* Society and Intellectual Life in Late Byzantium. London, 1981.

¹⁸ *Хвостова К. В.* Социально-экономические процессы в Византии и их понимание византийцами-современниками (XIV—XV вв.) М., 1992.

¹⁹ *Культура Византии.* XIII—XV вв. М., 1991. С. 283 и сл.

²⁰ Из последних изданий см.: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. I—II. М., 1992—1994.

²¹ Из последних отечественных изданий следует отметить: *Лев Диакон.* История. Пер. М. М. Копыленко, ст. М. Я. Сюзюмова, комм. М. Я. Сюзюмова, С. А. Иванова, ред. Г. Г. Литаврина. М., 1988; *Константин Багрянородный.* Об управлении империей. Пер., ст. и ред. Г. Г. Литаврина, комм. А. П. Новосельцева (ред.), М. В. Бибикова, Е. А. Мельниковой и др. М., 1989 (2-е изд. — 1991); *Продолжатель Феофана.* Жизнеописания византийских царей. Изд. Я. Н. Любарский. СПб., 1992; *Прокопий Кесарийский.* Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. Изд. А. А. Чекаловой. М., 1993.





ГЛАВА ПЕРВАЯ

РАННЕВИЗАНТИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 ПОЗДНЕАНТИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА (IV—V вв.)

С историко-литературной точки зрения невозможно провести ту четкую хронологическую грань, которая бы отделяла позднеантичную греческую литературу, и историческую прозу в том числе, от византийской — раннесредневековой. Такие важные исторические акты, как перенос императором Константином I столицы Римской империи в Константинополь в 330 г., или разделение могучей Римской империи на Восточную и Западную в 395 г., или падение Рима под натиском вестготов Алариха в 410 г., после чего Восточная Римская империя, или Византия, со столицей в Константинополе осталась фактически единственной наследницей имперской власти — все эти события, ставшие вехами на пути от античного Рима к средневековой Византии и важные как в символическом, так и социально-политическом смысле, в сфере менталитета — самосознания византийцев — не прочерчивали, однако, единой четкой границы, отделявшей одну историческую эпоху от другой. Византийцы продолжали называть

свое государство Ромейской, т. е. Римской, империей, как это делали ранее античные историки Плутарх или Полибий, а себя не переставали именовать ромеями, т. е. римлянами. Ранневизантийская историческая литература, как и культура в целом, непосредственно вырастали из античного литературного и культурного наследия, развивая и обновляя его традиции, исповедуя принцип подражания — «мимесиса» — образцам древних авторов.

Вряд ли имеет смысл проводить водораздел между как бы старой — античной — и «новой» — византийской — культурами на основе дихотомического принципа деления литературы этого переходного периода на языческую и христианскую. Во-первых, зарождение и начальные этапы истории христианства и его литературы относятся к античной эпохе. Во-вторых, язычество само по себе не ограничивалось довизантийским периодом греческой исторической прозы, но на несколько столетий распространилось в исторической перспективе и далее, а языческий пантеон никогда не исчезал со страниц текстов средневековых историков, философов и поэтов. А в-третьих, главное — конфессиональный аспект классифицирования византийской исторической прозы не объясняет ни своеобразия творческого метода авторов, ни особенностей их мировоззрения, сочетавшего подчас черты развивавшегося в религиозно-философских спорах IV в. христианства и не умиравшего тем не менее язычества.

Ранневизантийские историки не только учились по произведениям античной литературы, но и непосредственно воспитывались среди учителей-неоплатоников или участников языческих мистерий и культов. Так, историк ЕВНАПИЙ, хронологически несомненно принадлежавший византийской эпохе (он родился ок. 347

и умер ок. 420 г.), учился в древнем лидийском городе Сарды у неоплатоника Хрисанфия (воспитателя будущего императора-реставратора язычества Юлиана Отступника), а затем в Афинах уже у христианина Прозерсия, что не мешало ему при этом участвовать в Элевсинских мистериях. В центре историософских воззрений Евнапия — правление восстановителя язычества — императора Юлиана Отступника (361—363 гг.): позже знаток и систематизатор литературы, выдающийся деятель византийской культуры, константинопольский патриарх Фотий оценит исторический труд Евнапия как своего рода энкомий Юлиану. Напротив, утвердитель христианства в Византии Константин I выглядит в произведении значительно менее привлекательным антиподом герою. В «Жизнеописании софистов» он даже предстает «врагом и убийцей философов» (VI.2, 10 сл.). Ранневизантийский историк-софист прослеживает свою эпоху вплоть до начала V в. (упоминается смерть императрицы Евдоксии в 404 г.). Антихристианская направленность его исторического произведения привела позже к появлению в рукописной традиции значительно измененной редакции памятника — так называемого «нового издания» (νέα ἔκδοσις), отмеченного большей толерантностью.¹ Впрочем, к этим инновациям вряд ли имел отношение сам Евнапий.²

Если Евнапий происходил из древнего малоазийского культурного центра, то автор «Исторических сочинений» о начальных десятилетиях V в. (с 407 по 425 гг.) ОЛИМПИОДОР был связан с Фивами — другим античным центром, уже в Египте, откуда вышли многие ранневизантийские литераторы той поры.³ Свидетель завоеваний Алариха в Европе, участник посольства к гуннам, много странствовавший по свету,

он был язычником и вместе с тем адептом римского государственного цезаризма.⁴ «Поэт, верой — эллин», по словам Фотия. Темой его исторических записок, сохранившихся лишь частично в основном в эксцерптах у более поздних авторов, становится судьба римских (равеннских) императоров.⁵ В отличие от софистического пафоса Евнапия, проза Олимпиодора стилистически обыденна, проста. Вместе с тем он не чужд точной статистики, хронологии, официальной терминологии, даже латинской, транслитерируемой им по-гречески («куратор», «претор», «оптиматы»).

Подобно Олимпиодору, ПРИСК ПАНИЙСКИЙ (410/420 — ок. 475) описывает исторические события, исходя из своей дипломатической практики. Опыт посольств к гуннскому вождю Аттиле в 448 г., переговоров в Риме в 450 г., Дамаске и Александрии в 452—453 гг. создавали тот широкий политический горизонт, которым отмечено повествование византийского историка, ставшего главным свидетелем и описателем завоеваний Аттилы, стремительного возвышения гуннской державы и ее падения.⁷ Воспитанный в традициях классического аттицизма и литературной софистики, историк-дипломат создает, однако, памятник тому, чему он сам был свидетель, а не мемуарную фикцию или основанную на трудах предшественников компиляцию: риторичность литературной формы византийской историографической прозы отнюдь не была фактором ее недостаточной исторической достоверности.⁸ Приск детально описывает свои приключения в составе посольства по дороге к правителю гуннов Аттиле: «Скифы, выбежав на шум, стали зажигать камыш, которым они пользуются для разведения огня, и, освещая нас, спрашивали, что мы кричим. Когда бывшие с нами варвары ответили,

что мы терпим бедствие из-за бури, они, позвав к себе, принимали нас и, сжигая много камыша, согревали. Правившая в селении женщина — она сказала одной из жен Бледы — послала нам пищу и красивых женщин для соития. Это по-скифски знак уважения. Ласково поблагодарив женщин за предложенную еду, мы отказались от сношения с ними. Мы остались в хижинах, а на рассвете отправились на поиск вещей» (пер. — Л. А. Гиндин, А. Б. Иванчик). Знание античной литературы, ее топики, помогало византийским историкам создать с помощью излюбленных формул, фразеологических повторов иллюзию непрерывности исторического развития, проявляющуюся в повторимости ситуации.⁹ Так, осада гуннами Наисса (Ниша) в 441 г. описывается Приском в словесных образах описания Фукидидом взятия Платей (II. 75—76), а история сасанидца Пероза выдержана в геродотовском стиле рассказа о персидском царе Камбизе (III. 1).¹⁰ Эта манера исторнописания у Приска связывается иногда с его тенденцией к «новеллизации» исторической прозы.

Тексты Приска дошли до нас также преимущественно в фрагментах; такая же судьба постигла и труды многих других ранневизантийских историков V в., как например, произведения МАЛХА — выходца из палестинской Филадельфии, софиста в Константинополе, описавшего правление императоров от Константина I до Зинона, завоевания готов во главе с Теодорихом, придворные смуты и стихийные бедствия (например, пожар в Константинополе в 476 г., в огне которого сгорели 120 тысяч ценнейших книг императорской библиотеки).¹¹ Византийский эрудит патриарх Фотий в IX в. оценил труд Малха как образец («ка-

нон») исторического сочинения. Событиям V в. было посвящено и повествование КАНДИДА Исавра, известного нам лишь по эксцерптам того же Фотия, и «Суды».

Однако воплощением языческого исторического мировидения рассматриваемой эпохи следует, конечно, считать «Историю» ЗОСИМА (втор. пол. V в.), сохранившуюся целиком и ставшую наряду с латиноязычной «Римской историей» Аммиана Марцеллина важнейшим источником знаний о сложной и смутной поре переходного времени смены эпох.¹²

Зосим как по воспитанию, так и по высказываемым им самим симпатиям и антипатиям принадлежал к кругу убежденных сторонников эллинского язычества.¹³ Его труд, который озаглавлен «Новая история», Фотием назван «Новым изданием», что заставляет понимать эту формулу по аналогии с подобной редакцией Евнапия.¹⁴ Охват исторического материала у Зосима значительно шире, чем у его непосредственных ранневизантийских предшественников: от императора Августа до 410 г. Пространственный диапазон описываемых событий также широк — помимо Рима и Константинополя читателя ведут в Малую Азию, на Запад, в Британию, Галлию, Италию, рассматриваются походы Алариха, завоевания готов. Империя воспринимается в пространствах *Rex Romana*. Сохранившийся текст памятника обрывается на событиях кануна взятия и разорения Рима Аларихом (410 г.)

В изложении ранневизантийской истории Зосим опирался на Евнапия;¹⁵ однако вряд ли возможно ограничивать его мировоззренческие тенденции, в частности антихристианские мотивы, и оценки лишь следованием своему источнику: компилирование, проявляемое как метод Зосима и ставшее затем во

многим типичным для византийского историописания, не только не нивелирует черты авторской самостоятельности, но как раз предполагает ее в том, что именно историк-последователь отбирает и как переосмысливает у своего источника. Для Зосима образцом стал Полибий — историк становления могущества Римского государства (хотя отсылки к «отцу истории» Геродоту или аллюзии на него также имеют место). Зосим же посвящает свой труд осмыслению упадка и раскола Римской империи под натиском варваров.¹⁶ И главной причиной этого историк-консерватор считает пренебрежение языческими ценностями древности, забвение старинных культов и мистерий и распространение христианства, в чем автор винит императоров-христиан (например, Феодосия). Аристократ и приверженец сенаторского сословия, Зосим стоит в прямой оппозиции к современной ему монархии.¹⁷ Упадок отечественных традиций идет рука об руку с территориальными потерями некогда необъятной империи: читателям Зосима трудно воспринимать Западные провинции как отделившиеся и навсегда потерянные. Император-реформатор Константин Великий, ставший в дальнейшем в византийской традиции образцом василевса, представляется Зосимом главным виновником совершающихся катастрофических, по мнению историка, перемен. В условиях упадка древних языческих культов, коррупции и разврата при императорском дворе, роста налогов и цен, морального разложения армии, каким видится развитие событий Зосиму, негативно оцениваются и действия императора Феодосия I, с которым в дальнейшем традицией будет связываться идея укрепления византийских принципов государственности. Нашествие Алариха, которому посвяще-

ны последние книги Зосима, представляется закономерным итогом исторического развития.

События современности управляются, по Зосиму, посредством вмешательства традиционных греческих богов и героев — Зевса и Афины, Реи и Ахилла, карающих и спасающих простых смертных, чья воля формулируется в предсказаниях древних оракулов, в снах, передаваемых поэтическими формулами.

Зная перспективу исторического развития, сейчас можно оценивать творчество Зосима как своеобразный «бой отступления язычества», уходящего с исторической арены. Однако для современников и приверженцев последнего крупного языческого историка и для него самого это не было аксиомой: они верили в святость и силу своих богов, своих государственных ценностей и, вероятно, уповали на их возрождение. Именно поэтому Зосиму, пережившему и описавшему катастрофы варварских вторжений, крах имперских иллюзий, все-таки осталось чуждым мировосприятие пессимистического свойства.¹⁸ Он был свидетелем того, как, несмотря на все трудности переходного периода, Византия как государство выстояла, сохранилась и нашла пути в новом мире, пришедшем на смену рухнувшему.

2 ЦЕРКОВНЫЕ ИСТОРИКИ

Ранней Византии история культуры обязана одним историографическим жанром, который определил то новое качество, каковым был весь период становления нового государства и его культуры.¹⁹ Более того, этот жанр фактически и просуществовал в рамках этого

периода, возрождаясь в дальнейшем в виде спорадических реплик. Это — церковная история.²⁰

Создателем этого вида исторической прозы стал современник становления христианства как официальной государственной религии и укрепления церкви ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (260-е — 339 гг.) Родившись в Палестине и получив образование в таких центрах ближневосточной культуры, как Иерусалим и Антиохия, он в период диоклетиановских гонений на христиан испытал и тюрьму (вместе со своим наставником Памфилом), и изгнание, спасаясь в Сирии, Финикии и Египте. Впечатления от этих тяжелых и трагических испытаний Евсевий выразил в «Истории палестинских мучеников», важнейшее место в которой уделено рассказу о мучительной казни (в 309 г.) учителя.

Став епископом Кесарии Севастийской, Евсевий вскоре стал свидетелем торжества христианства при императоре Константине I, приближенным которого он становится, участвуя в государственных торжествах, принимая активное участие в Первом Вселенском соборе в Никее (325 г.), обмениваясь письмами с первым христианским монархом.

В новых исторических условиях им создается монументальный историко-апологетический труд — «Церковная история», прослеживающий историю христианства от его зарождения, создания апостольской церкви до времени накануне Никейского собора. Торжество веры, преодолевшей гонения языческих императоров и толпы, и формирование образа христианского императора Константина Великого, в котором «Бог явил подобие («икону») единодержавной своей власти» — становится сюжетом как историографического сочинения Евсевия, так и его же «Жития Кон-

стантина», «Похвалы Константину», примыкающих по смыслу к «Церковной истории».²¹ Библейская история человечества и церкви воссоздается церковным историком и в его «Хронике».

Евсевий формирует новый тип историзма. В его основе — провиденциалистская концепция эволюции мироздания, подчиненной Божественному промыслу и осуществляющей путь от рождения Христа к его новому пришествию в будущем. В этом, по Евсевию, состоит смысл утверждения абсолютного господства Бога-Логоса на земле.

Параллельно с историко-философским аспектом сочинений прослеживается и собственно историко-церковный — от трагических эпизодов страстей, мук и гибели первых христиан, через утверждение власти господствующей церкви в борьбе с ересями к воплощению христианского государства. В этой связи образ римской государственности претерпевает изменения — от резко негативного в период языческих правителей-гонителей веры — к апологии новой империи.²² В этой же связи создается и концепция избранного «Божьего народа» — христиан.

Новая антитеза в концепции мироздания, делящая мир на христиан и неверных (или отступников), как бы претендует на замену традиционного античного деления людей на эллинов и римлян, с одной стороны, и «варваров» — с другой. Христианская «ойкуменическая» диаспора церковной литературы разрывает полисную ограниченность и римскую исключительность античной исторической прозы.

Уже у Евсевия формируется и образ христианского антимира, воплощенного в облике Сатаны. Однако власть его представляется историку торжества церкви ограниченной, уступающей вселенскому благу.

Претерпевает эволюцию и представление об историческом времени. На смену циклизму античного временного восприятия приходит теологическое осмысление движения, когда прошлое оценивается в перспективе будущего Суда. Эсхатологизм Евсевия своеобразно контаминирует эллинскую и иудейскую концепцию времени, формируя новый принцип ориентации. На космогонических представлениях историка сказывалось несомненное влияние не только Библии, Платона и неоплатоников, но и Филона, Пифагора и особенно Оригена.²³

В соответствии с основной христианской идеей рождение Христа символизирует у Евсевия обновление человечества, протекающее одновременно с утверждением веры и церкви. Вместе с тем ближневосточные влияния на теологию Евсевия сказываются в его арианских пристрастиях, в умеренной ортодоксальности.

Смысл исторических сочинений Евсевия сам автор определил как повествование, отличное от нравственно-поучительной дидактики. Поэтому важное место в «Церковной истории» уделено цитированию соборных постановлений, императорских указов, речей, судебных решений. Однако факты политической, гражданской истории служат дополнительным, оттеняющим моментом в изложении движения истории священной.

Евсевий и его творения имели счастливую судьбу в мировой литературе — их читали, переписывали и переводили, на них ссылались, их использовали и продолжали. Таким непосредственным продолжением стала латинская «Церковная история» РУФИНА, епископа Аквилеи, посвятившего свой рассказ истории христианской церкви на протяжении почти всего IV в.

(до 395 г.)²⁴ Полемическую заостренность сочинению придает открытая антилатинская направленность воззрений переводчика и продолжателя Евсевия, который был основателем нового жанра как в Византии, так и на христианском Востоке, и на Западе, ибо тогда они еще представляли собой одно целое.

Духовный ученик и последователь Евсевия СОКРАТ СХОЛАСТИК (ок. 380—440 гг.) не являлся церковным иерархом и участником острых диспутов, а был столичным юристом и ритором. Поэтому и его «Церковная история», охватывающая период почти в полтора века (с 306 по 439 гг.), включает в себя описания событий и военно-политической, и гражданской истории.²⁵ Сократ стремится показать тесную связь между событиями духовной церковной и светской политической жизни: беды и смуты, сотрясающие церковь, неизбежно отражаются на состоянии христианского государства.

Внутренний смысл основной идеи произведения связан с полемикой против Ария и арианства, а также в стремлении доказать непричастность своего учителя к этой ереси. Проблемы утверждения христианства в условиях притеснения императоров-язычников уже не занимают столько места, как у Евсевия, зато в центре интересов историка оказывается идея единства церкви, защита никейских постановлений, полемика с приверженцами Ария. Хотя сам Сократ не принимал непосредственного участия в описываемых событиях, как его духовный учитель, драматизм описания, рассказ о смерти Ария отмечены живым писательским чувством.

Сократ далек от черно-белых красок в характеристиках своих героев. Юлиан Отступник предстает не столько однозначным антигероем, гонителем христи-

ан, сколько человеком от рождения двуличным и лицемерным. Скрывавший поначалу свое пристрастие к языческим культам, он обратился к гонению на инакомыслящих, лишь утвердившись в своей власти. Двуличию нравственному соответствует построенный на противоречиях и внешний портрет императора, выдержанный в характеристиках, данных Юлиану Григорием Назианзином. Вместе с тем не скрываются внешнеполитические победы императора, его административные успехи.

Юлиан осуждается за лишение христиан возможности получать классическое, «эллинское», образование, приобщаться к античным, языческим наукам. Это характерно для ортодоксального писателя-христианина переходной эпохи: утверждение новых религиозных ценностей происходит не в ущерб классическому культурному наследию язычества, а в связи с ним. Неслучайно сам церковный историк неоднократно апеллирует к авторитету античных философов — Платона и Сократа, Аристотеля и Пифагора, Плотина и Порфирия, Оригена. Так, в сознании историка-юриста судьбы древней культуры и утвердившейся религии представляются взаимосвязанными и взаимозависимыми.

Тоже юристом (адвокатом) был и другой историк — современник Сократа СОЗОМЕН, родившийся в палестинской Газе и умерший в середине V в. Он прожил много лет в столице, где и написал «Церковную историю».²⁶ Религиозный и политический ортодокс, Созомен сохраняет пристрастие к своим родным местам, уделяя особое внимание подвигам ближневосточных аскетов: палестинское монашество впервые становится героем исторического сочинения.

Общеполитические воззрения Созомена определены идеей божественного избранничества государства ро-

меев, представлением об императоре как о «подражателе Богу». Борьба идей, полемические диспуты, еретические контрверзы составляют содержание истории, описанной ставшим столичным жителем юристом, который не принадлежал при этом к новой духовной элите.

Усиление остроты полемики с различными ересями проявляется в историко-церковном сочинении известного антиохийского богослова, философа, полемиста-защитника Нестория, видного церковного деятеля — епископа ФЕОДОРИТА КИРРСКОГО (378—457 гг.)²⁷ Его активная борьба с египетскими монофиситами, выступления против решения Эфесского собора 449 г. с позиций приверженца никейского православия отразились как в обширном литературно-полемическом и теологическом наследии, так и в его «Церковной истории».

Повествование Феодорита — не фактологическое изложение, а страстная инвектива, полемическое обвинение противников — священнослужителей и поддерживавших их властителей. Категоричность и дидактизм составляют основной пафос произведения. Смысл исторического развития видится в сохранении чистоты вероучения, в разоблачении ересиархов. В этой связи история церкви предстает достаточно изолированной, вне общеисторического политического контекста времени, исчерпываясь актуальными христологическими спорами. Воззрениям Феодорита свойственна и идея определенной автономности церковно-духовной жизни от государственной политической власти.

Сочинения ранневизантийских церковных историков были обобщены в компиляции в конце V — начале VI вв. ФЕОДОРОМ АНАГНОСТОМ (ЧТЕЦОМ), допол-

нившим их собственными описаниями событий церковной жизни вплоть до 527 г. Сам текст хроники дошел лишь в составе произведения поздневизантийского церковного историка XIV в. Никифора Каллиста Ксанфопула, а в отрывках — в составе других памятников VIII—X вв. Так называемая «Трехчастная история» Феодора Анагноста (Чтеца) сосредоточена на событиях в Константинополе (лишь отчасти — в Малой Азии и Италии) и повествует о ересь монофиситов, ариан, манихеев, несториан.

В историко-культурном контексте эпохи не меньшее значение имели церковные истории авторов неортодоксального вероисповедания — приверженцев арианства, несторианства, монофиситства. Сложность их изучения связана с фрагментарностью дошедших до нас текстов, сохранившихся порой лишь в тенденциозных переложениях православных богословов, историков и полемистов.

Это с полным основанием относится к ФИЛОСТОРГИЮ (ок. 368—440 гг.), excerpts «Церковной истории» которого сохранились в изложении Фотия, у Иоанна Дамаскина, в «Житии Константина» и др.²⁸ Выходец из малоазиатской Каппадокии исповедовал евномиянство — радикальное направление арианства, считавшее Христа подобным Отцу, но не единосущным и не равным Богу. С самим Евномием Филосторгий встретился уже в Константинополе, куда перебрался для получения образования. Письма Евномия Филосторгий включил в текст «Церковной истории». Много странствовавший, он посетил святые места в Палестине, был в Антиохии, путешествовал по Египту, побывав в его древнем культурном центре Александрии.

Активный участник богословских диспутов, христологических дискуссий, Филосторгий стремился за-

печатлеть их в своем историографическом сочинении.²⁹ Широта образования и личного опыта автора позволила включить в произведение многочисленные свидетельства о далеких землях Индии и Африки, их населении и природе; хорошо знакомый с античным наследием астрономии, географии, естественных наук, он делился и знаниями из этих областей. Но главное содержание «Церковной истории» Филосторгия составляет история евномианской церкви, анализ христологического учения Ария и Евномия, полемика как с языческими представлениями, так и с никейскими догматами о единосущности, с оппонентом арианства — Афанасием Александрийским. Церковный оппозиционер, Филосторгий высказывает преимущественно критические суждения, часто резкие, и о правящих императорах — от Константина и Феодосия до Аркадия и Юлиана. К обличению Юлиана Филосторгий специально обращается в «Мученичестве Артемия». Острая полемичность исторических воззрений автора, бескомпромиссность его конфессиональной позиции сказались и в его представлениях об историческом развитии, выдержанных в апокалиптических тонах. Жизнь гонимого еретика, оппозиционера, не согласного ни с официальной церковью, ни с государством, давала для подобного катастрофического мироощущения реальное основание.

Монофиситская «Церковная история» была написана палестинцем ЗАХАРИЕМ РИТОРОМ (470-е — ок. 553 гг.). Апологетическое произведение было посвящено главе монофиситской церкви, утвердившейся в Сирии, Палестине, Египте, — патриарху Северу. Получив образование в Александрии и Бейруте, Захарий оказался на службе в Константинополе. Его «Церковная история» сохранилась не в греческом

оригинале, а в составе сирийской компиляции, в центре которой оказываются события на Востоке второй половины V в.³⁰

Более радикальными монофиситскими пристрастиями, чем обратившийся в конце жизни к православию Захарий, отличался епископ ИОАНН ЭФЕССКИЙ, или АСИЙСКИЙ (ок. 506/7 — ок. 586 гг.).³¹ С детских лет оказавшийся в Амидском монастыре, он был духовным сыном Марона, определившего его философскую ориентацию. Испытав вместе с другими монофиситами гонения Юстиниана («Амидская тысяча»), Иоанн становится затем видным деятелем монофиситской церкви. Он много странствует по Сирии, Палестине, Египту, неоднократно посещает Константинополь, Малую Азию, западные земли. Глубокая ученость, эрудиция и авторитет сблизили впоследствии монофисита Иоанна Эфесского и с императором Юстинианом, его двором, в частности с августой Феодорой, проявлявшей склонность к монофиситству. Этому сближению способствовала и почти тридцатилетняя миссионерская деятельность Иоанна в 542—571 гг. среди языческих племен Тавра, Лидии, Кари, Фригии и других областей Малой Азии, направлявшаяся Юстинианом. С именем Иоанна Эфесского связаны и многочисленные репрессивные акции антиязыческой направленности — от разрушения капищ до уничтожения древних книг и статуй. Однако после смерти Юстиниана престарелый Иоанн подвергся новым антимонафиситским преследованиям при Юстине II с 571 г. и, проведя в ссылке и тюрьме более шести лет, пережил под конец жизни и разграбление имущества, и новое заточение.

«Церковная история» Иоанна сохранилась частично в изложении XII в. Михаила Сирийского, а последние разделы автобиографического содержания —

в авторском варианте. Повествование мемуарного характера (о событиях 571—585 гг.) посвящено в основном истории монофиситской церкви и ее учению.

Несторианская историография может быть представлена сочинениями сирийского писателя VI в. **БАР-ХАБЕШАББЫ**, епископа Халвана, — трактатом «Причины основания школ» о Нисибийской академии и «Историей святых отцов», или «Церковной историей», воспевавшей подвижничество учителей несторианской церкви.³²

3 ПРОКОПИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ПРИНЦИПОВ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Центральной фигурой ранневизантийской историографии, несомненно, следует считать **ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО** (ок. 500—560-е гг.). Он был автором многочисленных объемных сочинений в жанре исторической прозы: его «Истории», или «Войны», включают в себя два тома описаний войн с Сасанидским Ираном (530—532, 540—549 гг.), два тома войн с вандалами (533—534 гг.), три — с готами (535—550 гг.) и завершаются еще одной книгой. Строительной деятельности Юстиниана посвящено сочинение «О постройках». На Прокопия ссылаются, его тексты используют, компилируют, цитируют все последующие поколения византийских историков вплоть до XIV—XV вв. Но дело не только в объеме написанного Прокопием и не только в уникальности его исторических свидетельств, имеющих исключительное значение для историка. Интересно неоднозначность его личности как автора: выдержанные в духе политической ортодоксии, его основные

исторические труды резко контрастируют с еще одной очень важной его книгой. Это «Тайная история», в которой раскрытие истинной сущности описываемых событий, восхваляемых в официальной историографии, доходит до грани политического памфлета.

Подобно многим ранневизантийским литераторам, Прокопий происходил с востока — он родился в Палестине, в Кесарии, в знатной, по всей видимости, семье, а образование — риторическое и, возможно, юридическое, — получил в одном из главных центров культуры византийского Востока — в Бейруте. Его дальнейшая жизнь — в качестве секретаря, советника, посланника — тесно связана с судьбой могущественного полководца Велисария, с которым Прокопию довелось обойти многие земли — Сицилию, Карфаген в Африке, Италию, участвовать в многочисленных войнах и дипломатических переговорах — с вандалами, готами, персами. Естественно, Велисарий становится главным героем Прокопия: его победы представлены решающими для судьбы государства, а неудачи — простительными.

Напротив, император Юстиниан, воспринимаемый входившим в круг высшей senatorской аристократии писателем, скорее всего, как парвеню, оценивается в значительно более сдержанных тонах, а в «Тайной истории» резко критикуется. Причем, Юстиниан здесь представляется не только виновником несчастий от варварских вторжений, но чуть ли не причиной природных катастроф.³³

Однако при всей резкости подобной оценки Прокопия, он вполне привержен идее исключительности императорской власти в Византии.³⁴ Действительно, византийские завоевания при Юстиниане вновь раздвинули пределы ромейских границ почти до размеров

Римской империи Августов: вновь внутренними провинциями стали (пусть на время) и Италия, и Северная Африка, и Малая Азия, и Армения.

Существенным для оценки мировидения историка является то, что описываемые им земли и события он видел сам; принцип автопсии был для него основой «истины» — главной цели исторического познания, по утверждению автора (I. 1, 3), противопоставлявшего в духе античной традиции «миф» и «историю» (VIII. 1, 13). Эффект авторского присутствия создается пространными экскурсами, описаниями народов, их обычаев, дальних земель;³⁵ Прокопий донес до нас и уникальные сведения о древних славянах — склавинах и антах.³⁶

«...Племена эти, склавины и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные дела всегда идут сообща. А также одинаково и остальное, можно сказать, все у тех и у других, и установлено исстари у этих варваров. Ибо они считают, что один из богов — создатель молнии — именно он есть единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных. Предопределения же они не знают и вообще не признают, что оно имеет какое-то значение, по крайней мере в отношении людей, но когда смерть уже у них в ногах, охвачены ли они болезнью или выступают на войну, они дают обет, если избегнут ее, сейчас же совершить богу жертву за свою жизнь; а избежав (смерти), жертвуют, что пообещали, и думают, что этой-то жертвой купили себе спасение. Однако почитают они и реки, и нимф, и некоторые иные божества и приносят жертвы также и им всем, и при этих-то жертвах совершают гадания. А живут

они в жалких хижинах, располагаясь далеко друг от друга и каждый меняя часто насколько можно место поселения. Вступая же в битву, большинство идет на врагов пешими, имея небольшие щиты и копья в руках, панциря же никогда на себя не надевают; некоторые же не имеют (на себе) ни хитона, ни (грубого) плаща, но, приспособив только штаны, прикрывающие срамные части, так и вступают в схватку с врагами. Есть у тех и у других и единый язык, совершенно варварский. Да и внешнеюстью они друг от друга ничем не отличаются, ибо все они и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые. Образ жизни (их) грубый и неприхотливый, как и у массагетов, и, как и те, они постоянно покрыты грязью, — впрочем, они менее всего коварны и злокозненны, но и в простоте (своей) они сохраняют гуннский нрав. Да и имя встарь у склавинов и антов было одно. Ибо и тех и других издревле звали „спорами“, как раз из-за того, думаю, что они населяют страну, разбросанно расположив свои жилища. Именно поэтому они занимают неимоверно обширную землю: ведь они обретаются на большей части другого берега Истра» (Goth. III. 14, 22).³⁷

Древняя топика архаизированной этнонимии и образной стереотипии у Прокопия — дань литературным нормам историописания — не противоречит реальности свидетельств очевидца: этикетность словоупотребления при описании этнического портрета варвара лишь оттеняется характерными индивидуальными деталями, подмеченными историком. Это видимое противоречие снимается, если принять по внимание культивируемый Прокопием, как ученым

литератором, принцип мимесиса (подражания) античным образцам прозы. Многочисленные параллели или скрытые цитаты из Геродота и Фукидида, стилистический аскетизм не превращают в беллетристическую фикцию описание чумы (ср. аналог у Фукидида) или идеализацию мира варваров (ср. скифский экскурс у Геродота).³⁸

Вместе с тем, место, занимаемое античным божеством судьбы — Тихи (Τύχη),³⁹ ставшим впоследствии в византийской литературе одним из главных действующих лиц в человеческой жизни, больше, чем дань античному классицизму у Прокопия. Прокопий, верный христианин, лояльный в религиозном и нравственном отношении (что дало повод некоторым исследователям даже видеть в нем конформиста и приспособляющегося карьериста),⁴⁰ представляет Тиху в качестве силы, чуть ли не соперничающей с Богом. Неслучайно Прокопия многие считают религиозным скептиком, агностиком, фаталистом.⁴¹

Роль слепой судьбы — Тихи, до известной степени аналога латинской Фортуны, — всегда была особой во всей греческой литературе. Именно эти традиции и культивирует Прокопий. Тиха как божество будет представлена и в классической, и в поздней византийской литературе, далекой и хронологически, и по существу от проблем соотношения язычества и христианства.⁴² В этом же смысле следует оценивать и пантеон у Прокопия Кесарийского, как и его описания многочисленных знамений, предсказаний, чудесных природных явлений, что свойственно было в одинаковой степени как античной языческой исторической прозе, так и христианской византийской.

Прокопия от Зосима отделяет жизнь одного поколения, но как показательны отличия этих двух авторов

друг от друга. Зосим — свидетель упадка государства, краха старинных ценностей, сокращения пределов империи — далек от пессимизма. Напротив, Прокопий, современник и участник восстановления имперских границ, укрепления государственного могущества, формирования идеологии верховной власти византийского императора, словом, свидетель роста могущества сильного монарха Юстиниана, напротив, проникнут скепсисом, критикой, не склонен к однозначному восхвалению власти и оружия. Прокопий стал одним из первых историков, создавших особые формы критики императоров в условиях византийского политического униформизма. Скорее всего, это также отвечало требованиям раскрытия «истины» исторического процесса, декларировавшимся автором «Войн». ⁴³ При всем традиционализме идеи римской государственности у Прокопия, им фактически осуждается юстиниановская политика реконкисты. ⁴⁴ Этим объясняется и его примирительные настроения по отношению к миру «варваров». ⁴⁵

Современником Юстиниана и Прокопия был и ПЕТР ПАТРИКИЙ (МАГИСТР). Он родился ок. 500 г. в Фессалонике; родом был «иллириец» (Прокопий), учился в столице, затем находился при дворе, был в составе многочисленных посольств, выполнял различные дипломатические поручения, в частности, в Персии участвовал в заключении знаменитого Византиноперсидского мира 562 г., текст которого историк сохранил для нас. Его «История» дошла в эксцерптах ученого императора X в. Константина Багрянородного, который заимствовал многие выдержки Петра о посольствах. Дипломатическому протоколу было посвящено и другое сочинение Петра — «О государственном устройстве», также сохраненное «Книгой церемоний» Константина.

Исторические сведения Петра касаются в основном правления императоров середины V—VI вв. Историк в стиле сократовского диалога создает модель идеального государства типа «конституционной монархии», что позволяет исследователям уловить в этом некую оппозиционность абсолютизму Юстиниана.⁴⁶ Особое внимание историк-дипломат уделяет протокольным аспектам вступления во власть, легитимирующим ее: идея императорской власти как данной от Бога, законной, олицетворяется в обряде провозглашения при активном участии граждан, сената («лучших людей»), при патриаршем помазании. Император должен стать «отцом граждан», соблюдать в правлении знание («науку»), веру, справедливость, государственную законность, благополучие подданных. Так формируются атрибуты византийской императорской власти.

Другим современником Прокопия был хронист **ИОАНН МАЛАЛА** (ок. 491—578 гг.) — также выходец из Малой Азии, он происходил, вероятно, из сирийской семьи в древней Антиохии. Однако в отличие от Прокопия, Малала стал автором произведения, отличающегося как по объему, так и по характеру изложения. Он создает всемирную хронику, начинающуюся от Адама, с библейской истории, включающую в себя греческие мифологические сказания, охватывающую историю Римской империи — как эпохи древних царей, так и эллинистических монархий, и доходящую до 560-х гг. Исследователями отмечался антиохийский местный колорит в оценке мировых событий хронистом (он не упускает случая упомянуть при удобном случае об Антиохии) и, в связи с этим, несколько монофиситский характер его историко-философских воззрений.⁴⁷ Конец же повествования пи-

сался, видимо, в Константинополе, куда перебрался Малала, — с уже вполне ортодоксальных христианских позиций.⁴⁸

«Хронография» Иоанна Малалы представляется характерным примером «тривиальной литературы» византийцев, типичной в качестве источника исторических сведений, а поэтому много и охотно переписываемой византийскими хронистами следующих поколений и переводившейся на другие языки. К трудам Иоанна Малалы обращались Иоанн Эфесский, Евагрий, затем Феофан Исповедник и Георгий Монах в IX в., Константин Багрянородный в X в., Лев Грамматик и Иоанн Скилица в XI, Иоанн Цец и Иоанн Зонара — в XII, Феодор Скутариот — в XIII в.,⁴⁹ а судя по Мовсесу Хоренаци, достаточно рано распространилась и армянская версия памятника; известна сирийская, возможно, и древнегрузинская версия; «Палестинская хроника» VIII/IX вв. представляет собой не что иное, как латинскую переработку хроники Малалы. Наконец, древнеславянские ее переводы легли в основу древнерусского летописания, став одним из главных источников «Повести временных лет».⁵⁰

Малала описывает то, что было интересно «среднему» византийцу: военные походы, возвышение монархов, строительство городов и крепостей; он чуток к знамениям — появлению комет и метеоритов, внимателен к слухам о диковинных событиях — сюжетам так называемой «народной культуры». Характеристики персонажей представляют собой нормативный набор качеств, причем положительному герою присущи одни характерные черты, отрицательным — также свой определенный набор. Портретные описания близки агиографическим принципам формирования образа. Ориентация на широкий круг читателей сказывается

и в определении наивных оценок, подмеченных исследователями, и в частных случаях анахронизма, когда современные реалии применяются для описания глубокой древности. Включение в лексику хрониста народноязычных выражений — явление того же происхождения.⁵¹ Непосредственность восприятия языковой стихии хронистом сказывается и в частом употреблении им латинских транслитерированных терминов, не преобразуемых автором в какой-либо греческий литературный эквивалент.

Иоанну Малале свойствен исторический провиденциализм, преклонение перед абсолютной Божественной волей. Отсюда на первое место в повествовании выходят проявления стихии, чудеса, бедствия, массовые движения, бунты; зато нет свойственных многим его современникам этногеографических и религиозно-культовых экскурсов. Правда, в заключительной, «константинопольской» книге сюжет расширяется, что приводит к изменениям и в структуре памятника.⁵²

Происходивший также из малоазийского города АГАФИЙ МИРИНЕЙСКИЙ (ок. 530—ок. 582 гг.) рано оказался в столице; для получения образования (юридического) он отправился в Александрию, но вскоре вновь вернулся в Константинополь, с которым, как и с малоазийским крупным центром Смирной, была связана основная часть жизни историка.⁵³

Вклад Агафия в византийскую историографию отмечен, прежде всего, введением личной авторской темы в повествование: жизненные перипетии индивида, участника и сопереживателя исторических событий, оказываются интересными читателю наряду с описаниями войн, походов, императорских триумфов и поражений, рождения и гибели государств, империй и народов. Партикуляризация и индиви-

дуализация исторического мировидения становится впредь одной из замечательных черт византийской мемуарно-исторической прозы, наряду с развитием и другого направления — монументальных хроник, ведущих свое повествование от сотворения мира или от Адама и сосредоточенных, главным образом, на глобальных мировых событиях. Поэтому «Истории» Агафия и посвящены сравнительно небольшому хронологическому отрезку — 552–559 гг., однако по драматизму описания и событийной насыщенности не уступают вселенским хроникам: историк повествует о вторжении франков и аламанов в Италию, войнах в закавказской Лазике, об истории персидской династии Сасанидов, об их культах, о византино-персидских дипломатических отношениях, о чуме в византийской столице, о нападении на нее кутигурских племен. Произведение, по всей видимости, осталось незавершенным.

Важнейшим описательным элементом сочинения становятся этнографо-культуроведческие экскурсы о народах — франках, персах, германцах, лазах, — их истории, обычаях, религии.⁵⁴ Характерна определенная идеализация народов, не затронутых «цивилизацией», морализующее представление об иноплеменниках (например, о франках со времен Хлодвига). Остатливается Агафий и на таких вехах историко-культурного развития, как закрытие платоновской Академии в Афинах в 529 г., как бы символизирующее конец истории античной образованности.⁵⁵

В отличие от Прокопия, Агафий не стремится к верификации описываемых событий свидетельствами собственного участия или присутствия: самодовлеющего значения принцип автопсии здесь не имеет. Напротив, историзм легенд, сказаний, преданий для Ага-

фия естествен, в отличие от Прокопия, противопоставлявшего исторический миф и реальность.

Однако, как и у Прокопия, критику Агафия вызывает политика Юстиниана, особенно последних лет его правления, представлявших собой, по выражению автора, «хронику жалости и пессимизма» (V. 14. 1).

Как литератор Агафий — последовательный приверженец принципов мимесиса античным образцам: ⁵⁶ стилистически и фразеологически он следует Геродоту и Фукидиду, а в предисловии-прооимии указывает на Диодора и Лукиана как на пример для подражания писателя. С этим связан и классицистический оттенок эллинистических представлений о божестве, а также о различных философских категориях первопричин в духе неоплатонизма, вера в астрологию и фатальные предначертания, что позволяет говорить о религиозной толерантности Агафия. ⁵⁷

Непосредственным продолжением сочинений Агафия стала «История» константинопольца МЕНАНДРА ПРОТЕКТОРА, сохранившаяся фрагментарно, описывающая события от 558 г. вплоть до воцарения Маврикия (582 г.). Менандр родился в середине VI в., получил юридическое образование, но юридической практикой не занимался. При Маврикии служил в императорской гвардии (поэтому и был прозван Протектором). В центре интересов автора, прежде всего, оказываются внешнеполитические отношения империи с аварами, тюрками, славянами, гуннскими народами. Составной частью повествования становятся географические, этнографические, историко-культурные экскурсы о них. Менандр стремится к точности следования источнику своей информации, не столько опираясь на слухи и легенды, сколько прибегая к текстам документов, посланий, договоров, военных и

дипломатических донесений. Возможно, хотя и трудно доказуемо, что Менандр переработал и «Историю» своего (старшего?) современника ФЕОФАНА ВИЗАНТИЙСКОГО, дошедшую до нас лишь в кратких excerptaх (впрочем, не исключено, что наоборот, Феофан опирался на Менандра).

Отрывочность сохранившихся текстов Менандра затрудняет реконструкцию мировоззренческих особенностей его историзма. Обычно отмечается его общая лояльность к византийской имперской системе, несмотря на критические мотивы в отношении тех или иных монархов, хотя встречаются и его оценки как скептика в духе Макиавелли.⁵⁸

Для этнополитических взглядов Менандра интересна его терпимость в отдельных случаях по отношению к иноплеменным народам, редкая для византийца-ортодокса. Так, тюрки не называются в «Истории» «варварами», а иноземный правитель может фигурировать в качестве «брата» (в фигуральном смысле) византийского василевса. Такое отношение к бывшим противникам раннесредневековой Византии могло бы пониматься как отражение новых ориентаций византийской внешнеполитической доктрины в условиях реалий конца VI в., когда на смену гордому имперскому изоляционизму приходило сознание партнерства и соседства с окружающим политически сильным миром.⁵⁹ Однако Менандру свойственны и многочисленные негативные оценки варваров. Вот фрагмент рассказа об одном из древнейших эпизодов славянской истории (578 г.): «...Так самонадеянно сказали славяне, но и варвары продолжали говорить не менее высокомерно. Затем отсюда — оскорбления и грубости, и, как это присуще варварам, они из-за своенравного и надменного образа мыслей затеяли

ссору друг с другом. И славяне, не способные обуздать свою досаду, прибывших к ним послов убивают, как это — разумеется, со стороны — стало известно Баяну (хагану аваров). Потому-то Баян, издавна упрекая в этом славян, питая к ним затаенную вражду и вообще гневаясь (на то), что не подчинились ему и тем более что (он) жестоко от них потерпел, а вместе с тем и желая высказать кесарю благодарность и надеясь также найти страну (славян) весьма богатой, так как издавна (земля) ромеев (опустошалась) славянами, их же собственная (славянская) земля каким-либо другим из всех народов — никоим образом». ⁶⁰

Формально примыкает к сочинениям в жанре церковных хроник «Церковная история» ЕВАГРИЯ СХОЛАСТИКА (535/6—кон. VI в.), охватывающая период с 431 по 594 гг. Выходец из богатой семьи сирийских ортодоксальных христиан почти всю свою жизнь был связан с Антиохией, где учился, занимался юридической практикой и богословием, будучи приверженцем антиохийского патриарха Григория; возглавлял большую семью, которая почти вся, включая детей и внука, умерла от эпидемии чумы, когда историк вступил в преклонный по византийским меркам возраст. ⁶¹

Сочинение Евагрия отличается от многих церковных хроник, приближаясь к исторической прозе мемуарного жанра: историк-богослов повествует о перипетиях своей жизни, радостях и бедах, общественных и частных занятиях, пропуская все события через призму собственной судьбы. Он дает оценку и своим предшественникам — от древнегреческих и римских историков — Полибия, Аппиана, Диодора — до византийских — Зосима, Приска, Малалы, Менандра и Прокопия. О событиях в правление Тиберия

и Маврикия Евагрий повествует как проникательный их свидетель.

Показательна антиохийская ориентация религиозно-политических воззрений автора. Антиязыческая традиция воплотилась в полемике с Зосимом по поводу оценки Константина Великого, причин упадка Римской империи, роли дохристианских императоров Рима. В своей аргументации Евагрий следует Евсевию, поддерживая его идею гармонии между христианским государством и церковью.

Социальная и политическая история интересует автора в неменьшей степени, чем обстоятельства борьбы с язычеством и ересями. Им формируется образ идеального правителя, создается политическая теория государственной власти. Воплощением идеала государя представлен Константин, в то время как антигероем, беззаконным и порочным, выведен император Зенон, а также малодушный Юстин II; Юстиниан же оценивается сдержанно — в духе ремарок Прокпия. Из современников наиболее благоприятно представлен Маврикий — в образе благочестивого и благородного монарха.

Продолжением хронографических традиций византийской исторической прозы в начале VII в. стала сохранившаяся в выдержках «Всемирная хроника» ИОАННА АНТИОХИЙСКОГО. Она охватывает события библейской (от Адама) истории, мифологической эпохи Греции и Рима, Римской и Византийской империи — вплоть до утверждения на троне императора Ираклия (610 г.)

Немногим больше хронологический охват — от Адама до правления Ираклия (ок. 629 г.) — и у другого произведения подобного жанра VII в., «ПАСХАЛЬНОЙ ХРОНИКИ». Ее анонимный автор был,

очевидно, клириком, интересовавшимся вопросами литургии, церковно-каноническими проблемами. Значительное место в произведении уделено пересказу библейской истории, евангельским событиям, в рассказе о которых хронист опирался на ранневизантийскую патристическую литературу. Как усердный хронист, автор «Пасхальной хроники» ведет скрупулезную датировку событий — по индиктам, годам императорского правления, консульствам и даже по олимпиадам. Вообще календарю и отсчету времени уделяется особое внимание. Компильтивный характер текста во многом определяет зависимость литературных качеств хроники от тех источников, на которые опирался ее составитель.⁶²

Продолжателем повествования Менандра стал происходивший из Египта, ставший затем императорским секретарем и епархом при Ираклии, историк ФЕОФИЛАКТ СИМОКАТТА (ок. 580-х — после 641 гг.), посвятивший свою «Вселенскую историю» правлению Маврикия (582—602 гг.). Он был автором и других произведений — «Диалога о природных и физических проблемах», сборника писем — реальных и аллегорических.⁶³

Предисловие-прооймион исторического труда составляет диалог Философии и Истории.⁶⁴ Здесь подчеркивается практическое, этическое, педагогическое значение изучения истории, проводится сопоставление истории и поэзии. Таким образом, историописание помещается в широкий литературно-культурный жанровый контекст. Риторические принципы подачи материала доминируют у Феофилакта как в декларациях, так и в самой ткани повествования.

Внутренний смысл сочинения Феофилакта заключается в реабилитации императора Маврикия. По

контрасту с этим персонажем формируется образ Фоки — тирана, узурпатора, полуварвара, описываемого в категориях античной топики: он сопоставляется с Циклопом, Кентавром, словом — с полу-чудовищами, полу-людьми. Подобным же образом — *vice versu* — персона императора-современника (Ираклия) обозначена созвучным именем античного героя (Геракла).

В центре описываемых исторических событий — столкновение Византии с подошедшими к Балканам и начавшими процесс их заселения славянами и варварами. Успехи и неудачи Маврикия в этих взаимоотношениях драматически переживаются историком, который сам, впрочем, в отличие, скажем, от Прокопия, не был ни участником, ни очевидцем всего происходившего в Константинополе в то время, в условиях грозящей опасности.

Другой полюс историко-политических интересов эпохи и автора — на востоке: это сасанидское пограничье Византии. Другие же области ойкумены — Апеннины, Африка, даже родной Египет — упоминаются лишь вскользь.

Особое внимание Феофилакт уделяет вопросам генеалогии иноземных правящих родов — персидских, скифских, а также ранней истории народов — в том числе алтайских племен. «Скифский экскурс» Феофилакта является одним из наиболее интересных с исторической точки зрения свидетельств византийской историографии.⁶⁵ Свидетельства историка становятся еще более ценными при его обращении к государственным документам, доступ к которым он имел, будучи императорским секретарем в столице. В этом отношении такие материалы «Истории», как древности гуннов, аваров, алтайских племен, просто уникальны для мировой

историографии. Это относится и к славянским древностям: «На другой день трое людей из племени славян, не имеющие никакого железного оружия или каких-либо военных приспособлений, были взяты в плен телохранителями императора; единственным их багажом были гусли («кифары»), и ничего другого они не несли с собою. Император стал их расспрашивать, какого они племени, где назначено судьбой им жить и по какой причине они возвращаются в римских пределах. Они отвечали, что по племени они — славяне, что живут на краю западного Океана, что каган разослал послов вплоть до этих племен, с тем чтобы собрать военную силу, и прислал почетные дары их племенным владыкам; что они дары приняли, но в союзной помощи ему отказали, настойчиво указывая ему на то, что их затрудняет длина пути, что они, взятые сейчас в плен, отправлены к кагану, имея следующее основание для такого оправдания: прошло 15 месяцев, как они идут этой дорогой; что каган, забыв все законы по отношению к послам, решил чинить им всякие затруднения по возвращении. Они слышали, говорили они, что римский народ и по богатству, и по человеколюбию является, так сказать, наиславнейшим: поэтому они, обманув (кагана), выбрали удобный момент и направились во Фракию. Гусли («кифары») они носят, потому что не привыкли облекать свои тела в железное оружие: их страна не знает железа, и поэтому мирно и без мятежей проходит жизнь у них; что они играют на лирах, потому что не обучены трубить в трубы. Для тех, кому война является вещью неведомой, естественно, говорили они, более усиленно предаваться музыкальным упражнениям. Выслушав их рассказ, император пришел в восхищение от их племени и самих этих варваров, попавших в его руки, он удостоил их милостивого приема

и угощения. Удивляясь величине их тел и красоте их членов, он направил их в Гераклею» (VI. 2, 10—16).⁶⁶

Однако «Вселенская история», как и другие сочинения ее автора, в не меньшей степени, чем собрание исторических фактов, является и литературным произведением, построенным по законам эллинского красноречия, украшенного риторическими фигурами, аллегориями и метафорами; это во многих случаях ритмически организованная проза.⁶⁷ Именно литературно-риторической спецификой памятника, а не некомпетентностью историка-фактографа следует объяснить и многие из указываемых обычно современными исследователями неточностей и ошибок Феофилакта.⁶⁸

Однако Феофилакт не ориентируется лишь исключительно на художественные ценности античного прошлого: впервые в рамках произведения всемирно-исторического жанра он уделяет столь большое внимание агиографии — св. Сергию (V. 13), св. Ефимии (VIII. 14), аскету Иоанну (VII. 6, 1—5).⁶⁹ Влияние житийной литературы сказывается и в писательском методе историка. Так, образ умирающего Маврикия выдержан в тонах характеристик агиографического героя (VIII. 11, 1—6). Включение типично средневековых жанровых элементов в историческое повествование показывает, что византийская историческая проза в VII в. завершает свой переход от античного мировосприятия к средневековому.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Chalmers W. R.* The Νέα ἔκδοσις of Eunapius' Histories. — *Classical Review*, N. S. 3, 1953. P. 165—170.

² *Bartelink G. J. M.* Eunape et le vocabulaire chrétien. — *Vigiliae christ.* Vol. 23. 1969. P. 294.

³ Cameron A. Wandering Poets: A. Literary Movement in Byzantine Egypt. — *Historia*. Vol. 14. 1965. P. 470—509.

⁴ Matthews J. F. Olimpiodorus of Thebes and the History of the West. — *Journal of Roman Studies*. T. 60. 1970. P. 79—97.

⁵ Скржинская Е. Ч. «История» Олимпиодора. — *Византийский временник*. Т. 8. 1956. С. 223—276.

⁶ Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 281—282.

⁷ Wirth G. Attila und Byzanz. Zur Deutung einer fragwürdigen Priscusstelle. — *Byzantinische Zeitschrift*. Bd. 60. 1967. S. 41—69; Baldwin B. Priscus of Panium. — *Byzantion*. Vol. 50. 1980. P. 20 sq.

⁸ Moravcsik Gy. Klassizismus in der byzantinischen Geschichtsschreibung. — *Polychronion*. Festschrift F. Dölger. Heidelberg, 1966. S. 366—377.

⁹ Удальцова З. В. Мировоззрение византийского историка V в. Приска Панийского. — *Византийский временник*. Т. 33. 1972. С. 47—74.

¹⁰ Benedicty R. Die historische Authentizität eines Berichtes des Priskos. Zur Frage der historiographischen Novellisierung in der frühbyzantinischen Geschichtsliteratur. — *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik*. Bd. 13. 1964. S. 1—8; Kuranc J. De Prisco Panita rerum scriptore quaestiones selectae. Lublin, 1958.

¹¹ Hunger H. Die hochsprachliche... S. 284—285.

¹² Ridley R. T. Zosimus the Historian. — *Byzantinische Zeitschrift*. Bd. 65. 1972. S. 277—302; Paschou F. Cinq études sur Zosimus. Paris, 1975.

¹³ Розенталь Н. Н. Религиозно-политическая идеология Зосима. — *Древний мир*. Собр. ст. М., 1962. С. 616—617.

¹⁴ Berardo L. Struttura, lacune e struttura della lacune nell' 'Istoria vëa di Zosimo. — *Athenalum*. Vol. 54. 1976. P. 472—481.

¹⁵ Ridley R. T. Eunapius and Zosimus. — *Helikon*. Vol. 9—10. 1969—1970. P. 574—592.

¹⁶ Goffart W. Zosimus, the first Historian of Rome's Fall. — *American Historical Review*. Vol. 86. 1971. P. 412—441.

¹⁷ Cp. Scavone D. C. Zosimus and his Historical Models. — *GRBS*, Vol. 11. 1970. P. 57—67.

¹⁸ Zoe Petre. La pensée historique de Zosime. — *Studii classice*. Vol. 7. 1965. P. 263—272.

¹⁹ Momigliano A. Pagan and Christian Historiography in the Fourth Century The Conflict between Paganism and Christianity. Oxford, 1964 P. 92.

²⁰ Winkelmann F. Die Kirchengeschichtswerke im ostromischen Reich — Byzantinoslavica T. 37 1976 S. 1 sq.

²¹ Idem. Die Vita Constantini des Eusebius. Halle, 1959

²² Farina R. L'impero et l'imperatore christiano in Eusebio di Cesarea Zurich, 1966, Sansterre J. M. Eusèbe de Cesaree et la naissance de la theorie cesaropapisme. — Byzantion. T. 42 1972. P. 131—195 532—594.

²³ Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья — Античность и Византия М., 1975. С. 274—275; Брагинская Н. В. Эон в «Похвальном слове Константину» Евсевия Кесарийского. — Античность и Византия С. 286—306; Demf A. Der Platinismus des Eusebius Victorinus und Pseudo-Dionysios. Munchen, 1962.

²⁴ Rufini Aquileiensis presbyteri Historiae ecclesiasticae libri duo. Migne J. P. PL. T. 21.

²⁵ Migne J. P. PG. T. 67. Col. 77 sq.

²⁶ Bidez J., Hansen G. C. Griechische christliche Schriftsteller, 50. B., 1960.

²⁷ Richard M. Theodoret, Jean d'Antioch et les moines d'Orient. — Mélanges de Science Religieuse. Vol. 3. 1946. P. 147—156

²⁸ Philostorgius. Kirchengeschichte, ed. J. Bidez Berlin, 1972.

²⁹ Удальцов З. В. Филосторгий — представитель еретической церковной историографии. — Византийский временник. Т. 44. 1983.

³⁰ Пигулевская Н. В. Сирийские источники по истории народов СССР. М.—Л., 1941.

³¹ Дьяконов А. П. Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды. СПб, 1908 С. 7—32.

³² Пигулевская Н. В. История Нисибийской академии. — Палест. сборн. Вып. 17(80) 1967. С. 90—109

³³ Tinnefeld F. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates. Munchen, 1971.

³⁴ Veh O. Zur Geschichtsschreibung und Weltauffassung des Prokop von Caesarea. T. I—III. Progr. Gymnas. Bayreuth.

1950/51—1952/53; Cameron Av. Prokopius and the VI Century. Berkley, 1985.

³⁵ *Benedicty R* Этнографический экскурс Прокопия Кесарийского. — Визант. временник. Т. 24. 1964. С. 49—57; *idem*, Prokopios' Bericht über die slavische Vorzeit. Beiträge zur historiographischen Methode des Prokopios von Kaisareia. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft. Bd. 14. 1965. S. 51—78.

³⁶ Свод древнейших письменных свидетельств о славянах. Т. 1. М., 1991. С. 170 и след.; рец.: Бибииков М. В., Петрухин В. Я. — Славяноведение. 1992. № 5. С. 112—119.

³⁷ Свод... С. 183—185.

³⁸ *Diesner H J.* Eine Thukydides-Parallele bei Prokop. — Rheinisches Museum. Bd. 114. 1971. S. 93 ff.

³⁹ *Elferink M A.* Τύχη et Dieu chez Procope de Césarée. — Acta classica. T. 10. 1967. P. 111—134.

⁴⁰ *Udal'cova Z. V.* Le monde vu par les historiens byzantins du IV au VII^e siècle. — Byzantinoslavica. T. 33. 1972. P. 193—213.

⁴¹ *Cameron A. M.* The «Scepticism» of Procopius. — Historica. T. 15. 1966. P. 466—482.

⁴² *Downey G.* Paganism and Christianity in Procopius. — Church History. Vol. 18. 1949. P. 89—102; *Evans J. A. S.* Christianity and Paganism in Procopius of Caesarea. — GRBS. T. 12. 1971. P. 81—100.

⁴³ *Rubin B.* Prokopius von Kaisareia. Stuttgart. 1954; *Evans J. A. S.* Procopius. New York, 1972.

⁴⁴ *Cesa M.* La politica di Giustiniano verso l'occidente nel giudizio di Procopio. — Athenaeum. T. 69. London, 1981. P. 389—406.

⁴⁵ *Idem.* Etnografia e geografia nella visione storica di Procopio di Cesarea. — Studi classici e orientali. T. 32. Roma, 1982; Гантар К. Византијски историчар Прокопиј из Цезареја и његови усмени извори. Зборник филозофског факултета Београд, 1979. Кн. 14. № 1.

⁴⁶ *Valdenberg V.* Les idées politiques dans les fragments attribués à Pierre le Patrice. — Byzantion. T. 2. 1925. P. 55—76.

⁴⁷ *Patzig E.* Der angebliche Monophysitismus des Malalas. — Byzantinische Zeitschrift. Bd. 7. 1898. S. 111—128; *Gleye C. E.* Über monophysitische Spuren im Mala-

laswerke. — Byzantinische Zeitschrift. Bd. 8. 1899. S. 312—327.

⁴⁸ *Jeffreys E. & oth.* The Chronicle of John Malalas. Melbourne, 1986. P. XXI—XXIII.

⁴⁹ *Patzig E.* Die Abhängigkeit des Jo. Antiohenus von Jo. Malalas. — Byzantinische Zeitschrift. Bd. 10. 1901. S. 40—53; *idem.* Über ein ge Quellen des Zonaras. — Byzantinische Zeitschrift Bd. 5. 1986. S. 24—53; *idem.* Malalas und Tzetzes. — Byzantinische Zeitschrift. Bd. 10. 1901. S. 385—393.

⁵⁰ *Шустрович Е. М.* Хроника Иоанна Малалы и античная традиция в древнерусской литературе. — ТОДРЛ. Т. 23. 1968. С. 62—70; *она же.* Древнерусский перевод Хроники Иоанна Малалы. — Виз. врем. Т. 30. 1969. С. 136—152; *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 13 и сл.; *Udal'cova Z. V.* La Chronique de Jean Malalas dans la Russie de Kiev. — Byzantion. Т. 35. 1965. P. 575—591; *Sorlin I.* La diffusion et la transmission de la littérature chronographique byzantine en Russie pré-mongole du XI^e au XIII^e siècles. — ТМ. Т. 5. 1973. P. 393—396.

⁵¹ *Wolf K.* Studien zur Sprache des Malalas. München, 1911—1912. Bd. 1—2; *Hunger H.* Die Hochsprachliche... S. 323 ff.

⁵² *Любарский Я. Н.* Хронография Иоанна Малалы. Проблема композиции. — Festschrift für F. von Lilienfeld. Erlangen, 1982. S. 411—430; *его же.* Замечания о структуре «Хронографии» Иоанна Малалы. — Общество и культура на Балканах в Средние века. Калинин. 1985. С. 246—260.

⁵³ *Cameron A.* Agathias. Oxford, 1970.

⁵⁴ *Idem.* Agathias on the early Merovingians. — Annali Scuola Norm. Sup. di Pisa, Ser. 2. Vol. 37. 1968. P. 95—140; *idem.* Agathias on the Sassanians. — Dumbarton Oaks Papers. Vol. 23—24. 1969—1970. P. 69—183; *Gottlieb G.* Die Nachrichten des Agathias aus Myrina über das Christentum der Franken und Alamanen. — Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz. 1969. Bd. 16. S. 149—158.

⁵⁵ *Cameron A. D. E.* The Last Days of the Academy at Athens. — Proceed. Cambridge Philol. Soc., 195. Cambridge, 1969. P. 7—29.

⁵⁶ *Idem.* Herodotus and Thucydides in Agathias. — *Byzantinische Zeitschrift*. Bd. 57. 1964. S. 33—52.

⁵⁷ *Irmischer J.* Zur Weltanschauung des Agathias. — *Wissenschaftl. Zeitschrift d. Fried. Schiller Universitat. Jena*, 1963. S. 47—53; *idem.* Über die Weltanschauung des Agathias. — *Studia Patristica*, IX. Berlin, 1966. S. 63—68.

⁵⁸ *Valdenberg V.* Le idee politiche di Procopio di Gaza e di Menandro Protettore. — *Studi Bizantini e Neoellenici*. Vol. 4. 1935. P. 67—85; *Удальцова З. В.* Мировоззрение византийского историка Менандра Протиктора. — *Старинар*. 1970. Т. 8. С. 377—381.

⁵⁹ *Hunger H.* Die hochsprachliche... S. 311; cf. *Baldwin B.* Menander Protector. — *Dumbarton Oaks Studies*. Vol. 32. 1978. P. 104 sq.

⁶⁰ Свод... С. 321.

⁶¹ *Удальцова З. В.* К вопросу о мировоззрении византийского историка VI в. Евагрия. — *Византийский временник*. Т. 30. 1969. С. 63—72.

⁶² *Winstedt O.* A Note on Cosmas and the Chronicon Paschale. — *Journal of Theol. Studies*. T. 8. 1907. P. 101—103; *Lampros Sp.* Ὁ μέγας хроνογράφος τῆς Κωνσταντινουπόλεως. — *Νέος Ἑλληνομνήμων* T. 14. 1917—1920. Σ. 305—315.

⁶³ *Teofilatto Simocata.* Questioni naturali, ed. L. Massa—Positano. Napoli, 1965.

⁶⁴ *Hunger H.* Proomion. Wien, Graz, Köln, 1964.

⁶⁵ *Haussig H. W.* Theophylaktos' Exkurs, über die skythischen Völker. — *Byzantion*. T. 23. 1953. P. 275—462; cf. *Boodberg J. A.* Theophylactus Simocatta on China. — *Harvard Journal of Asiat. Studies*. Vol. 3. 1938. P. 223—243.

⁶⁶ *Мишулин А. В.* Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. э. — *Вестник древней истории*, 1941, № 1, С. 260.

⁶⁷ *Nissen Th.* Zum Text der Historien des Theophylaktos Simokattes. — *Byzantinisch-Neugriechisches Jahrbuch*. Bd. 17. 1944. S. 23—42.

⁶⁸ *Удальцова З. В.* К вопросу о мировоззрении византийского историка VII в. Феофилакта Симокатты. — *Зборник радова Византолошког института*. Кн. 11. 1968. С. 29—45.

⁶⁹ *Grégoire H.* Sainte Euphémie et l'empereur Maurice. — *Le Muséon*. Vol. 59. 1946. P. 295—302.



ГЛАВА ВТОРАЯ

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

1 ХРОНОГРАФИЯ ФЕОФАН И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Вторая половина VII—VIII вв. — эпоха глубоких экономических, социальных и политических перемен в жизни Византии. В условиях складывания по сути новой, медиевальной Византии, после спада в культурной жизни империи в период так называемых «темных веков», развитие средневековой историографической традиции протекало в условиях острых иконоборческих споров. Наиболее крупным хронистом того времени, запечатлевшим основные противоречия эпохи, был ФЕОФАН ИСПОВЕДНИК (ок. 760—818 гг.), «Хронография» которого охватывает события от Диоклетиана (284 г.) до конца царствования Михаила (813 г.).¹ Творчество Феофана представляет собой значительный этап в развитии исторической литературы Византии не только потому, что ортодокс, сосланный императором-иконоборцем Львом V на о. Самофракию (где вскоре и умер), он описал в изгнании события важного периода византийской истории — эпохи иконоборчества. И даже не потому, что материал «Хронографии» лег в даль-

нейшем в основу произведений последующих византийских хронистов — от Георгия Монаха до Зонары. Творчество Феофана стало этапом в силу утверждения, как показали современные исследования,² нового, по сравнению с ранневизантийской историографией, стиля мышления, оказавшего влияние на средства художественного отображения действительности, формы видения мира. Дальнейшее отступление от античных традиций, сохранявших еще свое решающее значение в ранневизантийский период, знаменовало для Феофана и его современников, например, Иоанна Дамаскина и Феодора Студита, окончательное утверждение в полном смысле слова средневековых норм осмысления и отображения истории.³

Отход от античных и ранневизантийских историографических канонов сказывается в «Хронографии» практически с первых ее строк — со вступления (прооймиона). Если раньше историк, будь то Прокопий, Феофилакт Симокатта или Агафий, начинал свой труд с традиционного утверждения о важности своего произведения, особо подчеркиваемой собственной авторской исключительности, то Феофан нарочито отказывается от каких бы то ни было претензий на авторскую инициативу, самостоятельность, на значимость своего труда. Напротив, декларируется отсутствие необходимых писательских способностей (Феофан написал хронике, следуя своим источникам и «не добавляя ничего от себя»), случайность начинания: умирая, хронист ГЕОРГИЙ СИНКЕЛЛ просил Феофана продолжить его хронику («Когда же настиг Георгия конец жизни и он не смог довести до предела свою цель, ... он оставил нам книгу и дал повод дополнить недостающее»).

Самоуничижение, характерная для средневековья анонимность творчества пронизывают выдвигаемые

Феофаном принципы историографии. Эти декларации воплощаются в форме всего последующего повествования: в «Хронографии» авторские ремарки редки, их личностная авторская окрашенность сведена к минимуму, они абстрактны и, как правило, фактологичны, не оценочны, безличны («из сказанного выше», «упомянутый», «как это было сказано ранее»).

Во всей византийской историографии Феофан представляет собой редкий (особенно если сравнивать с западноевропейской анналистикой) пример введения погодного принципа повествования: в «Хронографии» указывается год, затем следует перечисление (с описанием) происшедших в этот год событий, сцепление которых носит случайный, за единичными исключениями, характер. В один раздел попадают войны, свержения императоров, землетрясения, появление комет и другие астрономические явления, рождение уродцев, церковная борьба, засуха, свадьбы, рассказы о появлении льдин в проливе у Константинополя, сновидения, небесные затмения, охоты, притчи об изменчивости человеческой судьбы, строительство дворцов, церквей, монастырей, бань, цистерн, смерти, посольства, варварские набеги, торжественные молебны, пожары, эпидемии, церковные соборы и догматические споры. События в описании равнозначны, «Хронография» в целом лишена какой бы то ни было сюжетной структуры и композиции. Если Евсевий, Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит и другие ранневизантийские церковные историки, казалось бы, наиболее близкие по духу Феофану, все же определяют и тему, и объем своих сочинений, то Феофан в преамбуле подчеркивает свою непричастность к созданию структуры «Хронографии», ее тематическому разделению (I.4.8—15).

Формализация основных методических принципов историографии античности, определявших еще во многом ранневизантийскую традицию светской историографии, сказывается и в формировании у Феофана основных категорий историзма — времени и пространства, в обрисовке исторических героев произведения.

В противоположность цикличности времени в античной историографии, у Феофана время линейно незамкнуто, как это было в ряде новых историографических жанров ранней Византии. Начало движения времени — в длящемся от сотворения мира прошлом, описанном ранее Георгием Синкеллом, к которому апеллирует Феофан. Сам он ведет повествование с произвольного — в историческом смысле — места, а именно с момента, где обрывается рассказ Георгия. Окончание «Хронографии» также незамкнуто, она как бы случайно прервана, ее можно продолжить дальше (естественны поэтому ее продолжения в византийской историографии последующих веков — см. ниже). Приурочивание тех или иных событий к датам становится внешним, формальным, произвольным моментом. Время у Феофана оказывается не только незамкнутым, но и разорванным на изолированные, формально вычлененные отрезки-годы. Тем самым история воспринимается автором не как процесс, поступательное движение, а как сумма внутренне мало между собой связанных фрагментов-событий. Движущие силы истории подменяются в этом случае симультанным проявлением божественной воли, воплощенной в исторических событиях.

Сопоставление географических представлений Феофана с его источниками позволяет определить неоднозначность и пространственных характеристик хрониста. С одной стороны, мы встречаем у Феофана описания и

арабского мира, и Запада, и столицы, и провинции, и ромеев, и варварского мира, что свидетельствует, казалось бы, об универсализме и индифферентности к конкретно-пространственным характеристикам. Деконкретизация пространства порождает и географические неточности, вернее, пренебрежение географической точностью. С другой стороны, очевидным исключением в формализованном пространственном мире Феофана становится Константинополь. Столице присуща бо-льшая топографическая детализация, нередко настойчиво подчеркиваемая автором («в Юлиановской гавани», «Софийской (гавани)», «поблизости от Черного моря», «на выходе из города» 1. 368. 22—25), и большее место в географических описаниях вообще. Константинополь является словно единственным городом империи, настоящим городом: ведь именно он подразумевается под анонимным термином πόλις. Происходит сознательная подмена империи городом: в тексте, сопоставимом с «Хронографией» (имеется в виду «Бревиарий» Никифора — см. ниже), «персы наносили ущерб государству ромеев извне...» (3. 9—11), у Феофана в аналогичном месте — «персы тиранили ромеев вне города...» (1. 296. 10—11). Такая локальная ограниченность географического кругозора Феофана свидетельствует об усилении символики пространственных представлений у хрониста. Столица, не сопоставимая ни с чем в пространстве, оказывается олицетворением империи, ее символом, причем, как и многие средневековые символы, этот символ формализуется с потерей реальности оценок и ориентаций.

Герои «Хронографии» также наделяются чертами средневековой символики. Для Феофана героем становится император — утвердитель христианства Константин I. В соответствии с этим, другие императоры,

особенно императоры-иконоборцы, практически являются собой образы наделенных пороками антигероев. Если парадигматичность, несопоставимость Константина достигается замалчиванием его недостатков, компрометирующих моментов его биографии (известных из других источников), то с той же последовательностью Феофаном выводится как бы заданная, готовая, нетрансформирующаяся характеристика других героев. Добро — бело, зло — черно. Однозначность и символизм в оценках героев знаменует утверждение средневековых эстетических и идеологических норм в историографии.

Сама парадигма идеального героя у Феофана, как показал И. С. Чичуров, отличается от традиционных античных и ранневизантийских «каталогов» добродетелей императора: на первый план выдвигаются такие черты, как благочестие, божественность происхождения власти, милосердие и смирение, в то время как традиционные достоинства государя — философа на троне, полководца и мудреца, распространенные в ранневизантийской исторической литературе, сходят на нет. Но Константин наделяется и характеристиками, выдержанными в традиционных тонах энкомия: «божественнейший», «великий», «благочестивый», «победоносный», «всеславный» император, «был он мужем блестящим — и мужеством души, и остротой ума, и благовоспитанностью речей, и справедливостью правосудия, и готовностью к благодеянию, и достоинством внешнего облика, мужеством и удачливостью во время войн (в войнах с варварами — великий, в гражданских — непобедимый), в вере тверд и непоколебим».

Отмеченные черты историзма Феофана знаменуют собой определенный мировоззренческий сдвиг в раз-

витии византийской историографии. Отход от авторства в античном смысле слова, творчество на грани анонимности с подчеркиваемым самоуничижением, ослабление творческого самосознания обосновываются представлением о божественном Провидении (*προνοια*), руководящем как автором, так и его героями и событиями, вовлекая их во временной поток. В этих условиях творческая индивидуальность проявляется по-новому, авторская активность сказывается не в декларациях, а в том, как историк работает с источниками, что выбирает, что изменяет и что замалчивает. Именно здесь можно увидеть и оригинальность, и творчество, и даже новаторство Феофана, под пером которого завершается в византийской историографии формирование ортодоксального образа «христианнейшего» императора, ставшего символом для всей византийской литературы. Монах, вышедший из среды богатого провинциального чиновничества, Феофан создает произведение последовательно ортодоксальное, но в условиях возрождения в 815 г. при Льве V иконоклазма оно оказалось оппозиционным официальной политической идеологии. Образ идеального правителя, каким выведен Константин, столь же далек от современного Феофану мира, сколь и нереален. Герой становится символом, идеалом, легендой.

Оригинальность и проявляющаяся вопреки самоуничижительным декларациям авторская активность Феофана хорошо видна при его сравнении с творчеством патриарха Никифора. НИКИФОР (758—828 гг.) был современником Феофана. Он — автор как ряда богословских полемических сочинений и писем, так и двух историографических трудов. Если хорошо известные антииконоборческие трактаты были созданы в пе

риод, когда Никифор стал в 806 г. константинопольским патриархом (правда, затем, с новой переменой власти, последовали ссылка и смерть в изгнании), то основное историческое произведение — «Бревиарий» («Краткая история») — создано еще в то время, между 775 и 787 гг., когда Никифор, выходец из семьи сосланного за иконофильство бывшего императорского нотария, служил в императорской канцелярии царским секретарем. «Бревиарий» (Ἱστορίᾱ σύντομος)⁴ сохранился в двух версиях, отличающихся друг от друга хронологически (лондонский список IX/X в. содержит изложение событий до 713 г., ватиканский XI/XII — до 769 г.), и стилистически, и даже отчасти фактологически.

Сходство «Бревиария» с «Хронографией» Феофана в описаниях одних и тех же событий обычно объясняется опорой на общий источник, сохранившийся во фрагментах Большой хронографии конца VIII в. (Μέγας χρονογράφος) или на хронику Траяна Патрикия (или на другой, неизвестный источник VII—VIII вв.).⁵ Однако за внешним сходством показательны различия у двух хронистов в методах и принципах исторического описания мира. При программной беспристрастности изложения у Феофана его тенденция идеализировать образ Константина, создавая модель образцового василевса, очевидна, как очевидна и его «правка» своих источников, имеющая также идеологическую подоплеку. Никифор в переработке исходного материала не столь избирателен. В еще большей степени, чем у Феофана, выделение тех или иных событий политической истории никак не определяется их значимостью: правление Фоки укладывается в несколько предложений, в то время как Ираклию посвящена добрая треть хроники. Даже церковные и богословские проблемы, которым буду-

щий патриарх посвятит жизнь, не акцентированы у него. «Бревиарий», примыкающий к хронике Феофилакта Симокатты (изложение начинается с 602 г.), хотя и более ограничен тематически и сюжетно, чем «Хронография» Феофана, но не столь тенденциозно сосредоточен на Константинополе (применение к нему термина πόλις не имеет столь почти монопольного характера, как это наблюдается у Феофана), не столь ограничены и его географические рамки, включающие и (выпущенные Феофаном) экскурсии о болгарях, аварах и других иноземных народах. Отсутствуют у Никифора и временные вехи: его сочинение не разделено на какие-либо «главки», не обозначено годами. Но вместе с тем хронист стремится установить связи между отдельными историческими событиями, представить факты в их взаимосвязи, пусть эти связи часто определяются лишь чисто временной близостью. История у Никифора — не распадающаяся на фрагменты мозаика фактов, но, словно книжная миниатюра, картина, в которой соседствуют начало и конец действия, одна сцена переходит в последующую.

В социокультурном отношении интересно, однако, что наибольшее распространение в обществе получил не «Бревиарий», а другое сочинение Никифора — «Летописец вкратце» (Χρονογραφικὸν σύντομον),⁶ представляющее собой лишь сводную хронологическую таблицу, начинающуюся от Адама и перечисляющую ветхозаветных царей, восточных римских императоров, патриархов, пап. Доведенный до 828 г., «Летописец» сохранился в очень большом количестве списков, неоднократно перерабатывался и дополнялся (до 944, 976 гг.), был переведен, как и «Хронография» Феофана, на латынь уже в начале IX в., а в виде славянского перевода во многом определил хронологические системы древнеславянских летописей.⁷

Жанр так называемых «МАЛЫХ ХРОНИК» был одним из самых распространенных в византийской историографии.⁸ Эти хронологические перечни, каталоги императоров и патриархов составлялись в Византии в самые разные периоды ее культурного развития.⁹

Чуть ли не самым популярным памятником византийской исторической традиции — как по количеству переработок и продолжений, так и по числу сохранившихся списков, — стала хроника (Χρονικὸν συντομικόν) ГЕОРГИЯ МОНАХА, или АМАРТОЛА, т. е. «грешника»: встречающийся в ряде списков монашеский эпитет хрониста стал восприниматься как элемент имени. Хроника была завершена около 866/867 или после 871 г., она охватывает события всемирной истории от Адама до 842 г.¹⁰ С этим произведением обычно связывается представление об определенном типе сочинений — монашеской хронике, — как непритязательной и ограниченной, заурядной компиляции. Неопределенность столь ригористичного обобщения и вместе с тем неконкретность самого указанного понятия теперь справедливо доказаны.¹¹ Действительно, в центре внимания автора хроники Георгия стоят церковные и богословские проблемы; именно этим объясняется внимание к правлению Августа, эпоха которого знаменательна для хрониста началом христианской истории, или Тиберия, когда христианство распространилось по всей ойкумене, притом, что деятельность Юлия Цезаря, например, укладывается в десяток строк. Рассказы об апостолах, отцах церкви, вселенских соборах, ересях (например, павликиан) оказываются в центре повествования, составленного простым, ясным языком.

В композиционном отношении хроника представляет собой последовательное изложение событий царствования императоров, хотя хронологические грани-

цы правления монархов оказываются пока лишь внешним формальным разграничителем; анализ структуры произведения еще не позволяет говорить о «монографических» описаниях деяний того или иного василевса, сюжетно и композиционно законченных и замкнутых. Напротив, исторические события разворачиваются подобно движению фигур на средневековой шахматной доске — оно прямолинейно, хоть и направлено в разные стороны (как и события у хрониста — в разные концы ойкумены), рационально и занимает лишь столько времени, сколько нужно для шахматного хода, — так и у хрониста нет времени и места для лирических отступлений, развернутых экфраз, драматических сцен и пространных диалогов.

Самостоятельный интерес представляет последняя часть хроники, освещающая события 813—842 гг. — периода иконоборчества. Георгий предстает ревностным иконопочитателем, политически вполне благонамеренным и ортодоксальным. В изложении событий он использует сочинения Иоанна Малалы, Феофана, Никифора, а также ранневизантийские историко-церковные и богословские произведения. В большинстве списков хроника Георгия Монаха оканчивается в 842 г., хотя можно предположить, что автор намеревался довести повествование вплоть до своего времени, т. е. до правления Михаила III.

События этого времени, однако, нашли свое отражение в хронике, написанной приблизительно спустя сто лет, при императоре Никифоре Фоке (963—969 гг.), уже в совсем иных условиях, и потому неудивительно, что новый памятник обнаруживает совершенно другие тенденции по сравнению со своим предшественником. Это — являющаяся продолжением хроники Георгия так называемая хроника «Продолжателя Георгия»

(Georgius Continuatus), или хроника ЛОГОФЕТА, доведенная до 948 г., т. е. до смерти императора Романа Лакапина (хотя имеются и ее продолжения: в различных вариантах она доводится до 1071, 1081 и даже до 1143 гг.).¹² Сохранившаяся во множестве списков и относимая копиистами разным авторам (Льву Грамматику, Феодосию Мелитинскому, Симеону Магистру), эта хроника, по сути единственная, представляет собой переработку и дополнение анонимной хроники под условным названием 'Ελιτορίη («сокращенное изложение»), восходящей к сочинению Траяна Патрикия и доведенной до царствования Юстиниана II.

Хроника Логофета дошла в различных версиях. Первая идентична заключительной части хроники, известной под именами Симеона Магистра, Феодосия Мелитинского (псевдо-автор, имя которого появилось в истории византийской литературы из-за ошибки в XVI в. Симеона Кавасилы¹³) и Льва Грамматика, хроника с именем которого была продолжена и завершена на 1013 г. Хроника Логофета делится на три части.¹⁴ Первая посвящена Михаилу III и Василию I (842—886 гг.); начало пратекста хроники составлял рассказ о Василии I, исполненный по отношению к нему определенной недоброжелательности и при этом симпатизирующий Фотию, что породило гипотезу о том, что автор этой части происходил из фотианской среды. В качестве источников второй части хроники, посвященной историям Льва VI и Александра (886—913 гг.), могли послужить анналы — следы анналистической традиции прослеживаются в тексте.¹⁵ Собственно Симеону Логофету принадлежит третья, заключительная часть хроники (о малолетстве Константина VII и о Романе Лакапине — 913—948 гг.). Круг интересов Логофета, или Симеона Метафраста,¹⁶ уже совершенно иной, чем

у монаха Георгия. В центре повествования оказывается императорский двор, интриги, взлеты и падения вельмож. Претендуя на видимую объективность, автор на деле далек от беспристрастного изложения исторических событий. Очевидна его промакедонская политическая ориентация: отсюда и наблюдавшиеся уже у Феофана приемы замалчивания пороков героев, например, в рассказах (без осуждений) о первом василевсе Македонской династии Василии I — убийце Варды и Михаила III. Героем хрониста оказывается Роман I Лакапин. Весьма вероятно, что хронист не только был приверженцем Романа, но и что жизненный путь обоих в чем-то пересекался.¹⁷ Первую версию хроники «Продолжателя Георгия» отличает критическое отношение к знатности, в частности, к родам Фок, Дук, Куркуасов.

Напротив, восхвалением рода Фок отмечена другая версия — так называемый «Ватиканский Георгий» (текст известен из Cod. Vat. gr. 153).¹⁸ Хроника составлена, видимо, после воцарения Никифора II Фоки в 963 г. и содержит своего рода генеалогию рода Фок.

Наконец, третья версия описывает события всемирной истории до 963 г. Это — так называемая хроника ПСЕВДО-СИМЕОНА,¹⁹ являющаяся компиляцией различных, по большей части известных, памятников — трудов Феофана, Георгия Монаха, анонимной хроники IX в. о Льве Армянине («Scriptor incertus de Leone Armenio»), сохранившейся в двух вариантах: ²⁰ первой редакции «Продолжателя Георгия» и хроники «Продолжателя Феофана».

Стиль хроники Логофета во многом отличен от скупого и простого изложения монаха Георгия. Повествование строится как цепь сценок — часто занимательных, подчас сказочных или авантюрных, как бы иллюстрирующих исторический процесс. Историогра-

фический метод хрониста можно назвать иллюстративно-сценическим. Вот история сватовства императора Феофила: «Мать Феофила, Евфросина, задумав женить сына, призывает к себе разных девушек красоты несравненной; среди них самыми прелестными были одна, по имени Икасия, и другая, по имени Феодора. Дав сыну золотое яблоко, мать повелела отдать его той, которая ему понравится. Царь Феофил, очарованный красотой Икасии, воскликнул: „Зло произошло от женщины!“ Икасия, немного смутившись, ответила: „Но и все наилучшее исходит от женщины“. Эти слова поразили Феофила в самое сердце, и он отпустил Икасию, яблоко же отдал Феодоре...» (Sym. 642.17—625.4 / Georg. Cont. 789.18—790.10).

Подобные живые сценки, заполняющие историческое пространство хроники, представляют собой диалоги, споры, часто эмоционально окрашенные речи или восклицания, в которых выражаются и существенные мировоззренческие идеи: «Как-то раз, когда какой-то корабль проходил мимо Вукелеона, царь (Феофил) спросил, чей это корабль, и услышав, что он принадлежит царице, воскликнул: „О, горе мне, я становлюсь жалким купцом, если это корабль моей супруги!“ Отослав корабль, он повелел сжечь его вместе со всеми товарами» (Sym. 628.3—7). Показательна негативная оценка торговой деятельности, представление о несовместимости с ней аристократического образа жизни.

Хронист не боится сопоставления противоположных версий и оценок описываемых событий: так, приводятся два различных рассказа о причинах переселения персов в византийские пограничные области при Феофиле. Ему не чуждо и понимание противоречивости человеческого поведения, неоднозначности поступка и замысла: «Притворяясь внешне справед-

ливым, Феофил оскорблял веру и благочестие больше, нежели его предшественники на троне» (Georg. Cont. 793.15—16; Sym. 627.17—19). Художественно-изобразительная ткань хроники, несомненно, ярче лаконичных информаций Георгия Монаха.

Особенно следует сказать о значении хроники Логофета для древнеславянского летописания, так как славянские переводы хроники получили широкое распространение в славянской книжности и пользовались большой популярностью в Болгарии, Сербии, Древней Руси.²¹

2 ИСТОРИОГРАФИЯ ЭПОХИ «ВИЗАНТИЙСКОГО ЭНЦИКЛОПЕДИЗМА»

Вторая половина IX—X вв. — особая веха в историко-культурном развитии Византии. Эта эпоха, неслучайно получившая в научной литературе название периода «византийского энциклопедизма», была отмечена новым подъемом образования, культуры, литературного творчества, духовной жизни. Реорганизуется по инициативе кесаря Варды константинопольский университет (хотя система образования в столице лишь отдаленно походила на университетскую в западно-европейском смысле этого понятия), древние книги переписываются более совершенной и быстрой манерой письма — минускулом, растет число книг в библиотеках, появляется большое количество литературных произведений, филологических комментариев, сборников по прикладным отраслям знания. На период появления императоров Македонской династии, особенно с середины X в., приходится пора наибольшего внешнеполитического могущества Византийской импе-

рии, внутривосточной стабилизации, оживления ремесла и торговли. В развитии культуры это был период, отмеченный гуманистическими тенденциями, часто называемый поэтому «македонским ренессансом».

Большинство памятников исторической мысли X в. так или иначе связано с именем императора КОНСТАНТИНА VII БАГРЯНОРОДНОГО (905—959), номинально ставшего василевсом в 913 г. после смерти своего отца — Льва VI, но период самостоятельного правления которого начался лишь в 945 г. В некоторых случаях император был вдохновителем и инициатором исторического сочинения, в других, вероятно, редактором, наконец, иногда Константин выступает как самостоятельный автор. Фигура просвещенного монарха, каким традиционно представляется Константин, во многом определила характер и особенности так называемого «македонского ренессанса» конца IX—X вв.²² Василевс покровительствовал Магнавской школе (университету), задумал и осуществил ряд проектов энциклопедического характера.

Основной тенденцией культурного развития этой поры стала систематизация — в частности, права («Василики»), лексики языка («Суда»), сельскохозяйственного опыта («Геопоники»), военных знаний (различные «Тактики»), житийной литературы («Менологий» Симеона Метафраста). Наиболее объемным трудом историографического характера, связанным с именем Константина, стали сборники эксцерптов из античных и ранневизантийских памятников, объединенные тематически в 53 раздела (ὑποθήσεις) и представляющие собой не только литературно-антикварный интерес, но и имеющие практическую значимость. До нас дошли лишь немногие эксцерпты — «О посоль-

ствах», «О добродетели и пороке», «О заговорах против василевсов», «О полководческом искусстве».²³ В них использован богатый историографический материал, причем ряд исторических текстов (Евнапий, Приск, Малх, Петр Патрикий, Менандр) стали нам известны лишь благодаря компендиуму Константина Багрянородного. Не только историко-военные или историко-дипломатические проблемы, но и вопросы идеологии и морали решаются с помощью текстов памятников исторической мысли (например, «История» Диона Кассия занимает значительную часть сборника «О добродетели и пороке»).

Такой же характер — отчасти справочно-энциклопедический, отчасти познавательно-дидактический — носят и три основных сочинения Константина Багрянородного, известные под условными названиями «Об управлении государством» («Об управлении империей»), «О церемониях византийского двора» и «О фемах». Каждый из этих трактатов, не являясь непосредственно ни хроникой, ни историографической монографией, основан на историческом материале, отчасти почерпнутом из древних источников, отчасти отражавшем результаты политической практики времен Константина и его предшественников.

Первое произведение,²⁴ написанное в 948—952 гг. и адресованное сыну императора Роману, дает практические наставления по внешнеполитическим вопросам, приводит сведения о «варварских» народах, с которыми Византия имела те или иные контакты, — о печенегах, хазарах, русских, болгарях, «тюрках» — венграх и др.; трактат содержит ряд историко-географических и этнографических экскурсов — об арабах, об Испании, Италии, Далмации, о хорватах и сербах, о Северном Причерноморье и Кавказе. Сочинение имеет

четкую композиционную структуру, и вместе с тем характер частей неодинаков: наряду с дидактико-политическими разделами глав 1—13, непосредственно проблемам современной памятнику дипломатии посвящены главы 43—46. «Об управлении государством» не было произведением для широкой публики: политические рекомендации будущему императору не предназначены для широкого оглашения. Трактат и дошел в единственном списке, изготовленном, вероятно, с оригинала в 1059—81 гг. по заказу кесаря Иоанна Дуки, т. е. в тот период произведение не покидало придворных кругов. На него нет ссылок ни у его современников, ни у историков более позднего времени.

В произведении, обычно называемом «О церемониях византийского двора»,²⁵ досконально расписана режиссура приемов, в частности иностранных посольств — в соответствии с рангом приезжающих. Исторический материал касается правления Льва I, Анастасия I, Юстина I, Льва II и Юстиниана I. Для историков Руси огромное значение имеет подробное описание приема княгини Ольги в Константинополе, главным организатором которого был сам Константин.

В прооймионе автор пишет об исторической значимости своего произведения: «Множество событий забывается и ускользает за большой промежуток времени, и если бы пренебрегали великим и почетным занятием — описанием царских обрядов, если бы это, так сказать, обрекли на вымирание, на царскую власть можно было бы смотреть как на будничное и поистине лишенное красивой внешности явление». Весь рассказ основан на собственных авторских наблюдениях, а события прошлого описываются по литературным произведениям и, возможно, архивным документам. Сам Константин так формулирует принципы своей работы:

«...мы решили все то, что самими нами видено и в наши дни принято, тщательно выбрать из множества источников и представить для удобного обозрения в этом труде тем, кто будет жить после нас; мы покажем забытые обычаи наших отцов, и, подобно цветам, которые мы собираем на лугах, мы прибавим их к царской пышности для ее чистого благолепия» (I.4.2—7 Bonn). В произведении встречаются, однако, и вставки более позднего времени: так, подробный рассказ о государственном перевороте 963 г., выдержанный в благоприятных для Никифора Фоки тонах, мог быть составлен, вероятно, уже после убийства Никифора в 969 г. на основе реконструированного памятника X в. — так называемой «Истории Фок», послужившей источником для ряда исторических сочинений (Продолжатель Феофана, Лев Диакон, Иоанн Скилица и др.)

В большей степени архаически-классификаторскими чертами отмечен трактат «О фемах»,²⁶ где на основании более древних памятников рассматривается происхождение византийских административно-территориальных округов. Наряду с данными, уходящими в далекое прошлое и лишенными актуального значения, в произведении встречаются и сведения, современные эпохе составления трактата.

Для всех памятников этого периода характерно перечисление, каталог как форма повествования. В частности, даже портрет исторического героя складывается из отдельных черт, а экфраза создается инвентарным набором перечисляемых деталей. Эмоциональный образ, одухотворение природы — это станет уже завоеванием следующего, XI в.

Если в рассмотренных энциклопедических компендиумах лишь *ad hoc* привлекаются исторические материалы, то так называемая хроника ПРОДОЛЖАТЕЛЯ

ФЕОФАНА (*Scriptores post Theophanem*)²⁷ — уже собственно памятник исторической мысли, связанный с именем Константина Багрянородного. В начале текста говорится о подготовке этого труда во время правления Константина Багрянородного, по его повелению и даже при его непосредственном участии; временем создания хроники считается период самостоятельного правления Константина (945—959 гг.) — возможно, около 950 г.²⁸ Это произведение формировалось в иных, по сравнению с IX в., условиях, и, хотя непосредственно примыкает к «Хронографии» Феофана (охватывает в целом период с 813 до 961 гг., обрываясь на середине фразы), отличается от предшествующих ему памятников исторической мысли как по идейной направленности, так и по методам освоения исторического материала. Отличны от хроник круга Георгия Монаха и его последователей даже судьба текста Продолжателя Феофана: он дошел фактически в единственной рукописи XI в.²⁹ Сопоставление первоначальной части Продолжателя Феофана (первые четыре книги) с хрониками Георгия Монаха и Логофета показало независимость друг от друга соответствующих разделов первоначального текста первой редакции хроники Логофета и Продолжателя Феофана. Общие места с ним второй и третьей редакций хроники Логофета (история иконоборческого патриарха Иоанна и православного Мефодия) объяснимы общностью источника. Продолжатель Феофана охотно передает различные слухи и поверия (в частности, в книге о Михаиле III). Однако памятник отличает несколько иной по сравнению с предшественниками уровень историзма. Так, можно говорить об элементах исторической критики — это редкость даже для современной Продолжателю литературы: приводятся противоречивые версии одного и того же собы-

тия, различные оценки поведения того или иного героя (сражение при Версиникии 22 июня 813 г., рассказы о Фоме Славянине, о гибели Феофова). Автор пытается раскрыть причинно-следственную связь событий: например, нападение испанских арабов на Крит связывается с перенаселением в самой беднеющей Испании, с недостатком жизненных средств. Он сам заявляет о намерении «вскрывать причины деяний» (167.17—19: ...τὰς αἰτίας τῶν πράξεων). В прооимии хронист определяет и композиционно-тематическую структуру труда, намереваясь следовать монографическому принципу описания «по правлениям» того или иного монарха. Все это серьезно отличается от полумеханического на низывания разнородных источников, свойственного хронике Логофета. Историческое время у Продолжателя Феофана не представляет собой хаотического потока, но организовано по каузальному принципу, хотя и подвержено воздействию случайных факторов (предсказания, божественная воля). Политические симпатии и антипатии автора определены его социальным положением — его принадлежностью к придворному кругу, непосредственной близостью к Константину VII.

Общей целью историографии круга Константина Багрянородного было прославление Македонской династии и, прежде всего, ее основателя — Василия I, что отразилось и на рассматриваемых первых четырех книгах хроники, охватывающих период, предшествующий правлению Василия. В соответствии с общей идеологической тенденцией, его предшественники выведены в маловыгодном свете с тем, чтобы ярче на таком фоне выглядела фигура Василия I. Ему посвящен следующий раздел хроники, хотя, очевидно (83.15; 174.11), он был составлен ранее других частей Продолжателя Феофана. Принадлежностью автора к

придворным кругам Константина VII объясняется и выдвижение на первый план в концепции государственного правления принципа легитимности императорской власти (110.11—12). Характерный придворный аристократизм хрониста сказывается в его социальных антипатиях: несовместимость принадлежности к царскому кругу с занятием торговлей (воспроизведен эпизод с сожжением корабля августы Феодоры), осуждение императора за грубость и невежество (Михаил II) или за связь с низами общества и интерес к вульгарным развлечениям (Михаил III). Различия социальных оценок Продолжателя Феофана и Логофета касаются и придворных кругов. Резко отрицательно характеризуется временщик Варда, в то время как у Логофета осуждается его соперник — Феокист. Героями Продолжателя Феофана становятся полководцы, такие как Петрона (в 4-й книге) или Мануил (в 3-й).

Подобные социальные воззрения хрониста с еще большей силой развиты в «Жизнеописании императора Василия I», составляющего целиком 5-ю книгу Продолжателя Феофана. Если относительно предыдущих книг можно предполагать участие Константина Багрянородного в создании памятника, то здесь его авторство (или авторское руководство) предельно очевидно. «Жизнеописание Василия» представляет собой дальнейший этап развития византийской историографии, отходящей от принципов Феофана. Эта часть хроники является своеобразным светским житием, сочетающим черты античной биографии с агиографической энкомиастикой. «Житие Василия» датируется временем после 943—950 гг., т. е. оно писалось почти одновременно с предыдущими книгами Продолжателя Феофана. В отличие от хроники Псевдо-Симеона, оспаривающей родовитость Василия, «Жи-

тие», в котором благородство происхождения оказывается важнейшим критерием добродетели, поддерживает возникшую в IX в. легенду о происхождении Василия от парфянских царей. Автор «Жизнеописания» отрицательно характеризует чиновников, прежде всего фиска, за взяточничество и стяжательство, осуждает евнухов, временщиков и защищает принцип знатности. Эта часть Продолжателя Феофана в целом отражает интересы придворной знати круга Константина VII Багрянородного. Автор подчеркивает свое право на то или иное распределение материала, сокращая один и детализируя другой рассказ (279.14—280.2); при этом пространность изложения обуславливается развитием исторического времени, которое как бы воссоздается словом в самом произведении. Историческому герою — Василию — противопоставлен антигерой — Михаил, осуждаемый, прежде всего, с этических позиций: отмечается низменность его страстей и привязанностей.

Следующая, третья, часть хроники Продолжателя Феофана, охватывающая период от правления Льва VI до смерти Романа Лакапина (948 г.), близка второй редакции хроники Логофета («Ватиканский Георгий»), и, таким образом, несет черты переработки хроники Логофета с позиций аристократа. Происхождение этой части относится ко времени правления Никифора Фоки. Социальные воззрения ее автора отличает приверженность аристократическим родам Фок, Аргиров, Куркуасов и оппозиционное отношение к Роману I, что отличается от взглядов Симеона Логофета.

Наконец, в четвертой части Продолжателя Феофана описывается самостоятельное царствование Константина VII и начало правления его сына Романа II (повествование обрывается на 961 г.) Его автор, по-видимому, — со-

временник происходящего, можно предполагать его близость монашеству Олимпа.³⁰

Вместе с тем подчеркнутый интерес автора заключительной части к городским епархам, их ведомству, позволяет думать, что этот раздел написал Феодор Дафнопат, императорский секретарь, патрикий, который в 960—963 гг. сам был епархом города.³¹ Ему приписывается и возможное редактирование всей хроники Продолжателя Феофана (работа над последней частью хроники датируется временем между 961 и 968 гг.). Симпатией к аристократическим кланам, прежде всего к роду Фок, отличаются социальные воззрения хрониста. Герой этой части — Константин VII — наделяется качествами и философа, и праведника, ценящего добродетель и деятельный ум, — позиция, отличная от образа идеального василевса, смиренного христианина, созданного Феофаном. Знать оказывается опорой императора, опорой государства. Идеализация образа временщика Иосифа Вринги заставляет предположить, что на сочинение оказали влияние аристократические круги, близкие Вринге, — сторонники провинциальной феодальной знати, недовольные политикой Романа Лакапина.

Подобно хронике Продолжателя Феофана (в ее первой части), четыре «Книги царств» (Βασιλείαι), приписанные в лемме единственного списка XII в. константинопольцу ИОСИФУ ГЕНЕСИЮ, посвящены каждая последовательно четверем византийским императорам — Льву V, Михаилу II, Феофилу и Михаилу III (в последней книге говорится и о Василии I), охватывая, таким образом, период с 813 по 886 гг.³² В прооймионе говорится о покровительстве автору со стороны Константина VII Багрянородного, что ставит

этот труд также в круг промакедонских произведений. Общим с первыми четырьмя книгами Продолжателя Феофана оказывается и круг источников Генесия.

Особенностью памятника является повышенное внимание автора к различного рода мифологическим сюжетам, этимологиям. Отражая интересы широкой публики того времени, эти страницы восходят к античным истокам. Такого рода занимательный материал распределен по четырем биографическим очеркам, рисующим характеры главных героев.³³ Генесию свойственно и риторическое построение фразы, и языковые украшения, однако в целом его язык — обыденный, общеупотребительный, лишь с элементами аттицизмов.

Как и пиетет Генесия к античной образной топики, это можно понять как отражение атмосферы духовной жизни «македонского ренессанса» в кругах, близких к Константину Багрянородному.

Своего рода звеном между «книгами царствований» — монографической историографией X в. — и памятниками мемуарного типа XI—XII вв., наделенными чертами сложной авторской индивидуальности историка, представляющими внутреннюю противоречивость характеров, неоднозначность поступков исторических персонажей, воспроизводящими исторические судьбы как результат взаимодействия различных сил, стала «История» ЛЬВА ДИАКОНА. Она была написана, вероятно, где-то после 992 г., в пору правления Василия II, и охватывала царствование трех его предшественников — Романа II, Никифора II Фоки и Иоанна Цимисхия, т. е. 959—976 гг. (в повествование вставлены и эпизоды первых лет правления Василия II).³⁴ Родившийся около 950 г. в малоазийском селении Калой, Лев приехал учиться в столицу империи, там стал диаконом, и в правление

Василия II состоял в придворном клире. В этом качестве он и сопровождал василевса в окончившийся неудачей болгарский поход 986 г.; участие в политических событиях последней трети X в., видимо, и дало историку право говорить в своем историческом труде об описании событий на основании личного опыта, а не по литературным источникам. Впрочем, убедительно доказано, что Лев Диакон, подобно другим современникам, воспользовался и так называемой «Историей Фок» (особенно в начальных частях повествования), и, возможно, документальными материалами; в целом он ориентировался на Агафия Миринейского.³⁵ Именно подражанию Агафию обязаны и идеи про-оймиона о пользе истории, и даже манера описания отдельных исторических эпизодов.

Впрочем, не опора на историков прошлого и не механическое следование тому или иному письменному источнику формировали идейно-художественную структуру «Истории» Льва Диакона. Сама современность и отношение к ней историка предопределили его политические симпатии и антипатии, как и общефилософские взгляды. В свое время Льва Диакона представляли придворным историографом: поводом для этого служили идеализация образов Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия в «Истории» и дифирамб в честь Василия II, сочиненный «диаконом Львом», отождествлявшимся обычно с историографом.³⁶ Однако позиция автора в «Истории» и в энциклопедии диаметрально противоположны: если в первом случае осуждается Василий при восхвалении Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, то во втором не только превозносится Василий, но и очерняется правление узурпаторов престола, т. е. его предшественников. Таким образом, если даже признать тождество

обоих авторов, что само по себе безусловно, то следует учесть, что оба памятника создавались в разных условиях: если энкомий сочинялся как памятник официальной политической пропаганды в угоду кругу Василия II, то «История» представляет собой произведение неофициального, даже оппозиционного характера, полемически направленное против политики Василия II, вопреки которой идеализируется история недавнего прошлого (неслучайно «История» сохранилась в единственном списке). Изображение Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия в «Истории» Льва Диакона не совпадает с официальными канонами, порочащими правление предшественников Василия II, созданными в кругу его приспешников.³⁷ Эта обстановка, повлиявшая на мировоззренческий настрой Льва Диакона, формировалась в условиях борьбы Василия II с феодализирующейся провинциальной знатью, лидерами которой были малоазийские императоры-полководцы Никифор Фока и Иоанн Цимисхий. Отсюда — оппозиционный по отношению к официальной пропаганде характер «Истории», а с другой стороны, — и общий исторический пессимизм ее автора. Вряд ли, однако, можно оценить эти воззрения как критику современности с позиций человека государственного ума, мечтавшего о восстановлении сильной власти, и противника феодальных смут.

Лев Диякон не предполагает, подобно другим авторам X в., идеального абсолютно положительного героя, которому бы противостоял антигерой (или антигерои). Осуждая Василия II и даже его отца Романа II и мать Феофано, историк не делает их символами порока: их недостатки суть результат влияния дурных людей. С другой стороны, недостатками отмечены даже любимые герои — Никифор Фока и Иоанн Цимисхий. Отно-

шение к Фокам вообще претерпевает изменение по ходу повествования — от идеализации к критике.

Исторический герой у Льва Диакона рисуется не трафаретно: как показал А. П. Каждан, портрет Иоанна Цимисхия строится на контрастах по отношению к Никифору Фоке — белолицый, со светлыми волосами, рыжей бородой и голубыми глазами, он отличался от Никифора — смуглого, черноволосого и темноглазого с густой бородой. Портрет становится средством психологической характеристики: статность Никифора противопоставлена низкорослости Цимисхия. Помимо описания богатырской силы последнего, его воинских доблестей, большое место уделено и его гражданским деяниям — заботам о больных, облегчению фискального гнета в Армении, раздаче имуществ. Вместе с тем Цимисхий взошел на престол, убив Никифора Фоку: это обстоятельство оправдывается историком, однако не замалчивается. Не менее своеобразен и ярок портрет русского князя Святослава: среднего роста, с густыми бровями, голубыми глазами, плоским носом, густые усы при бритых щеках и наголо обритая голова с одной длинной прядью волос, серьга в одном ухе. Пусть перечисление черт не создает сложного духовного образа героя, однако это и не агиографические штампы преисполненных дидактическим символизмом ликов большинства хроник IX—X вв. Изобразительность портретов у Льва Диакона уже далека от нормативных схем Феофана. Однако описание внешности героя — это все еще пока каталог черт, пусть выразительных и ярких.

Традиционным в целом мыслителем остается Лев Диакон и в трактовке основных категорий историзма — времени и пространства, хотя и здесь можно отметить некоторые новые, по сравнению с мирови-

дением хронистов IX в., акценты. Время у Льва организовано: это не стихийный поток, формально отмечаемый внешними мерками (год, индикт), но поэтапное, в соответствии с правлением того или иного василевса, движение, и ход повествования, прерываясь экскурсами в прошлое или предвосхищая будущее, все время возвращается автором к основному руслу (31.13; 70.3). Основной пружиной временного развития событий у Льва Диакона является принцип изменчивости судьбы (например, взлет и падение Иосифа Вринги): нестабильность в «Истории» граничит с эсхатологическим трагизмом восприятия действительности, когда война, гибель, разрушения становятся средоточием мироощущения автора. В центре внимания оказывается известное еще в античности божество судьбы — Тиха, управляющее миром наряду с Божественным Промыслом (τὸ θεῖον — 72.16; 128.5; 129.9, и τὸ κρείττον — 82.25). Но мировоззрение Льва Диакона в целом не выходит за рамки средневековых категорий, как и символизм природных знамений и катастроф (землетрясений, комет, ливней), известный и в античной историографии, оказывается сродни агиографическим чудесам. Лев отрицает естественные причины землетрясений, которые выдвигались «эллинскими» (античными) математиками.

Таким образом, роль античного «субстрата» у Льва Диакона тоже сложна. С одной стороны, тяготение к Агафию Миринейскому, античная этническая терминология, сопоставления исторических героев современности с мифологическими героями древности (Никифор Фока сравнивается с Гераклом, Иоанн Цимисхий — с Тидеем), пристрастие к излюбленным у Фукидида речам главных действующих лиц. С другой стороны, полемическая апелляция к современности,

подчеркивание авторской автопсии, средневековые принципы портретных характеристик, символизм и этическая окрашенность пространства (горы и леса как символ опасности), восхваление христианского аскетизма. Эти антиномии не случайны и не являются результатом механического соединения разнородных по идейной направленности источников. У историографов следующего столетия принципы противоречивости событий, «протеизма» человеческой личности, понимание живой притягательной силы эллинского наследия станут в центр их мировоззренческих позиций.

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ЭПОХИ «ВЕЛИКИХ БИТВ»

Византийская историческая традиция сохранила и прекрасные поэтические памятники жанра. Историческая поэма, посвященная отвоеванию у арабов Крита Никифором Фокой (будущим императором) в 961 г., была создана ФЕОДОСИЕМ ДИАКОНОМ, очевидно (судя по прозаическому Вступлению, где упоминается скончавшийся император,³⁸ т. е. Роман II, правивший до 15 марта 963 г.), в 963 г. Поводом для сочинения поэмы «Взятие Крита» могло послужить триумфальное возвращение победителя с армией в столицу в апреле 963 г. после кампаний в Сирии и Средиземноморье.³⁹ Об авторе мы почти ничего не знаем: скорее всего, он был диаконом при храме св. Софии.

Поэма написана ямбическим триметром — размером, переходным к классическому для византийского стихосложения тоническому двенадцатисложнику. Двенадцатисложником были написаны и Исторические стихотворения, непосредственно предшествовавшие

поэме «Взятие Крита» и описывающие арабскую осаду Константинополя при Льве III (717—718) ФЕОДОСИЯ ГРАММАТИКА (сохранилось лишь 80 стихов),⁴⁰ и анонимный энкомий василевсу Василию I (867—886).⁴¹ Литературным образцом для Феодосия Диакона послужили исторические поэмы, написанные отчасти также ямбическим триметром, — о воинских успехах императора Ираклия (610—641), ГЕОРГИЯ ПИСИДЫ.⁴² Им сочинены три книги «Персидской войны», более пятисот стихов «Аварской войны», посвященной в том числе осаде Константинополя в 626 г., а также три книги «Ираклеи» — эпического повествования о победе императора Ираклия над сасанидами (текст сохранился лишь фрагментарно). Георгию Писиде принадлежит приоритет создания «акроас» — поэтической формы исторической поэмы, заимствованной и Феодосием Диаконом.

В отличие от своих предшественников, опиравшихся на античную энкомиастическую традицию, Феодосий Диакон декларативно противопоставляет свою авторскую позицию исторической мифологии прошлого: ничего не стоят ни подвиги под Илионом Аякса, Ахилла, Одиссея и Диомеда, ни победы Сципиона в Карфагене или Суллы в Афинах, ни походы Цезаря и Помпея по сравнению с победами современного византийского оружия (ст. 1—44). Полемика с авторами древности — Демосфеном, Плутархом, Дионом, Ксенофонтом и др., воспевавшими деяния своих героев, проходит рефреном через поэму Феодосия Диакона (255—263). Достается и Гомеру, тшившемуся возвысить недостойные на самом деле деяния древних: к нему византийский автор взывает, приглашая к прославлению истинно героического — побед Никифора Фоки, славы Романа II (527—543). Полемика с Гоме-

ром — «историком ложного» (948—954) — станет стержнем поэмы. Не только величие Кира, Дария, Креза, Цезаря, Ахилла, Александра Македонского, Филиппа, Папирия Карбона, Суллы и Брута кажутся смехотворными, но даже подвиги Геракла мифичны по сравнению с героикой ромейских василевсов и полководцев (748—764).

В прямую дискуссию о методе историописания Феодосий вступает с Плутархом, скрывавшим, по словам автора, возвышенное и представлявшим дутый пузырь, возвеличившим мелкое и низводящим великое (765—769).

Однако, если отвлечься от деклараций и вчитаться в текст поэмы, то можно увидеть, что топики и образы античности занимают в ней неизмеримо больше места, чем средневековые христианские сюжеты, лишь почти в конце, один-единственный раз, упомянут Христос (946), единичны ветхозаветные образы — Давид (298) и Моисей (611), из новозаветных персонажей назван лишь Петр (67). Этим, пожалуй, и исчерпываются христианские мотивы автора — диакона Великой церкви. Зато актуальны воспоминания о Зевсе, чьей родиной назван Крит (957—958), об Аресе (580, 585—586).

Среди героев постоянно фигурируют Атрид-Агамемнон (673), Ахилл (10, 37, 749), Одиссей (37), Аякс и Диомед (37), Гектор (151), Геракл (575, 757) и Мелеагр (577), в то время как к императору Константину Великому — сакральной персоне византийского православия, автор апеллирует лишь однажды, почти в конце поэмы (997).

Однако античность «актуализируется» Феодосием несколько неожиданным образом. С языческими «псевдо-богами», как например, с «тираном» и «ложным демоном» Зевсом, сближается мусульманский

мир, воплощающий образ врага. Псевдо-пророком предстает Магомет (983). Потомки рабыни Агари (424, 437, 507, 648, 985), исмаилиты (838), амалекитяне (612) — мир, противостоящий ромейской героине у Феодосия.

Арабы названы в поэме дурным племенем, кроваж- жадным народом (837—838), варварами-скифами (592), змеями и драконами (177, 383), но, побежденные ромеями, они бегут, словно зайцы от охотников. Их варварский крик сродни бессвязной речи (349—350), хотя приводимые Феодосием выражения содержат реальную арабскую лексику («меч», «голова», «вождь»). Эти «дети греха» уподобляются дикому племени гор- ных коз, зайцев, трепетных ланей, гонимых зимними холодами в поисках пищи к лугам и деревням, и становящихся волками (791—803).

Византийская идея величия императорской власти проявляется в цветовом видении мира в поэме. Ни- кифор Фока командует войском, щиты которого бле- щут, латы сверкают, копья несут отблеск гибели (для врагов) (49—55). Наряду с золотым, «императорским», цветом виден и пурпур — в огне ромейской армии, в сверкании мечей, в льющейся крови противников (125—126). Свету византийского мира противопостав- лен мрак арабского: арабы удачливы лишь ночью (625 и сл., 647), в то время как сила ромеев — в свете белого дня (655 и сл.).

Интересно, что у Феодосия Диакона само время (κρόνος) сопряжено с цветом: оно убеляет волосы, ко- торые в войне окрашивает в пурпур меч (120—121), свет дня является в белых хитонах (224—227); дневные часы в античных традициях называются «розовоцвет- ными» (187, 444, 653). Время в повествовании внешне течет линейно, скрывая однако итеративность своего

развития: постоянные повторы особенно ясны в сравнении с хронологическим движением действия у Льва Диакона.⁴³ Вместе с тем отчетливо проявляется любовь Феодосия к «точным» цифрам — дань требованиям историописания, как и к каталогизации как методу описаний, призванному усилить читательское впечатление от нагромождения терминов, слов, величин.

И стиль, и манера повествования не остались незамеченными уже следующими поколениями византийских историков. Через полтора столетия Иоанн Киннам в описании победного единоборства императора Мануила I Комнина против целых ратей врагов словно повторит выражение восхищения у Феодосия перед доблестью Романа II (568—570), а сравнение с Моисеем, побеждающим амалекитян (610—612) перекочует на страницы исторического труда Никиты Хониата (15.83—93).

Эпоха «великих битв» Византии последней трети X в. породила не только пространные поэмы, но и стихотворения и эпиграммы «на случай», посвященные тем или иным историческим событиям. Так, **ИОАНН КИРИОТ** (или **ГЕОМЕТР**), монах и священник, автор гимнов, прославляющих Богородицу, св. Пантелеймона, отцов церкви и подвижников-аскетов, прославился стихами военно-политического содержания — на смерть Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, на набег иверов, на мятеж болгар и т. п. Герой стихотворной энкомиастики Иоанна Геометра — Никифор Фока, уподобляется солнцу, он сияет блеском оружия. Его слава освещает всю землю, его подвиги доходят до Крита и Кипра, Тарса и Антиохии.

Однако не только, даже не столько мощь и слава ромейского оружия, составляет лейтмотив исторической лирики Иоанна Геометра, сколько постоянно на-

гнетаемое чувство опасности и страха перед лицом варварского мира — «скифских» племен, «русского всеоружия», устремившегося на Византию.⁴⁴ С. 110/6—7.

НА АПОСТАСИЮ

Потоки крови, небо, вмиг на нас обрушь,
А ты, о воздух, облачись в кромешный мрак,
Земля, разверзнись, подо мною расступись,
Рви на себе деревья, словно волосы,
И покрывалом скорбным лик себе закрой —
Пусть зелень почернеет вся от слез твоих!
Залит Восток весь нынче кровью родственной,
Что было некогда единым — делит меч.
О, горе! Рубит он и семьи, и людей:
Отец убить взалкал своих родных детей,
И руки отчей кровью обагрят сын,
И в ярости направил острый нож
Брат в сердце брата. О, великая печаль!
В ужасных корчах вся земля колеблется:
Дрожит она внутри — снаружи молнии
Испепеляют самый пепел пламенем.
Срывают города зубцы со стен своих
И наземь их бросают с плачем горестным —
Так волосы себе рвут девы в трауре.
Арабам радость — города ромейские
Им подать шлют, они ж за кровь невинную
Подарков ждут, над нами измываются!
Вот сколь несчастий претерпел один Восток —
А кто опишет бедствия на Западе?
Там скифов орды рыщут вдоль и поперек,
Вольготно им, как будто на своей земле.
Иссяк источник силы, чести, мужества,
Под корень срублено то древо, что железную
Давало поросль; и младенцев поколение

Уже рассечено — иные с матерью,
Других же враг похитил стрел насилием.
Повергнуты во прах большие города;
Где люди жили, там сейчас коней пасут.
О, как мне не заплакать, поглядев вокруг!
Горят поля, деревни гибнут в пламени,
Но что с тобой, Византий, город царственный?
Что за судьба тебя гнетет? Скажи мне, Град:
Ты бедами всех превзошел, как раньше всех
Превосходил благополучьем — каждый день
Не ты ль трясешься, рушишь стены, весь дрожишь?
Из тех, кого ты вырастил своим теплом,
Одни уж пали в битвах, посеченные
Мечами собственных родных. О, море бед!
Другие же бросили прекрасные дворцы,
Бегут в ущелья, на пустынных островах
Нашли пристанище, от страха чуть дыша.
И даже претерпев все это (Судия!
Твоим волею!), ни один не растопил
На сердце черствый камень, брата не обнял,
Не уронил слезу, залог спасения.
И даже солнце погрузилось в черный мрак,
Луна поблекла в пелене затмения,
И новая злоеце вдруг звезда зажглась,
Неслыханное чудо — а моим грехам
Все нет конца, предела нет беспечности.
О, Боже-Слово, милость мне свою яви!
Твое всесильно око: прекрати резню,
Раздоры, битвы, мятежи и приступы,
Погони, бегства, грабежи, и суд, и месть.
Я знаю, пожалел ты и Ниневию,
Помилвал народ, погрязший во грехе.
Се стадо, что своей ты кровью выкупил.
«И я — загон твой, Иисусе!» — вопиет

Византий, чтоб о нем ты не забыл
Среди пучины бед — доколь еще страдать?

НА КОМИТА

Комета в небе освещает весь эфир,
А на земле комит сжигает Запад весь.
Звезда, что появлением тьму пророчила,
С восходом солнца блекнет светоносного,
А сей Тифон восстал с победоносного
Никифора закатом — все сжигает он,
Объятый духом мщенья. Где твой властный рык,
О воевода Рима необорного?
Царь по природе, по делам же — победительный,
Чуть приподнявшись из могилы, зарычи, как лев.
Пусть лисы в норы убегут, поджав хвосты!

НА ПОРАЖЕНИЕ РОМЕЕВ В БОЛГАРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Я бы скорее поверил, что солнце
не встанет сегодня;
Мисянин верх одержал над авсонием,
лук — над копьем!
Словно в движенье пришли и леса,
и дикие скалы,
Так что страшился и лев выйти из логова вон.
Ты, Фазтон, что ведешь под землю
свою колесницу,
Цезаря тень повстречав, вот что ему передай:
Истру достался римский венец!
Скорее к оружию!
Мисянин верх одержал над авсонием,
лук — над копьем!
(перевод С. А. Иванова)

Славянская лексика в сатирическом облике попадает и в одну из эпиграмм.⁴⁶

В связи с фигурой Иоанна Геометра встает проблема его идентификации с другим автором подобных сочинений — ИОАННОМ МЕЛИТИНСКИМ.⁴⁷

Сохраненная Скилицей эпитафия византийскому императору Никифору Фоке⁴⁸ неоднократно использовалась в качестве одного из источников для анализа политической ситуации на Балканах в 70-е гг. X в., истории болгарско-русско-византийских отношений,⁴⁹ однако не была включена в корпус византийских источников по истории Болгарии.⁵⁰ Иоанн, митрополит мелитинский, названный у Скилицы автором памятника, со времен В. Г. Васильевского и К. Крумбахера отождествляется с известным поэтом второй половины X в. Иоанном Геометром (Кириотом),⁵¹ что принято и в современных крупных исследованиях.⁵² Основанием такого сближения считается сходство метрики эпитафии со стихами Иоанна Геометра и их стилистическое родство. Однако такое решение вопроса наталкивается на ряд проблем.

Ф. Шайдвайлер, считающий, что в данном случае в авторстве Иоанна Геометра *ist kein Zweifel*, отмечает, тем не менее, что в 969 г., когда был убит Никифор Фока, Иоанн еще не мог быть митрополитом, как это следует из леммы приведенного Скилицей сочинения.⁵³ Вряд ли оправдана в этой связи датировка эпитафии В. Г. Васильевским, усмотревшим в одной из строк стихотворения (1.71) указание на то, что Никифор «давно спит в гробу», и поэтому связавшим сообщение о приближении «русского всеоружия» (Ρωσικῆ πανοπλίας — 1.75), натиске «скифов» (1.76) не с походами Святослава 970—972 гг., а с политической ситуацией второй половины 80-х гг.⁵⁴ В действительность

ти же у Иоанна Мелитинского сказано о Никифоре, что он, который даже на короткое время ночью (... $\nu\upsilon\acute{\xi}\iota$ $\sigma\kappa\acute{\rho}\acute{o}\nu$... — 1.70) не желал заснуть, теперь заснул навечно (... $\nu\tilde{\upsilon}\nu\mu\alpha\kappa\rho\acute{o}\nu$... $\chi\rho\acute{o}\nu\omicron\nu$ — 1.71) в гробу. В такого рода противопоставлениях активной деятельности Никифора при жизни и обреченного покоя после гибели выдержано все начало эпитафии. Ф. Шайдвайлер считает, что Скилица, знавший об Иоанне как мелитинском митрополите, атрибутировал ему этот титул как бы задним числом (Vordatierung), в то время как рукоположение могло состояться лишь лет через двадцать после сочинений эпитафии.⁵⁵ В другом случае исследователем выдвигается гипотеза, что стихотворение не было опубликовано, пока Иоанн не стал мелитинским иерархом.⁵⁶ Но отметим, что и то, и другое объяснение — только предположения общего характера, не более.

Стилистическое и сюжетное сходство эпитафии с сочинениями Иоанна Геометра не вызывало до сих пор сомнений, хотя — следует заметить — и не было доказано на основе досконального текстового анализа. Внешне, действительно, точек соприкосновения немало: начало эпитафии, построенное на антитезах (1.64—71), встречаемых в стихах Кириота (904 ВС; 920 А; 927 А),⁵⁷ перечисления (1.73—74), также являющиеся элементом стиля Иоанна Геометра (912 В; 913 В; 916 А; 931 В — 932 А), сам призыв к Никифору Фоке отозваться из гроба (1.84—86) имеет аналог в сборнике Геометра (920 В); не чуждая Иоанну Геометру тема «варварских» набегов (903 АВ; 919 А; 919 В; 920 АВ; 934 А и др.) встречается и в эпитафии (1.75—76), в ней проходит и характерный для Иоанна Геометра (955 А) мотив зла, исходящего от женщины (1.65; 90).

Однако не все элементы стихотворения, приведенного Скилицей, последовательно согласуются с сюжетами и поэтикой Иоанна Геометра. Если обратиться к самому жанру, то увидим, что для эпитафий Геометра характерно повествование от первого, реже второго, лица (904 BC; 932 AB; 940 AB — 941 A; 948 B — 950 A), в то время как в рассматриваемом случае о покойнике говорится в третьем лице. Сам образ Никифора Фоки в эпитафии предстает, если сравнить с сочинениями Геометра, в неожиданном ракурсе. Основной, практически все время повторяющейся, характеристикой Никифора является его сравнение с солнцем: Никифор — солнце, которое не застилает буря и мрак (926 AB), он сам — свет (903 A), его десница источает золото (941 B). Ничего подобного нет в эпитафии. Наоборот, здесь образ покойного императора сопоставим с Иоанном Цимисхием — прямым антиподом, по Иоанну Геометру, императору Никифору: в эпитафии Иоанну Цимисхию Геометр пишет, что после беспокойных лет жизни император успокоился в гробнице в три локтя (904 BC — 905 A), что сопоставимо со словами эпитафии Никифору (1.70—71).⁵⁸ Фактическая «сниженность» образа Никифора в эпитафии видна и при сравнении с двумя стихотворениями Иоанна Геометра, посвященными Никифору и тематически сходными с эпитафией из «Истории» Скилицы, в которых, однако, отмечаются воздвигнутые Никифором в его жизни памятники с подробным их перечислением — победы на Крите, Кипре, у Тарса, в ассирийской Антиохии, покорение «персов», финикийцев, арабов, «скифов» (927 A; 932 AB). Сама же тема «варварского» мира, обычно подробно разрабатываемая Иоанном Геометром (восстание при Самуиле), с упоминанием «фра-

кийцев» и «скифов» — греков и русских, по В. Г. Васильевскому; поражение ромеев от болгар в Родопах; набеги «иверов» и др. в сочинении мелитинского митрополита укладываются в две строки (1.75—76), хотя является, можно сказать стержнем произведения; приближение «русского всеоружия» и «скифские» набеги побуждают автора обратиться к Никифору Фоке. Эпитафии чужды и свойственны произведениям Иоанна Геометра поэтические рефрены (948 А; 967 В; 972 В — 973 А), аллитерации (856 А сл.), гиперболизованный рисунок стиха (960 АВ; 970 А), античные реминисценции, интерес к славянской лексике.⁵⁹

Метрическое сходство эпитафии со стихотворениями Кириота также не может служить решающим аргументом в пользу идентификации: ведь — *mutatis mutandis* — атрибуция сборника «Рай» ранневизантийскому писателю Нилу, а не Иоанну Геометру, на основе данных метрики,⁶⁰ оказалась несостоятельной.⁶¹

Наконец, следует еще раз обратиться к известной лемме сочинения Иоанна Геометра о яблоке (847—848 А). Титул *πρωτόθρονος* — «первопрестольный» — прежде всего предполагает кесарийскую епархию,⁶² в то время как автор эпитафии Никифору является мелитинским митрополитом. В другом значении *πρωτόθρονος* может обозначать суффрагана отдельной митрополии (известна, в частности, печать X в. первопрестольного митрополита Кастории Иоанна),⁶³ что для мелитинского митрополита также не подходит.

Таким образом, отождествление Иоанна Мелитинского — автора эпитафии Никифору Фоке — с Иоанном Геометром (Кириотом) сталкивается на каждом шагу с нерешенными проблемами. Все гипотетически

постулируемые атрибуции и отождествления уязвимы и требуют доказательств. Для подтверждения выдвинутой идентификации необходимы новые аргументы.

4 К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЗМА ВИЗАНТИЙСКОЙ АГИОГРАФИИ

Современный научный бум в изучении византийской агиографии во многом был предопределен развитием традиции отечественной византистики, обратившейся к историческим свидетельствам житийной литературы.⁶⁴

На первый взгляд, поставленная в заглавии проблема представляется нелепостью. Традиционным можно считать устойчивое представление о принципиальном противопоставлении агиографического и историографического принципов мировидения и литературного творчества.⁶⁵ Агиография обычно идентифицируется со схематизмом, идеализацией, стереотипностью изображения, далекого как он так называемой «правды жизни», так и от свободы авторского «самовыражения».⁶⁶ Кажущийся антиисторизм агиографии проявляется в деконкретизации описываемой обстановки, что приводит к многочисленным спорам о датировках и атрибуциях житий, как, например, в случае с Житием Георгия Амастридского, то относимого Игнатию и датируемого временем его жизни и деятельности, то пересматриваемого в отношении этой датировки и атрибуции.⁶⁷ Временем патриархов Игнатия или Тарасия датировалось и Житие Евдокии,⁶⁸ созданное на самом деле в XIV в.⁶⁹ Условность исторических дефиниций позволяет и автору Жития Стефана Сурожского спу-

тать императора Льва III со Львом V, или, наоборот, не отождествлять благочестивую дочь «царя Керчи» — покровительницу святого — с Ириной — хазарской принцессой, императрицей и женой Константина Копронима.⁷⁰ Подобных примеров множество.

Неопределенность датировки житий вследствие размытости исторической конкретики породила еще одну черту описания исторического героя, считающуюся свойством агиографии, — клишированность набора нормативных «черт» вместо живого исторического портрета.⁷¹

Вместе с тем, по своему смыслу агиографическое повествование направлено на решение исторических задач: агиограф должен дать историческое свидетельство, представить реальные доказательства незаурядности героя, его святости, как в Чудесах св. Димитрия или Житии св. Стефана Сурожского. Таким образом, материалом жития становится цепь исторических примеров.

Характерно, что агиографы любят подчеркивать свое непосредственное участие в описываемых событиях: принцип автопсии, требуемый от историка, соблюдается и в рассматриваемом жанре. Так, Никита претендует на особую точность в описании Жития Филарета, ибо его герой был родным дедом автора, реальным героем, жизни которого автор был непосредственным свидетелем. А Григорий, агиограф Василия Нового, был учеником своего героя.

Во многих случаях Жития и Деяния своим появлением обязаны необходимости «историзации» какой-либо идеи: так, оформление апокрифической легенды об апостоле Андрее было связано с константинопольскими притязаниями на апостольское наследие, что обнаруживается в сравнении с житийной традицией

Климента.⁷² Этим, с одной стороны, объясняется включение в житийное повествование многочисленных исторических сюжетов, причем часто уникальных, как, например, свидетельств о битве между арабами и византийцами в Житии Романа Новомученика, о походе росов на Амастриду в Житии Георгия Амастридского или о венграх и русских (?) (Рос, Гог и Магор) в 941 г. в Житии Василия Нового; с другой же стороны, этим обусловлено включение в произведения чисто исторического жанра — в хроники и истории, иногда почти буквальных текстовых заимствований из агиографических сочинений, как это имеет место, скажем, в заимствованиях Феофана из Жития Филофея Милостивого.

Для описания исторических событий в агиографии характерно внимание к конкретике индивидуально-бытового и событийно-ритуального уровня, отсутствующей подчас в монументально-исторических всемирных хрониках или наполненных описаниями военных походов и придворных интриг мемуарно-историко-агиографических произведений. Таково описание начала иконоборческих смут в Житии Филарета Милостивого у Никиты из Амнии; неслучайно его заимствовал затем и хронист Феофан.

В этом отношении агиография дополняет, уточняет и как бы «гуманизирует», индивидуализирует описание исторических фактов. Так, рассказы о конкурсах красоты в Житии Филарета Милостивого, Житии Феофана или Житии Ирины из монастыря Хрисоваланта имеют важное значение для изучения социально-психологических аспектов культурной истории Византии.⁷³ Вообще для агиографии характерно обилие описаний бытовых деталей, повседневных, индивидуальных черт, вещей, казалось бы, заурядных, но тем

более ценных для историка, стремящегося осмыслить средневековые как бы «изнутри», понять его в категориях, адекватных эпохе.⁷⁴

Показательна точность терминологии Житий: титулы и должности воспроизводятся в Житии Иоанна Готского или в Жизнеописании патриарха Евфимия дословно, а не описательно или фигурально. За шаблонной стереотипией агиографических образов выразительно прорисовываются целые социальные пласты, плохо известные из произведений других жанров, но очень важные для понимания социально-психологической атмосферы византийского общества. Это относится к таким категориям, как юродивые, нищие, отшельники и другие «индивидуалы» и аутсайдеры.⁷⁵

Это касается и многих маргинальных социальных групп. Скажем, такая сфера социальной психологии, как секс, скупо отраженная в хрониках, лучше всего отражена как раз, как это ни парадоксально, именно в житиях святых.⁷⁶ Так, например, Симеон Юродивый в его житии Леонтия Неапольского подвергается женским соблазнам, Андрей Юродивый также становится объектом попыток соращения блудницей, а в Житии Василия Нового в роли искушительницы выступает Мелитина. А в Житии Киприана и Юстины Симеона Метафраста читатель знакомится с обществом мажанджы.

В целом сюжеты «низовой» культуры оказались зафиксированы именно в агиографии, как, например, бранное ругательство, представляющее собой греческую транслитерацию славянского экспрессивного наименования, дошло до нас в греческих Деяниях Давида, Симеона и Георгия,⁷⁷ указав на средневековые языковые контакты на уровне «низовой» лексики уже в IX в.

Итак, историзм агиографии заключается как в событийно-повседневной повествовательности, так и в реальных текстовых заимствованиях и даже в случаях, можно сказать, «жанрового симбиоза». Первое выражается в общности тем, сюжетов, идей агиографии и историографии, примером чего может являться сходство преамбул Хронографии Феофана и Жития Василия Нового. Второе же — в создании своеобразного подвида Житий — светских житий исторических деятелей, не канонизированных церковью и не святыми.⁷⁸ Здесь прежде всего следует назвать Житие патриарха Евфимия и Жизнеописание императора Василия. Собственно говоря, уже составление Игнатием Жития Никифора можно рассматривать в литературном отношении как полу-светскую биографию. Жанровая опора данного вида Житий видится — наряду с церковной традицией и похвальными Жизнеописаниями типа Житий Константина у Евсевия, — в историографических биографиях античных и эллинистических авторов, а также полу-народные легенды-сказания патерикового типа.⁷⁹

Чертой историзма агиографии следует считать и конкретизацию ее социального фона действия: к X—XI вв. наблюдается своего рода милитаризация агиографического героя. Так, например, восхваляется св. Еверкий — полководец, похороненный в наряде стратопедарха.

Итак, вряд ли следует видеть наличие непроницаемого барьера между произведениями агиографии и историографии. Вместе с тем, Жития имеют свою специфику, проявляющуюся в том числе и в развитии основных исторических категорий.

Наиболее своеобразно в агиографии функционирует время. Оно не циклично, как в античных историях

и биографиях, но и не линейно, как в средневековой анналистике и историописании. В Житиях категории времени присущ провиденциализм: предсказания оказываются основной формой выражения святости героя и основной формой проявления времени. Событийная канва воплощает цепь пророчеств, направленных в будущее: временное развитие представляется как откровение (дословно — «апокалипсис»).

Откровению времени свойственны как итеративность (события «новой» истории — как подобие и повторение библейской), так и, одновременно, внезапность. Так, Василий Новый появляется внезапно, чудесно, вдруг, творя затем чудеса. Неожиданно и симультанно преобразование Константина из иудейского мальчика в христианского монаха.

Внезапности проявления времени развития действия соответствует отсутствие прошлого в жизни героя или пренебрежение им. Так, у Василия Нового нет ни родины, ни родословной, ни прошлого. А Филарет Милостивый сам теряет все, отказываясь от состояния, от своего прошлого. Прошрое в агиографии оказывается несущественным, им можно, и даже должно, пренебречь.

Отсутствие прошлого сказывается на установке на принципиальную ксенофилию в агиографии. Герой жития — часто чужак, пришелец, неожиданно появившийся и затем неожиданно исчезающий, как тот же Василий Новый. Юродивый же — принципиально асоциален: он не приемлет ни последователей, ни учеников.⁸⁰ Таковы юродивые «глупцы» типа Андрея и Симеона.

Пространство агиографии населено не только «чужаками», но оно и тератологично: кругом, будь то город или густыня, — существа-искусители.

Предельным выражением тератологизации агиографического пространства можно считать мир сатаны — главного антигероя Жития.⁸¹ Причем это пространство имеет свойство «вовлекать» в себя и окружение святого с целью его испытания: так, дьявол фактически оперирует поступками Феосево, жены Филарета Милостивого.

Апокалиптизму временного развития действия Жития соответствует и характер поведения в пространстве и во времени агиографического героя: это главным образом «проявления», «раскрытие» — святости, глубинности, высшей сущности, как, например, у Филарета Милостивого за бессеребренничеством и житейской непрактичностью и даже, с позиций здравого смысла, глупостью раскрывается высшая мораль, духовность, святость.

Достоверность свидетельств о жизни агиографических героев подчеркивается вкраплением в ткань Жития топографических деталей, точных указаний на место действия с описанием деталей, как, например, в Житии Иоанна Готского. Таковы же и константинопольские реалии в Житии Василия Нового.

Итак, историзм агиографии проявляется косвенно, в глубинном, подспудном смысле происходящего, что соответствует социально-психологическим и историческим условностям средневековья. Историзм агиографии тем самым представляется по преимуществу *апокалиптическим историзмом*.

5 МИХАИЛ ПСЕЛЛ
И ЕГО СОВРЕМЕННОСТИ

«Переходной эпохой» предстает в истории византийской культуры XI век. В первые два десятилетия, в конце правления императора Василия II Болгаробойцы, империя представляет собой отлаженный, централизованный политический организм с сильной армией, подавленной оппозицией, стабильной экономикой. Она простирается от Подунавья до Южной Италии, от Малой Азии до Кавказа и Междуречья. В конце же столетия пределы государства сократились, внешнеполитическая ситуация стала слабой, что вылилось в катастрофическое поражение византийской армии в 1071 г. при Манцикерте, а дворцовые интриги, мятежи, перевороты будоражили внутривизантийскую жизнь страны. В таких условиях протекал переход от эпохи Македонской династии к Византии комниновской.

В этой атмосфере постоянного политического и морального напряжения, взлетов и падений, внешнего блеска и внутренней нестабильности формировалось творчество целой плеяды виднейших византийских историографов.

Первым здесь следует назвать МИХАИЛА ПСЕЛЛА (1018 — после 1096/97 гг.) — одного из самых выдающихся византийских историков, философов, автора риторических произведений, превосходящих по объему все сочиненное в этом жанре в X—XI вв., составителя естественно-научных и филологических трактатов, полемиста и политика, современника четырнадцати императоров и советника многих из них, увлекательного корреспондента, оставившего после себя большое и интересное эпистолярное наследие

(примерно 500 писем). Им создана и «Хронография», ставшая одной из вершин византийской, да и средневековой в целом, историографии и литературы. Собственно, для эпохи Пселла последние понятия были неразделимы.

Сам Пселл оценивал свои занятия историей как нечто второстепенное и побочное, отдавая предпочтение риторике, философии, преподавательской деятельности, политической теории и практике, филологическим, юридическим и природоведческим штудиям, хотя именно в историографии творческая личность писателя нашла наиболее яркое выражение. «Хронография» — не единственное его историческое сочинение. Совсем недавно в византистике было обращено внимание на сохранившуюся в списке XIV в. хронику Пселла, имеющую лемму «Краткая история царей старшего Рима, а также младшего с опущением тех царей, которые не совершили ничего достопамятного, начинающаяся с Ромула».⁸² Сжато охарактеризовав историю республиканского Рима, «Краткая история» доходит до Василия II. Каждая из главок посвящена тому или иному императору с акцентом на характеристике героев, сами же исторические события упоминаются случайно и мало. Адресатом этого сочинения был император Михаил VII (1071—1078), наставником которого был Пселл, так что «Краткая история» составлена, очевидно, при Константине Дуке или уже при самом Михаиле. Анализ показывает общность источника «Краткой истории» и «Хроники» Симеона Логофета; текст последней части «Краткой истории» идентичен соответствующему тексту «Хронографии».⁸³ Новооткрытый памятник еще ждет своего внимательного изучения, однако уже сейчас можно говорить об общем с хронографией методе Пселла, не столько из-

лагавшего события, сколько создававшего образы героев, раскрывая их характеры.⁸⁴

«Хронография» охватывает столетний период византийской истории (976—1075 гг.), как бы продолжая «Историю» Льва Диакона и завершаясь правлением Михаила VII.⁸⁵ Композиционно и по внутренней структуре произведение распадается на две части, первая из которых, делящаяся в свою очередь на семь разделов-«томов» (τόμοι), оканчивается историей Исаака Комнина, вторая, не имеющая подобного внутреннего членения, начинается с Константина Дуки. Начальную часть Пселл стал, по-видимому, писать уже осенью 1057 г., завершив где-то в 1059—63 гг., над заключительной же работал в 1071—75 гг. Рассказ о правлении Василия II (976—1025) и Константина VIII (1025—28) основан на письменных источниках, возможно, общих со Скилицей, далее идет повествование о событиях, непосредственным участником и свидетелем которых был сам Пселл.

И неслучайно образ автора занимает в «Хронографии», можно сказать, центральное место. Пселл создает своего рода автобиографию, вплетенную в повествование об исторических событиях. Родившийся в Константинополе в семье чиновника, Пселл с пяти лет стал посещать школу, прошел необходимый курс наук вплоть до занятий риторикой у знаменитого византийского ритора и педагога Иоанна Мавропода. Затем перед Пселлом открывается путь самостоятельной ученой и литературной деятельности и государственной службы. При Михаиле V (1041—42 гг.) он уже при дворе (императорский секретарь), а при Константине IX Мономахе (1042—55 гг.) кривая его карьеры резко взметнулась ввысь: он становится приближенным ученым-советником императора, — эту роль Пселл отводит се-

бе в «Хронографии» при описании правления почти всех последующих василевсов. Вскоре он уже ипат философ — глава философской школы крупного столичного учебного заведения. Важную роль в ученых занятиях Пселла играл своеобразный научный кружок духовных единомышленников, группировавшийся вокруг будущего константинопольского патриарха Константина Лихуда, в который входил ритор и поэт Иоанн Мавропод и видный юрист и литератор Иоанн Ксифилин. Описывая перипетии своей жизни, Пселл, прежде всего, подчеркивает значение своей деятельности в качестве императорского советника и философа. Ученая и государственная деятельность в этом образе сливаются воедино. Подобный автопортрет историка — новое явление в византийской культуре. Дело не в том, что, возможно, Пселл преувеличивал свою роль в качестве политического деятеля и руководителя императоров. Важно, что авторское самосознание достигает у Пселла, пожалуй, максимальной — для средневековых норм — высоты.

Сообразно с учеными устремлениями Пселла сформировались и особенности его историзма. Признавая, как и полагалось бы средневековому автору, определяющую роль Провидения, Божественного предопределения, византийский интеллектуал стремится в самом ходе исторического повествования вскрыть причинно-следственные связи происходящего, выявить внутренние, подспудные, еще не проявившиеся на поверхности течения, которые приведут к тому или иному повороту событий. «Многим кажется, — рассуждает Пселл, — что окружающие нас народы только теперь впервые вдруг двинулись на нас и неожиданно вторглись в ромейские пределы, но, как мне представляется, дом рушится уже тогда, когда

гниют крепящие его балки. Хотя большинство людей и не распознало начало зла, оно коренится в событиях того времени: из туч, которые тогда собрались, ныне хлынул проливной дождь» (Psell. Chron. I.120). Пристрастие к естественным причинно-следственным критериям в объяснении хода истории проявляется у Пселла не столько в декларациях, сколько в структуре, в организации материала («Возвращаясь к истокам событий, я устанавливаю причины и делаю вывод о следствиях»).

Автор отчетливо осознает свою определяющую роль в повествовании; принцип субъективной организации материала им даже декларируется: «Я умолчал о многих значительных событиях, не распределил материал своей истории по Олимпиадам и не разделил, подобно историку, по временам года, но без затей сообщил о самом важном и о том, что всплыло в моей памяти, когда я писал...» (I.152.19.59). Поэтому повествование Пселла отличается мемуарный характер, а композиционное оформление исторического материала носит не формальный («прикрепленность» к такой-то дате или к такому-то царствованию), а содержательный характер: эпизоды сцеплены по ассоциативной связи вокруг определенной авторской мысли (например, болезнь Михаила IV сопоставляется с болезнью государства). В центре движения истории у византийского эрудита оказывается не столько религиозная идея, сколько личность исторического героя. Исторический процесс и личность героя в «Хронографии» развиваются в единстве: так, взаимосвязаны и взаимообусловлены прогрессирующая болезнь государства и болезнь императора Исаака I Комнина. Интересно, что и движение времени сопряжено с эволюцией характера действующего героя.

В связи с такой универсальной функцией героя в «Хронографии» встает вопрос и о практически впервые встречаемой в византийской историографии психологической обрисовке образа. Человек и его поступки для Пселла не детерминированы простым набором качеств, каталогом которых исчерпывается портрет у предшественников Пселла (да и не только). Проникновение в душу — неперенное условие для писателя в постижении сущности человека (например, о Михаиле V: «Этот человек скрывал, как никто другой, огонь под золой — я имею в виду дурной нрав под маской благомыслия, питал злые намерения и желания, пренебрегал своими благодетелями... Однако все это он умел прятать под притворной маской» (I.70.13 и сл.)) Отсюда — признание неоднозначности, противоречивости, постоянной изменчивости человеческого характера. Пселл сам формирует концепцию «протеизма» человека: «Слегка прервав течение рассказа, остановлюсь сначала на характере и душе этого императора, чтобы, слушая о его поступках, вы не удивлялись и не думали, будто совершал он их случайно и ни с того ни с сего. В жизни этот человек был существом пестрым, с душой многообразной и непостоянной, его речь была не в ладах с сердцем, на уме он имел одно, а на устах другое, и ко многим, ему ненавистным, обращался с дружелюбными речами и клялся торжественно, что сердечно любит их и наслаждается их обществом. Часто вечером сажал он за свой стол и пил из одного кубка с теми, кого уже наутро собирался подвергнуть жестоким наказаниям» (I.90.14 и сл.). Поэтому и характеристики Пселла двойственны, а свойства героев непостоянны, но ограничены во времени и пространстве, определены событиями (например, всесиль-

ный временщик Иоанн Орфанотроф). Таким образом, историографический метод Пселла сформирован в синтезе исторического познания и художественного отражения действительности. Пселл-историограф является и ритором, и театральным режиссером, и психологом. При этом ему не чужд и натурализм — вот как описывается болезнь Романа III: «Я (в то время мне не было и шестнадцати) нередко видел его в таком виде во время процессий — царь мало чем отличался от мертвого: все лицо его было распухшим, цветом не лучше, чем у пролежавшего три дня покойника, он часто дышал и останавливался, не пройдя и несколько шагов, волосы свисали с его головы, как у трупа, редкая прядь в беспорядке спускалась на лоб, колеблясь, видимо, от его дыхания». Описание смерти императора так завершает рассказ о его правлении: «Затем рот его неожиданно широко раскрылся, и оттуда вылилась темная вязкая жидкость, после этого он еще раз или два вздохнул и расстался с жизнью».

Декларации Пселла неоднозначны: в них можно найти как традиционную средневековую топику, идеи нормативности, этикетности, так и индивидуальные характеристики, утверждение принципов самостоятельности творчества художника. Пселловская эстетика совмещает христианский спиритуализм со свойственным гуманистам эстетизмом, театральностью, игрой. Неоднозначен и сам характер произведений: средневековые жанровые каноны сосуществуют в творчестве Пселла с оригинальными художественными открытиями. Так, «Хронография» представляет собой не столько стандартные для византийской историографической традиции той поры фактологические описания, сколько сопоставления образов, вы-

явление характеров вершителей и жертв исторических судеб.

Творчество Пселла неслучайно связывается исследователями с понятием «предгуманизма». Действительно, многие стороны жизнедеятельности константинопольского интеллектуала напоминают стиль работы, общения, мысли гуманистов треченто и кватроченто. Различия в отношениях Пселла со своими корреспондентами, определявшиеся не официальным положением человека, а кругом его духовных запросов, заставляют нас вспомнить, что итальянские мыслители-гуманисты представляли собой также неформальную группу единомышленников (или — в других случаях — антагонистов), объединенных, прежде всего, общей тягой к «трудам в досуге» независимо от должностных обязанностей. Свойственный Пселлу пафос защиты науки, знания был развит в литературном наследии эпохи Возрождения. В противовес приниженности и самоуничижению, утверждаемым средневековой этикой, для Пселла характерно чувство собственного достоинства, высокая степень авторского самосознания, ощущение своего творческого превосходства: «Я хорошо знаю, что многие другие летописцы расскажут о его (Михаиле IV) жизни иначе, чем это делаю я в своем сочинении; но я вращался в гуще событий, получал от близких царю людей сведения, запретные для распространения, и потому являюсь справедливым судьей, если, конечно, мне не ставить в вину то, что я рассказываю о мною самим виденном и слышанном» (I.75—76. 1—9). И представление о времени, измеряемом у Пселла прогрессом в изучении наук⁸⁶ или изменением отношения к ним,⁸⁷ предвосхищает восприятие времени итальянскими гуманистами.

Внешне много общего с Пселлом имел и МИХАИЛ АТТАЛИАТ (1030/35—1085/1100 гг.) Жизнь, проведенная в столице, судейская деятельность (Атталиат выполнял функции судьи ипподрома и вила, воинского судьи), принадлежность к кругам, близким ко двору, связи с синклитом; вместе с тем и Пселл, и Атталиат были «*homines novi*». Творчество Атталиата также охватывало и юридическую литературу, и церковную канонистику, и историографию. Как историографы оба в основном описывали события, очевидцами которых были сами: «История» Михаила Атталиата⁸⁸ охватывает период с 1034 по 1079/80 гг., обрываясь на втором году царствования Никифора III Вотаниата. Атталиат, как и Пселл, стремится, по собственным словам, исследовать «причины» (αἰτίαι) описываемых событий (8.13—15; 103.1 сл.; 5.9 сл.; 194.1—9; 198.1—8); свой труд он также делит на отдельные «книги» — своеобразные монографии о том или ином правителе. Внешние моменты сходства только сильнее подчеркивают различия в содержании их творчества, характере историзма обоих. Пселл сосредоточен на Константинополе, дворцовых интригах, переменчивости судеб правителей и подчиненных; Атталиату интереснее внешнеполитические события на окраинах империи и за ее пределами, особенно в восточных областях — Каппадокии, Киликии, Армении, что, видимо, не случайно, ибо с Атталией в Малой Азии связан патроним историка. Создавая парадигму идеального императора, каковым Атталиату видится Никифор Вотаниат, историк, в отличие от своих предшественников, большое место уделяет знатности и воинской доблести — категориям, индифферентным для Пселла, но показательным для тенденций развития общественной

мысли XI в., связанных с утверждением социальной идеологии военной аристократии. Вообще же воинским вопросам — стратегии, тактике, полководческому искусству и т. п. — в «Истории» уделено много внимания, — обстоятельство тем более интересное, что сам историк не принадлежал к воинскому сословию и не был его идеологом.

Для социальных воззрений Атталиата, исследованных А. П. Кажданом, характерно негативное отношение к чиновникам фиска, к земельным конфискациям; историк прочно стоит на позициях охраны частной собственности, личного имущества, однако его воззрения нельзя оценивать как последовательную продинатскую программу феодальной знати (что скорее будет свойственно Продолжателю Скилицы). Вместе с тем Атталиат с вниманием относится к представителям константинопольской знати, связанной с армией, а также к военной знати иноземного происхождения, хотя он нередко и сдержан в оценках отдельных военачальников, что особенно ярко проявляется при сравнении этих оценок со взглядами Никифора Вриенния. Выделяя различные категории византийского общества, Атталиат первое место отдает синклитикам, предпочитая их «людям рынка» — горожанам и духовенству, среди которого выделяет монашество (270.5—9). Атталиат в духе традиций византийской историографии с пиететом относится к науке, античному культурному наследию, однако в отличие от Пселла, глубоко постигавшего этот мир, Атталиату более свойствен «наивный натурализм»,⁸⁹ проявляющийся в интересе к занятым, небывалым, неожиданным явлениям природы, животного мира. К ним он относится не столько с суеверным страхом, свойственным Льву Диа-

кону, сколько с любопытством наблюдателя. Наряду с восхвалением знатности и знати, Атталиат, как никто из его предшественников и современников, с вниманием относится к массам, прежде всего к городским слоям, которым в «Истории» принадлежит важная функция своего рода коллективного героя. Однако народ не выглядит некоей единой политической силой — воззрение, находившее опору в самой социально-экономической реальности византийской жизни XI в. Как писатель, Атталиат в целом следует традиционному этикету в описании героев: повествование об их достоинствах и недостатках раскрывается в хронологически сменяющих друг друга исторических фактах и завершается «характеристикой» — элогием. Историк довольно свободно пользуется общераспространенной в его время лексикой и терминологией, хотя принципы «мимесиса» — подражания античным историографическим канонам — обнаруживают его тяготение к языковому пуризму.

Другим современником Пселла был ИОАНН СКИЛИЦА, родившийся вскоре после 1040 г. и умерший, вероятно, в первом десятилетии XII в. Выходец из малоазийской семьи, Скилица был магистром, проедром, епархом, имел титулы куропалата и друнгария виглы. Его основное произведение — «Обозрение историй» (Σύνοψις ἱστορίων)⁹⁰ — примыкает к «Хронографии» Феофана, охватывая события с 811 до 1057 гг.⁹¹ Разделяя подобно своим современникам историческое повествование на отдельные книги по «царствам», Скилица, однако, не создает серии «монографий»: членение у него условно и номинально, монарх выполняет функции своеобразного эпонима раздела, связь эпизодов чисто хронологическая без причинно-следственных внутренних связей. Скилица

как бы продолжает анналистическую традицию, формально не следуя ей. Отличие от современников проявляется у хрониста и в роли, отведенной автору: и Атталиат, и в неизмеримо большей степени Пселл подчеркивали свое присутствие, участие в исторических событиях; Скилица же как герой сочинения, напротив, отсутствует в рассказе, но зато он подробно говорит о своих источниках, прежде всего о Георгии Синкелле и Феофане. Перечисляя историков предшествующих периодов, Скилица упрекает тех или других за необъективность или ограниченность в изложении материала. Из этой «источниковедческой» критики вытекают собственные авторские задачи — составить обзорную историю, свободную от наслоений «комментаторов», противоречивых суждений, назначением которой была бы дидактическая цель руководства (ὁδηγός) по историографии. Действительно, Скилица воспользовался различными источниками для описания разных исторических периодов: первая часть «Обозрения истории» перерабатывает соответственные три части хроники Продолжателя Феофана, в отдельных случаях использованы «Книги царств» Генесия; события третьей четверти X в. описаны, вероятно, в соответствии с источником, общим для этой части Скилицы и «Истории» Льва Диакона; история Василия II основана на утраченном сочинении Феодора Севастийского и т. д. Поэтому и многие высказывания и оценки Скилицы восходят к своим источникам, как, например, негативное отношение к Никифору Фоке, ко всему роду Фок, с одной стороны, контрастирует со следованием совсем другому источнику, доброжелательному по отношению к Фокам, например, в рассказе о перевороте 963 г. Видимо, переменной состава источников объ-

ясняется и изменение отношения к клиру по ходу повествования Скилицы: если в рассказе о событиях конца X в. историку свойственны процерковные воззрения,⁹² то после повествования о Василии II или Романе III наблюдается уже антиклерикальная направленность оценок в «Обзрении истории», чего кстати, нет в соответствующих частях у Атталиата.

В ряде рукописей хроника Скилицы доведена до 1079 г. Эту часть (возможно, изначально доведенную до царствования Алексея I Комнина) принято называть хроникой ПРОДОЛЖАТЕЛЯ СКИЛИЦЫ.⁹³ Она представляет собой парафразу соответствующего хронологического периода в «Истории» Атталиата (с использованием также и «Хронографии» Пселла), была завершена, видимо, после 1101 г., и не исключено, что ее составил сам же Иоанн Скилица (или его эпитоматор этой части).⁹⁴ Однако сочинения Атталиата и Продолжателя Скилицы отмечены и некоторыми различиями. Продолжатель восхваляет монашество, в чем более сдержан Атталиат; эпитоматор, напротив, далек от восторга перед светской образованностью (прямая противоположность Пселлу!), чего, пусть в форме общих мест, не лишен Атталиат; уже говорилось об интересе последнего к описанию хозяйственной и политической деятельности городского населения, ремесленников и торговцев, все известия о которых последовательно опускаются в соответствующих местах Продолжателя Скилицы. Его социальная классификация делит «избранных» на архонтов, горожан и клириков.⁹⁵

Хроника Иоанна Скилицы пользовалась популярностью как у его современников, так и у последующего поколения византийских историков: об этом свидетельствует и большое количество списков сочинения, и

использование его в хрониках компиляторов XII в. — Иоанна Зонары, Константина Манасси, Михаила Глики, и существование, видимо, некогда народноязычной парафразы произведения, дошедшей в виде эксцерпта в одном из списков.⁹⁶

Другим свидетельством авторитета Скилицы среди современников и последователей является всемирная хроника, названная, как и у Скилицы, «Обозрением историй» и составленная на рубеже XI/XII вв. известным лишь по этому сочинению **ГЕОРГИЕМ КЕДРИНОМ**.⁹⁷ Его компиляция, охватывающая исторический материал от сотворения мира до правления Исаака Комнина (1057 г.), представляет собой соединение соответствующих частей различных известных хроник. Основываясь в начальной части на хрониках Псевдо-Симеона, Феофана, а также Георгия Монаха, начиная с событий 811 г., Кедрин почти дословно воспроизводит текст Скилицы. Несмотря на некоторые отличия по сравнению со Скилицей, самостоятельного значения эта часть не имеет. Хронологическая канва повествования выдержана в русле Пасхальной хроники и сочинения Георгия Синкелла. Впрочем, современниками сочинение Кедрина обойдено вниманием не было: к нему обращался при составлении своей компиляции в XII в. Михаил Глика.

Однако ведущей тенденцией рассматриваемой переходной эпохи было постепенное угасание жанра монументальной всемирно-исторической хроники и становление и утверждение мемуарных сочинений, лично окрашенных произведений с творческой организацией основных принципов средневекового историзма.

6 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЭПОХИ КОМНИНОВ

В период более чем столетнего правления династии Комнинов Византия вновь пережила подъем культуры, образования, искусства и литературы. Приход к власти новой военной аристократии, общая экономическая стабилизация, укрепление внешнеполитического могущества, расширение и углубление контактов с Западной Европой — таковы социально-экономические и политические условия, в которых формировалась культура так называемого «комниновского возрождения». Речь здесь идет не только о возрождении интереса к античному наследию; о его глубинном усвоении, отличном от систематизаторско-энциклопедического описания памятников древности во времена Фотия и Константина Багрянородного; теперь языковой и образный классицизм становится нормой литературного творчества, языческая античность и христианское средневековье соединяются в мозаике литературных образов, сюжетных аллюзий, стиховых цитат, цитат. И это не мешает развитию и народноязычной литературы: именно в XII в., часто в той же среде пуристов, создаются литературные памятники на народном разговорном языке (продромовские стихи, народноязычные метафразы Анны Комниной, Никиты Хониата).

В этот период общего культурного подъема очагами образованности являются как крупные центры науки и образования, например, патриаршая школа или школа при храме Апостолов, так и, особенно, своеобразные литературно-философские кружки Анны Комниной и севастократорисы Ирины Дуkeny, где свобода общения, тематика бесед-дискуссий, характер личных от-

ношений собеседников во многом напоминает форму общения итальянских гуманистов эпохи Возрождения.

Видным произведением так называемого «комниновского ренессанса» неслучайно считается исторический труд активного участника политической жизни Византии конца X—начала XII в. НИКИФОРА ВРИЕННИЯ (ок. 1080 — ок. 1138 гг.). Выходец из аристократической семьи Вриенниев, игравшей, начиная с середины XI в., видную роль в политической жизни Византии, внук (или сын?) узурпатора Никифора Вриенния-старшего, муж багрянородной принцессы Анны Комниной, побуждаемый ею и ее матерью Ириной Дукеной к захвату трона после смерти тестя императора Алексея I Комнина в обход наследника Иоанна II, Никифор предпочел остаться в стороне от этой авантюры и описал события одного десятилетия (с 1070 по 1079 гг.), назвав свой труд «Историческим материалом» (*Ἱστορίαις*).⁹⁸ Вриенний не претендует на составление какого бы то ни было монументального историографического описания; говоря о задаче написать историю правления Алексея Комнина, он подчеркивает: «Я же взялся за это описание из желания лишь положить начало для тех, кто захочет описать его деяния. Поэтому пусть сочинение мое будет только материалом для исторического повествования» (Вгу. 73.8—11). Его исторические записки были окончены, видимо, уже при Иоанне II Комнине, т. е. после 1118 г.; имеющийся текст был опубликован по единственной известной, но ныне утраченной рукописи.

В центре интересов историка-аристократа — судьба выдвинувшихся в тот период на исторической арене и связанных между собой фамилий — Комнинов, Дук, Вриенниев. Сами исторические записки, судя по сло-

вам автора, составлены по побуждению Ирины Дуке-ны, мечтавшей оставить литературный памятник своему мужу — императору Алексею I Комнину. Рассказ о деде Алексея — Мануиле Комнине, о правлении Исаака Комнина и Константина X Дуки оказывается своего рода предысторией к семейной хронике Комнинов — Дук—Вриенниев. Тенденциозность, связанная с основной стержневой линией произведения, сказывается в переработке историком материала, почерпнутого из сочинений Пселла, Скилицы и Атталиата. Значительное место в известиях Вриенния занимают семейные предания, устные рассказы очевидцев, собственные воспоминания и наблюдения.

Особенностью структуры исторических записок является их построение не столько по хронологическому (временная последовательность событий не всегда выдержана четко), сколько по географическому принципу: сначала действие разворачивается на востоке империи, затем повествование переносится на запад, наконец, возвращается в Анатолию. Географо-топографический принцип охвата материала связан с преобладанием истории военных походов, описанных детально и живо. Социальная позиция автора хорошо проявляется в характеристиках главных персонажей, в которых в первую очередь восхваляются аристократические добродетели — благородство происхождения, энергия, ум, достоинство, героизм. Характерны в этом отношении два эпизода из рассказа о юных годах Алексея Комнина. В первом случае, оставшись один после неудачного боя и спасаясь бегством, юноша Алексей, тем не менее, не снимает лат, что было бы проявлением неблагородного малодушия: «Ведь он сам рассказал, что слышал, как отец его смеялся над кем-то, сбросившим доспехи; вот потому-то Алек-

сей и шел в латах» (153.23—25). В другом случае, уже добравшись до убежища и попав в заботливые руки хозяев, Алексей отказывается от принесенного ему зеркала: «Они принесли ему одежды, подобающие такому мужу, и старательно заботились о теле юноши, так что даже, согласно своему обычаю, принесли ему зеркало, чтобы он взглянул на себя. Увидев зеркало, Алексей усмехнулся, а принеший недоумевал — почему. Алексей же сказал, что негоже мужчинам, да еще воинам, смотреться в зеркало. Этим пристало заниматься только женщинам, у которых одна забота — нравиться своим мужьям. А мужчину-воина красит оружие и простой, суровый образ жизни» (155.6—13). Аристократическая строгость, своего рода классическая сдержанность составляет этический идеал Вриенния.

Известная феодально-аристократическая кастовость наблюдается и в этических категориях, характеризующих героев («...хорошего воина отличает не высокий рост, не телесная сила, не суровый и сильный голос, но душевное благородство и стойкость в перенесении трудностей» (163.25—27). Применительно к идее императорской власти, все эти аристократические атрибуты сконцентрированы в созданном героическом образе Алексея Комнина — красивого, знатного, славного, блестящего. Историком охотно используются традиционные в византийском императорском церемониале славословия: «Так, пока стоял день, воины были тверды и, дивясь храбрости юноши (т. е. Алексея), восхваляли его, простирая к нему с мольбой руки, называли своим спасителем и благодетелем: “Да здравствует юноша, — восклицали они, — наш защитник, кормчий, избавитель, спасший ромейское войско! Да здравствует он, как бы бесплотный, хотя и облеченный во

плоть! Да насладимся мы твоими подвигами, и да пребудешь ты на общее благо нам на многие лета!"» (151.15—20). Героизация и идеализация фамильной политики сказывается и в рассказе о другом герое — Никифоре Вриеннии-старшем.

Характерным для сюжета исторических записок является сосредоточенность автора на военно-политических событиях при практически полном игнорировании, в отличие от Пселла или Анны Комниной, вопросов духовной жизни, истории культуры. Писательскую манеру историка отличает драматизм повествования: исторический процесс представляется своеобразной драмой (δράμα) — слово, часто повторяемое Вриеннием.⁹⁹ Аристократизму социальной позиции историка не противоречит и отточенный классицизм стиля его изложения, в целом ясного и четкого.

Хотя Анна Комнина в предисловии к своему сочинению называет и другие, ныне утраченные, произведения своего мужа, Вриенний остается для нас автором одного исторического труда. Этот труд был продолжен самой АННОЙ КОМНИНОЙ (1083 — ок. 1153 гг.) — старшей дочерью императора Алексея I Комнина и Ирины Дукены, посвятившей свои мемуары одному герою — своему отцу — и назвавшей их в соответствии с этим «Алексиадой» (Ἀλεξιάς).¹⁰⁰ Анна начинает свой рассказ со времени службы четырнадцатилетнего Алексея при Романе IV и завершает его смертью отца в 1118 г. «Алексиада» писалась уже после этого события, когда багрянородная принцесса, потерпев неудачу в попытках возвести на престол Никифора Вриенния, была вынуждена удалиться от политических дел в монастырь, где и провела оставшуюся половину своей жизни. Оппозиционность к правившим после Алексея Иоанну II и Мануилу I с

очевидностью прослеживается в сочинении византийской писательницы: создавая литературный памятник отцу, она недвусмысленно противопоставляет его героический образ недостойным потомкам. Антизападная, антилатинская позиция Анны, критика астрологии — все это было проявлением оппозиционных настроений по отношению к Мануилу, увлекавшемуся астрологией и приблизившему к себе иноземцев.

Структура «Алексиады», характер организации пространства и времени в ней определены центральной ролью главного героя. Уже портрет Алексея в произведении наделяется чертами внутреннего могущества и героизма: «Алексей был не слишком высок, и размах его плеч вполне соответствовал росту. Стоя, он не производил сильного впечатления на окружающих, но когда он, грозно сверкая глазами, сидел на императорском троне, то был подобен молнии: такое всепобеждающее сияние исходило от его лица и от всего тела. Дугой изгибались его черные брови, из-под которых глаза глядели грозно и вместе с тем кротко. Блеск его глаз, сияние лица, благородная линия щек, на которые набегал румянец, одновременно пугали и ободряли людей. Широкие плечи, крепкие руки, выпуклая грудь — весь его героический облик вселял в большинство людей восторг и изумление. В этом муже сочетались красота, изящество, достоинство и непревзойденное величие. Если же он вступал в беседу, то казалось, что его устами говорит пламенный оратор Демосфен. Поток доводов он увлекал слух и душу, был великолепен и необорим в речах так же, как и в бою, одинаково умел метать копье и очаровывать слушателей» (I.110.2—111.17). Здесь хорошо видны особенности писательской манеры Анны. С одной стороны, создаваемые ею портреты далеки от агиографи-

ческих шаблонов монументальной историографии IX—X вв. с каталогами добродетелей или пороков, неизменной заданностью и однозначностью черт героев. Напротив, Анна отталкивается от обманчивости первого поверхностного впечатления от внешности императора, переходя затем к раскрытию внутренней силы героического характера, не соответствовавшей ординарной наружности Алексея. С другой стороны, в отличие от Пселла или Никиты Хониата, портрет у Анны статичен, он не подвержен неуловимой изменчивости и переживаниям страстей и противоречивых порывов, — тому, что отличает образы Пселла и Хониата.

И вместе с тем, в обрисовке героя в «Алексиаде» ощущается небывалый пафос движения и эмоционального напряжения. Только это движение перенесено с объекта описания — героя (как у Пселла) — на его субъект — рассказчика и, тем самым, читателя или слушателя (ведь византийские авторы ориентировались на громкое чтение, чем и объясняется их тяга к описанию звуковых эффектов, к риторической лексике). Анна не столько дает описание героя, сколько передает впечатление, производимое его образом на других: «Приятно было смотреть на Ирину и слушать ее речи, и поистине нельзя было насытить слух звучанием ее голоса, а взор — ее видом» (I.111.26—28); или: «Голубые глаза Ирины смотрели с приятностью и вместе с тем грозно, приятностью и красотой они привлекали взоры смотрящих, а таившаяся в них угроза заставляла закрыть глаза, и тот, кто взирал на Ирину, не мог ни отвернуться, ни продолжать смотреть на нее» (I.112.3—7).

«Она могла одним своим взглядом смирить дерзость мужей и вдохнуть мужество в людей, охваченных страхом. Уста ее большей частью были сомк-

нуты, и, молчащая, она поистине казалась одухотворенной статуей красоты, живым изваянием гармонии» (I.112.15—19).

Для понимания византийского эстетического идеала показательным это прямо выраженное Анной превознесение воплощенной статуарности, внушающей эмоциональное настроение позы. Писательница сама охотно использует сравнение человека с произведениями скульптуры и мелкой пластики, столь прекрасной во всей истории византийского искусства: «Во время же речи ее рука, двигаясь в такт словам, обнажилась до локтя, и казалось, что ее пальцы и руки неким мастером выточены из слоновой кости» (I.112.19—22).

Героико-эпический образ Алексея Комнина противопоставлен другим персонажам исторической драмы. Норманнские полководцы Роберт Гвискар, Боэмунд, Танкред обрисованы по контрасту с императором. Герой Анны наделен помимо традиционных черт умом, смелостью, доблестью, он характеризуется в эпических словесных формулах гомеровской лексики. Идеализация его не мешает Анне подчеркивать, что она сочиняет не энкомий, но излагает правдивую историю, — впрочем, это традиционное заверение византийских историографов всех поколений и направлений. Сдержанная умеренность Алексея отличает его от бахвалов и стремящихся к крайностям противников. История правления Алексея I как бы вычленяется Анной из временного потока: историческое время в «Алексиаде» субъективно организовано вокруг героя повествования.

Сама писательница выражает себя, прежде всего, в глубоко эмоциональном отношении к передаваемым сообщениям — она плачет, изнемогает от усталости, сочувствует: «Дойдя до этого места, я почувствовала, как черная ночь обволакивает мою душу, а мои глаза

наполняются потоками слез»; «Дойдя до этого места своей истории, водя свое перо в час, когда зажигаются светильники, и почти засыпая над своим писанием, я чувствую, как нить повествования ускользает от меня» (III.109.6—9). Заинтересованное, личностно окрашенное отношение автора к своему труду подчеркивается вплетаемыми в ткань произведения лирическими отступлениями, служа как более полному раскрытию сюжета, так и автохарактеристике самой писательницы, ее интересов и помыслов: «Ныне... изучение возвышенных предметов — сочинений поэтов, историков и той мудрости, которую из этих сочинений можно извлечь, — люди не считают даже второстепенным занятием. Главным занятием стали теперь шашки и другие нечестивые игры. Я говорю об этом, ибо огорчена полным пренебрежением к общему образованию. Это терзает мою душу, потому что я сама провела много времени в подобного рода занятиях. Завершив свое начальное образование, я перешла к риторике, занялась философией, обратилась наряду с этими науками к поэтам и историкам и благодаря им сгладила шероховатости своего стиля; затем, овладев риторикой, я осудила сложные сплетения запутанной схедаграфии. Этот рассказ — не отступление, он нужен для связности повествования» (III.218.14—27). В свое время Пселл писал об утилизации, прагматическом упрощении гуманитарной образованности; Анна через несколько десятилетий подхватывает и развивает его мысль.

Во многих смыслах Анна Комнина — явление уникальное в византийской историографии и истории литературы. Классическое образование, проявляющееся в стиле и языке (аттикизм) писательницы, в следовании традициям древней историографии, в умелом и частом цитировании классических авторов, активная позиция

женщины-политика, черпавшей свои сведения «из первых рук», находившейся в центре придворной политики, редкое писательское мастерство ставят произведение Анны в число выдающихся памятников византийской исторической мысли.

Как и за Анной, за ИОАННОМ КИННАМОМ (после 1143 — нач. XIII в.) в византиноведении прочно укрепилась слава надежного, достоверного историографа XII в., описавшего в своем историческом труде¹⁰¹ современные его жизни события. Социально окрашенные оценки Киннама, с некоторым пренебрежительным оттенком характеризующего персонажей низкого происхождения (19.14; 228.17; 296.24—297.1; 221.9 сл.), и, наоборот, восхваляющего благородство происхождения (274.9 сл.), позволяют видеть в нем выходца из знатной семьи.¹⁰² В леммах «Истории» и его другого, риторического, сочинения¹⁰³ Киннам именуется «императорским грамматиком» (3.7), т. е. он исполнял секретарские обязанности при императорском дворе. Вероятно, в этой должности историк и сопровождал василевса Мануила I Комнина в ряде известных военных походов на Балканах в 60-е гг. Основываясь на многочисленных описаниях Киннамом военных сюжетов, исследователи считали, что историк получил военное образование, состоял в военной администрации или просто был военным.¹⁰⁴ Действительно, военная тематика занимает большое место в тексте сочинения, однако обилие военных сюжетов в «Истории» само по себе не обязательно должно свидетельствовать о социальной принадлежности писателя к военному сословию. Фигура гражданского чиновника, даже монаха, дающего советы императору в вопросах военного искусства, характерна для византийской куль-

туры. Фамилия Киннамов больше связана с социальными кругами столичной бюрократии.

Помимо вопросов боевой тактики, вооружения, хода различных кампаний, Киннама интересовали, как это он и сам подчеркивает и о чем свидетельствуют современники (например, Никита Хониат¹⁰⁵), и философские диспуты. С императором Мануилом писатель многократно беседовал об Аристотеле (290.21—291.7); в «Истории» (251.7—256.14) отражены и теологические споры 1166 г.¹⁰⁶

Киннам работал над историческим сочинением в основном, по-видимому, в период между сентябрем 1180 и апрелем 1182 гг. Этим вызван, возможно, и довольно нейтральный тон рассказа об императоре Андронике Комнине, который, хоть и представлен соперником Мануила, но не изображен поверженным тираном, как это будет у Никиты Хониата.

Открывает исторический труд Киннама «краткий обзор» (Ἐπίτομή) царствования Иоанна II Комнина, занимающий менее одной десятой объема всего произведения. Основное же его содержание уже в леммах обозначено как «рассказ», «повествование» (ᾠφήγησις) о свершениях Мануила I Комнина (текст, дошедший в рукописи XIII в., обрывается на изложении событий накануне знаменитой битвы при Мириокефале в 1176 г., в которой византийцы потерпели жестокое поражение от сельджуков). Цель и объем своего труда Киннам определяет в прооймионе, утверждая свое исключительное право на предмет описания: «О делах Иоанна я расскажу кратко, только в главных чертах, потому что в его время, повторяю, я еще не родился. Что же касается деяний (царствовавшего) после него Мануила, то не знаю, может ли кто лучше меня исследовать их, потому что мне, даже прежде, чем я

достиг юношеского возраста, довелось участвовать во многих его походах на обоих материках» (5.4—9). Итак, историк предпочитает собственный опыт книжному знанию; при этом в историографии видит он задачу «исследовать» жизнь героя, т. е. задачу рационального постижения человеческих поступков.

Повествование Киннама в целом далеко от совершенно четкой и однозначной системы. Как правило, оно развивается в последовательной хронологической череде эпизодов; отсюда — стремительная смена географических областей и неуместные, на первый взгляд, вкрапления в общий сюжет фрагментов, например, церковной истории. Нередко при этом необходимость характеристики предпосылок тех или иных событий, тенденция Киннама развивать сюжет по ассоциативной связи высказываемых идей приводят к калейдоскопическому движению и изменению ситуаций. Киннам не боится вставных экскурсов. Переходы от эпизода к эпизоду зиждятся либо на принципе хронологической последовательности, либо на формальной связи (124.8—14; 141.1; 151.19—21).

Императорский секретарь Иоанн Киннам выступает, прежде всего, апологетом Мануила I Комнина, образ которого стоит в центре всей книги. Он — фигура исключительная, равного антигероя ему нет. Напротив, Анна Комнина строит свой сюжет на последовательном контрастирующем противопоставлении образов Алексея Комнина и «коллективного» антигероя — Роберта Гвискара, Бозмунда, Танкреда; у Никиты Хониата по выразительности описания с Мануилом «спорит» Андроник Комнин.

Повествование Киннама изобилует славословиями в адрес Мануила Комнина. Любое из качеств василевса — его лихая доблесть в битвах, его способность

угадывать замыслы противника, умение ездить верхом, врачебное искусство и интеллектуальные способности — все приводит Киннама в состояние удивления и восторга. Даже его недостатки оборачиваются своеобразными достоинствами. Во многие из рассказов о достижениях Мануила поверить невозможно (подобно эпическим героям, император вступает в единоборство с целыми ратями, неизменно побеждая); но историк, ссылаясь на собственный опыт очевидца, настаивает на истинности описываемых событий.

Социально-политическим воззрениям Киннама свойствен имперский универсализм. Взгляды придворного секретаря проникнуты уверенностью в том, что Ромейская империя — единственное образцовое государство. Отсюда проистекает и резко отрицательное отношение к крестоносцам (чуждое Никите Хониату) как к «варварам». Отсюда — и одобрение экспансионизма василевсов, в частности, итальянской политики Мануила.

Киннама можно считать идеологом политики Мануила Комнина. Не только общеполитическая ситуация, но даже социально-психологическая атмосфера двора Мануила отражена Киннамом: важную роль в исторических прогнозах, судьбах и перипетиях историк отводит снам, чудесным предзнаменованиям, предсказаниям — и это при рационалистической суховатости автора-аналитика! Киннам разделяет увлечения и пристрастия к оккультизму самого Мануила и его непосредственного окружения. Однако нельзя сказать, по мысли А. П. Каждана, что утверждение комниновской идеологии проводится историком с феодальных позиций: у него мы не найдем ни прославления родовитости клана, ни культа феодальной чести. Правда, Киннам охотно пишет о рыцарственных ритуалах, заимствованных с Запада, — дань атмосфере двора Ма-

нуила: «А император, подстрекаемый юношеским жаром, по случаю недавнего вступления в брак, желал, как это принято, ознаменовать это каким-нибудь подвигом в сражении; ведь для латинянина, недавно введшего в дом жену, не показать своего мужества считалось немалым стыдом» (47.6—10). Западная рыцарственность оказывается важным элементом поведенческого этикета героев у Киннама, даже при общей латинофобии историка. Киннам возвращается мыслью к величию империи времен Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия.

Пселл и Атталиат, Никифор Вриенний и Анна — все это представители высшей знати, однако, как было показано, различных ее кругов. И каждый из них, прямо или косвенно, подвергается в XII в. критике со стороны другого представителя светской столичной аристократии, выдающегося канониста, агиографа, комментатора и, наконец, историка — ИОАННА ЗОНАРЫ (кон. XI в. — после 1160 г.) Чиновник императорской канцелярии, протасикрит, друнгарий виглы, Зонара с воцарением Алексея Комнина удалился (вынужденно?) в монастырь и там «по побуждению друзей» составил всемирную «Краткую историю» (*Ἐπιτομή ἱστορίων*),¹⁰⁷ начинающуюся с сотворения мира и доведенную до правления Иоанна II Комнина (1118 г.). Исходя из своих историографических принципов, Зонара критикует авторов, сочиняющих для своих героев пространные речи, диалоги, письма, что не приносит никакой пользы читателю: под критикуемыми авторами можно понимать Вриенния и Анну.

Исторический труд Зонары — памятник компилятивный, основанный на переработке большого количества источников и лишь в заключительных страницах (об Алексее I) являющийся самостоятельным со-

чинением. Однако использование текстов предшественников у Зонары не является механической адаптацией, но носит активный, даже тенденциозный характер: дополнения, вставки, смещение акцентов характерны для историографической манеры хрониста. Изложение событий XI в. восходит преимущественно к Скилице, Пселлу, Атталиату. Однако в отличие от Атталиата, Зонара не завершает свой труд энкомием Алексею I Комнину: напротив, император критикуется за введение новшеств, за самоуправство, за раздачу средств родственникам и близким, за расточительство. Критика по адресу Алексея Комнина распространяется ретроспективно и на предшественников Алексея (Михаила IV, Константина VIII), осуждаемых за покровительство «варварам», за засилие императорской родни. Будучи выходцем из среды гражданских сановников, Зонара сдержан в отношении военной знати, выступает против произвола стратиотов. Следуя в целом за Скилицей в изображении Василия II, хронист XII в. усиливает негативную характеристику василевса, осуждаемого также за самоуправство, за пренебрежение советниками, наделенными благородством происхождения и образованностью — чертами, важнейшими в системе человеческих ценностей Зонары. С этих позиций Зонарой развенчивается распространенная в X в. версия о происхождении Василия I от Аршакидов: историк настаивает на незнатном происхождении василевса. Критикуя того или иного правителя, он выступает идеологом столичных синклитиков, резко осуждая те или иные формы притеснения синклита — процесса, начавшегося в XI в. с выдвижением на передовые позиции политиков комниновского клана. С другой стороны, Зонара с презрением относится к массам, городской толпе, «черни».

В целом мировоззрение Зонары вполне ортодоксально, в характеристиках он избегает крайних оценок; повторяя вслед за Продолжателем Скилицы критику Пселла, скрыто отрицая историографические принципы Вриенния и Анны, расходясь в оценках и исходных позициях с Атталиатом, Зонара сам стремился учесть интересы «читателя». Во всяком случае, «История» Зонары стала чуть ли не самым популярным историческим памятником XII в.: до нас дошло более четырех десятков списков сочинения, известны ранние славянские переводы хроники. Наконец, ее использовали уже младшие современники канониста и историка — Константин Манасси и Михаил Глика.

В ряду рассмотренных исторических произведений Всемирная хроника (Χρονική σύνολις) родившегося ок. 1130 г. в Константинополе и умершего в 1187 г. митрополитом Навпакта КОНСТАНТИНА МАНАССИ является по-своему уникальным памятником.¹⁰⁸ Это — историческое повествование от Адама до 1081 г., составленное в стихах по заказу севастократорисы Ирины — жены Андроника Комнина (брата императора Мануила I). 6733 стиха пятнадцатисложника были сочинены, очевидно, в середине XII в. (в 1153 г. Ирина умерла), получили широкое распространение, дойдя до нас в большом количестве списков, затем появилась и прозаическая версия хроники, а в XIV в. — ее известная славянская версия. Характер памятника во многом определен многогранностью писательского творчества Константина Манасси: помимо хроники, им написаны многочисленные риторические сочинения — речи, монологи, экфразы, стихотворная биография Оппиана, письма, стихотворное астрономическое сочинение, наконец, известный византийский ро-

ман в стихах — «Об Аристандре и Каллифее».¹⁰⁹ То пика византийского романа — животный мир, растения, стилистика романа — с поговорками и морализующими сентенциями, мифологические примеры, — все это находит свое место в историографическом произведении. Соответственна этому и стилистика хроники-поэмы, в которой царствование Комнинов сравнивается с «океаном великих дел, переплыть который не под силу даже силачу Гераклу». Тематика же хроники традиционна, даже тривиальна для сочинений этого жанра, что особенно наглядно проявляется в прозаической версии памятника.

Подобными традиционными мотивами отмечена и «Хроника» (Βίβλος χρονική) МИХАИЛА ГЛИКИ (первая треть XII в. — ок. 1204 г.).¹¹⁰ Императорский секретарь (ὑπομνηστής) при дворе Мануила I, он был известен и рядом других сочинений — риторических и теологических.¹¹¹ Наибольший интерес представляет его стихотворное обращение к василевсу из тюрьмы, куда Михаил Глика попал в 1159 г. за участие в заговоре Феодора Стиппиота: это стихотворение написано на «народном» языке и является тем самым одним из первых памятников димотической литературы.¹¹² Историческое сочинение Михаила Глики, начинающееся с сотворения мира и доходящее до смерти Алексея I Комнина (1118 г.), пользовалось, подобно другим памятникам такого рода, большой популярностью, о чем свидетельствует немалое число сохранившихся списков. Хроника посвящена сыну автора, обращения к которому часты на страницах произведения, и носит дидактический характер, имея целью кратко описать события мировой истории. Однако первая часть сочинения, повествующая о сотворении мира, является наиболее

пространной, занимая более трети всего объема; собственно «хроника», по замечанию автора, начинается с рассказа об изгнании из рая. Повествование изобилует описанием природных явлений, примерами из зоологии, естественно-историческими экскурсами, в чем сказывается влияние Элиана или «Физиолога».

События византийской истории излагаются на основе исторических сочинений Скилицы, Пселла, Зонары, Манасси. Наряду с дословным повторением источников, хронике Михаила Глики отличают и некоторые своеобразные черты: меньше места, по сравнению с Зонарой, отведено военным кампаниям, часто промакедонским предстает изложение истории Михаила III и Василия I. Значительное внимание уделяется церковно-историческим событиям, сенсациям, природным катастрофам. Влияние демократических интересов хрониста сказывается в его тенденции актуализировать традиционную этнонимiku и терминологию, указав современные ему названия народов, городов и государств наряду с античными, принятыми для данного историографического жанра.

Судьба памятников византийской исторической мысли уже в саму византийскую эпоху имела определенную особенность: компилятивные хроники с печатью традиционности, тривиальности получали наибольшее распространение, являясь излюбленным чтением, и дошли в очень большом количестве списков, как например, хроники Логофета, Зонары, Глики; напротив, исторические сочинения, отличающиеся оригинальностью авторской мысли, несущие черты духовной незаурядности их создателя с присущим ему непосредственным, то критическим, то живо эмоциональным восприятием истории прошлого и настоящего, — эти произведения не снискали, видимо, широкой

популярности, дойдя до нас, как правило, в единственном списке.

7 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ И РИТОРИКА ЭПОХИ КОМНИНОВ

Эпоха дальних и ближних военных походов комниновской армии, подобно македонскому периоду, порождала стихотворную энкомиастiku, воспевавшую ратные подвиги византийских василевсов.

Особое место среди раторов XII в. занимал ФЕОДОР ПРОДРОМ. Один из первых, если не первый, профессиональный литератор, зарабатывавший себе на хлеб творчеством, он был не только автором огромного числа сочинений, по своему объему превосходящих созданное любым из его современников, предшественников и последователей (конкуренцию ему может составить разве что Пселл в XI в.). Продром был создателем новых жанров словесности, основоположником димотической традиции византийской литературы.

Родившийся, вероятно, около 1100 г. в столице, он изучал грамматику, риторику, философию, и начал свою карьеру, судя по одному из его «Исторических стихотворений», при дворе, затем воспитывал учеников, среди которых были такие блестящие риторы, как Стефан Скилица и Михаил Италик. Известный романист XII в. Никита Евгениан посвятил Продрому несколько эпитафий, по которым, на том свете литератор занимает место в компании Гомера, Платона, Аристотеля и Прокла. Круг Продрома — это интеллектуальная элита, группировавшаяся при императрице Ирине Дукене — матери Анны Комниной. Стихи на события современной истории адресуются ритором

и Анне, и императорам, и высшим придворным, его письма направлялись Алексею Аристину, Стефану Мелиту, Скилице, Михаилу Италику — также видным общественным и литературным деятелям.

Однако, судя по произведениям Продрома, жизнь его была далека от дворцового блеска: заболев (оспой?), он провел вторую половину своей жизни в приюте, где и скончался, — по одним подсчетам, около 1159 г., по другим, десятилетие спустя.

Почти через 70 лет после высказанного (но не осуществленного) намерения С. Д. Пападимитриу приступить к публикации всех произведений Феодора Продрома¹¹³ вышло первое полное критическое издание «Исторических стихотворений» византийского литератора, подготовленное учеником Г. Хунгера Вольфрамом Хэранднером. Под «Историческими стихотворениями» понимаются поэтические произведения историко-биографического содержания, относимые Хэранднером к собственно Феодору Продрому, поэтому сюда не входит, например, «манганский цикл» или народноязычные стихи, не принадлежащие, по Хэранднеру, Продрому. Таким образом, в издании помещены 80 произведений, многие из которых публикуются впервые: описание торжественного возвращения Иоанна II Комнина после взятия Кастамона (№ 6), стихи к Иоанну после его похода на киликийцев, парфян, сирийцев, «персов» (№ 11) и др. (№ 35, 36, 37, 43, 68, 73, 76, 77, [80]). Некоторые произведения были известны до сих пор лишь в небольших фрагментах (№ 50, 57, 63, 74). Переиздание уже печатавшихся сочинений проведено с привлечением большого количества рукописей, сохранивших сочинения византийского писателя. Во введении автор публикации указывает более 500 манускриптов с перечислением

произведений Феодора Продрома и приводит краткое описание 34 списков собственно «Исторических стихотворений», положенных в основу настоящего издания. Рукописная традиция этих сочинений представлена в виде нескольких стемм (с. 135—174). В вступительном разделе также анализируются словоупотребление, риторические обороты, синтаксические и грамматические особенности языка издаваемых произведений, метрика стихов (с. 111—133).

Издание каждого стихотворения (с приведением параллельных мест, литературных аллюзий, стереотипов) предваряется изложением его содержания и заключается комментарием, посвященным вопросам хронологии, реалиям, просопографии, словоупотреблению и терминологии. В некоторых случаях, правда, комментарии кратки и отдельные вопросы — толкование встречающихся в тексте этнонимов и др. — обойдены. Например, интересна интерпретация непрокомментированного места по случаю рождения Алексея — сына севастократора Андроника Комнина (№ 44. 112). В этом произведении при перечислении народов, подвластных Византии и опасавшихся ее, упоминаются «галаты». Было высказано предположение, что здесь имеется в виду Галицкая Русь.¹¹⁴ Если это так, то перед нами — уникальное свидетельство о каких-то событиях в истории русско-византийских отношений в первой половине XII в. Думается, однако, что нет оснований для локализации «галатов» Феодора Продрома (см. также № 1.91—95; № 4.225) недалеко от области «скифов» и страны далматов: порядок перечисления этносов у Продрома в этом и других пассажах не связан жесткой системой — вместе с «мидийцами» и «персами» — «кельты», рядом с «кельтами» упоминаются арабы и жители Подунавья и т. д. К тому же

в византийских источниках XII в. для наименования как Галицкой Руси, а также рашской крепости Галич существовал топоним Γάλιτζα (Cinn., 102.24; 232.7; N. Ch. 168.17; 171.5; 172.7; 172.18). Конечно, при заимствовании русское название могло изменить свой облик в византийском тексте; но естественнее думать, что под «Галатией» здесь имеется в виду малоазийская территория (ср. с. 183). Такое значение этого термина зафиксировано в памятниках XII в. (например, Cinn., 288.8; 291.16). Впрочем, возможно, что выражение Δαλμάται καὶ Γαλάται, неоднократно встречаемое у Продрома, — просто общее место его энкомиастики.

Следует отметить, что издание Хэранднера имеет и принципиальное значение: оно ведет к *систематической* публикации сочинений Феодора Продрома: в книге представлена классификация всех известных ныне продромовских произведений (с. 37—72). Последняя работа такого рода, предпринятая Пападимитриу, давала основу лишь для *сводного*, а не систематического изучения литературного наследия Продрома. Все 250 фиксируемых продромовских сочинений делятся на три группы: 1) подлинные сочинения Феодора Продрома; 2) сочинения, аутентичность которых сомнительна; 3) произведения, атрибуция которых Феодору Продрому неправомерна. Внутри этих групп проводится деление тематическое (сочинения исторические и биографические, богословские, философские, риторические и т. д.) и жанровое (стихи, речи, письма и т. д.). Конечно, данные Хэранднера будут в дальнейшем уточняться, новые исследования и публикации внесут свои коррективы, но важно то, что в рассматриваемой работе сделана попытка объединить последние наблюдения, полученные в результате изучения отдельных продромовских произведений.

Систематический подход к литературному наследию Феодора Продрома позволяет дать цельный анализ его жизненного и творческого пути. Однако такой анализ, видимо, еще впереди. Пока же издатель счел целесообразным дать во введении суммарный очерк биографических сведений о Продроме — отчасти самостоятельный, в основном же в русле имеющейся историографической традиции (с. 21—35). Такой путь в известной степени оправдан и без того большим объемом книги, но здесь встречаются и свои трудности. Рождение писателя Хэранднер относит к началу XII в. (1100 ± 4), и это согласуется с последними исследованиями. Что же касается происхождения Феодора Продрома, его родни, то здесь пересказ устаревших положений Пападимитриу явно неудовлетворителен (с. 23—24). Как известно, в ямбах против Вариса Продром говорит о своих предках, которые его воспитали: деде, который носил имя Продрома, т. е. Предтечи, и дяде, который именовался Хрнстом и был епископом Русской земли (№ 59.183—191). Последний был отождествлен Пападимитриу с киевским митрополитом Иоанном II. В научной литературе не только отмечена натянутость принятого Хэранднером перетолкования текста Э. Курцем («воспитан отцами»), но и доказана неоправданность идентификаций Пападимитриу: дед Продрома должен был носить имя Мануил; неизвестно, звали ли его Продром; в тексте указывается только, что дед прозывался именем Предтечи, а это, кстати, могло означать — Иоанн.¹¹⁵ Таким образом, отпадает одна из важнейших посылок для доказательства ранней даты рождения Феодора Продрома (70-е годы XI в.).

По мнению Хэранднера, самым ранним из издаваемых им сочинений следует считать стихи на коро-

нование Алексея Комнина — старшего сына василевса Иоанна II, датируемые 1122 г. (№ 1; см. с. 182).¹¹⁶ Относительно даты смерти писателя Хэранднер высказывается осторожно, воздерживаясь от категорических заключений, — он останавливается на времени между 1154 и 1158 гг. (с. 32). Но следует отметить существование и другой точки зрения, а именно — что Продром дожил примерно до 1170 г.¹¹⁷

Если жизненный путь Феодора Продрома, атрибуция его произведений, анализ их сведений по византийской истории являлись традиционным предметом продромовских исследований, то вопрос о социальных и эстетических воззрениях писателя, литературного значения его произведений поставлен сравнительно недавно. В этом плане закономерен раздел книги Хэранднера, посвященный функции издаваемых сочинений, анализирующий их идейное содержание (с. 73—109). Особенно важными здесь являются данные для характеристики представлений об императорской власти в Византии (Kaiseridee). Результаты, которые могут быть получены на основе исследования издаваемых материалов, соответствуют существующим на сегодняшний день представлениям о мировоззрении Феодора Продрома, придворного поэта, славословящего и идеализирующего императора, его деяния. Такой вывод, вытекающий из анализа сочинений Продрома, в целом, видимо, справедлив. Однако, имея возможность исследовать всю совокупность элементов образной системы писателя, рассмотреть эти элементы на уровне метафор, сравнений, в потоке риторических тропов, мы можем взглянуть на его произведения под несколько иным углом зрения.

Сказанное относится к цветовой символике, занимавшей важное место в ряду мировоззренческих ка-

тегорий у византийцев. Роль пурпура и золота как царских цветов в хроматической иерархии общеизвестна. И у Феодора Продрома можно найти много примеров традиционного значения этих цветов. Но несколько раз стандартные связи нарушаются. Пурпур — цвет императорской власти — в превращенном виде становится цветом крови. При описании триумфального шествия Иоанна Комнина после взятия Кастамона выразительно зримо представлена четверка белоснежных коней, ведущих колесницу; контрастно выделяются на белом фоне поводья багряного цвета. Писатель вводит для сравнения экфразу: это зрелище напоминает голубку, растерзанную орлом над белеющей скалой, окропленной кровью жертвы, — там же на белейшей коже лошадей царской колесницы горят багровые поводья. Кони покрыты золотыми попонами (№ 6.83—97). Возникает не столько торжественное, сколько напряженное, даже трагическое ощущение: конкретность и какая-то человечность описания гибели голубки от «острых когтей стремительного» хищника создают образ, переносимый невольно на объект сравнения не только в отношении зрительного, но и глубинного эмоционального содержания.

Или неоднократно встречаемый в византийской литературе мотив царской порфиры, обгащенной кровью варваров. Сам по себе этот символ является тоже традиционным элементом *Kaiseridee*, знаменуя торжество императора над нечестивыми (например, № 31a, 1—6; № 44.174—176), но своеобразная возвышенность образа снижается конкретностью и наглядностью описания безжалостного истребления «персидских» жителей — детей и женщин — ромейским оружием (№ 11.201—210). Казалось бы, здесь нет ничего необычного — стереотипные темы, банальные слова; но раз-

личие в эмоциональном контексте при сравнении двух планов приводит к эффекту внутренней противоречивости описания и оценки. У Никиты Хониата функционирование цветовой системы осуществлялось по близким, но несколько другим направлениям — по линии словоупотребления.¹¹⁸ У Продрома же личный элемент вообще сведен к минимуму: он — в области языковой и речевой формы (ср. также № 11.51—67, 211—220; № 15.1—10, 81—90). Отрицательный смысл нигде внешне не проявлен. Но за прямыми словесными декларациями не улавливается ли нечто, не совпадающее с высказываемыми формулировками? Такой эффект возможен вне сферы словесного выражения — он может получиться и неосознанно, вопреки идейной установке автора. И в этом случае важно уловить внутреннее чувство, эмоциональный подтекст.

Эти замечания в высшей степени гипотетичны. И все же хотелось бы поставить вопрос о возможности иного осмысления творчества Феодора Продрома. Подход к Продрому как к творческой личности, самостоятельно мыслящей и по-своему выражающей идеи, уже определился в византистике.¹¹⁹

Сейчас В. Хэранднер готовит издание речей и писем Феодора Продрома. Новая работа, несомненно, даст материал для дальнейших доказательств, наблюдений и уточнений.

Так, политической сатирой на современность представляется пародия на эпическую поэму — продромовская «Катомиомахия» — «Война kota и мышей». Бунт мышей пресекается тем, что кот сжирает сына предводителя «восставших», но случайно упавшее на kota бревно приводит к развязке и торжеству мышей.

Г. Хунгер Продрому относит и другую, прозаическую, сатиру XII в. — «Тимарион», которую Р. Романо

атрибуирует НИКОЛАЮ КАЛЛИКЛУ.¹²⁰ В произведении содержится очень важное для историков описание традиционной ярмарки во втором по значению византийском городе — Фессалонике (Солуни). Живой, динамичный образ праздничного торжища, на которое стекаются купцы из Беотии, Пелопоннеса, Италии, Финикии, Понта дополнен упоминанием и товаров из черноморских городов.¹²¹

Гораздо более опосредовано влияние современности сказывается в авантюрном романе Продрома «Роданфа и Досикл» (в 9 книгах). Вообще византийский роман, период расцвета которого как раз приходится на XII в., скорее воплощал художественные вкусы современников, чем отражал перипетии общественных коллизий эпохи.¹²² Это относится и к другим романам XII в., прежде всего к сочинениям НИКИТЫ ЕВГЕНИАНА «Дросилла и Харикл» и ЕВМАТИЯ (ЕВСТАФИЯ) МАКРЕМВОЛИТА «Исмина и Исминий».¹²³ Макремволиту относили и сборник загадок, где упоминается «языческий народ Рос», на основании чего и памятник датировали раньше X в.

Пиетет к личности и творчеству Феодора Продрома породил целые циклы стихотворений, приписываемых его последователями и подражателями самому Продрому. На самом деле вряд ли он сам был их автором, хотя бы по соображениям хронологии. Это относится прежде всего к так называемому МАНГАНСКОМУ ПРОДРОМУ, чье творчество начиналось также в кружке севастократорисы Ирины.¹²⁴ От ее имени поэт обращается к императору Мануилу I с просьбой о прощении попавшей в немилость и сосланной покровительницы. Сам поэт просит василевса предоставить ему возможность поселиться в адельфате Манганского монастыря (отсюда и условное именование автора цик-

ла), где он и проводит, по-видимому, затем остаток своей жизни вплоть до середины 60-х гг.

Если героем «Исторических стихотворений» Феодора Продрома был Иоанн II Комнин, то в центре Манганского цикла — Мануил. Цветовая гамма образа императора выдержана в традициях героико-исторической лирики, знакомой по творчеству Иоанна Геометра: белый щит василевса, белеющие латы, сверкающий ярче снега меч, сияющий как зеркало шлем создают светлый образ блистательного героя — императора-воина.

XII век как никакой другой дал византийской литературе целую плеяду блистательных риторов — глубоких эрудитов, тонких стилистов, чутких историков своего времени. В их речах, адресованных современникам, отзывающихся на актуальные события, получили отражение и личные житейские и государственно-политические оценки и упования.

Корреспондент Феодора Продрома МИХАИЛ ИТАЛИК стал в 1143 г. митрополитом Филиппополя (совр. Пловдив в Болгарии). В речах, адресованных севастократорисе Ирине Дукене (Михаил Италик также принадлежал к ее кругу), патриарху Михаилу Куркуасу, в монодии севастократору Андронику культивируется идея интеллектуального пира-застолья с оленем «по-философски» и «физиологическим зайцем» на столе. Ритор развивает идею преимущества правления философов перед властью необразованных логариастов и проноитов. Некоторые пространные произведения Михаила Италика представляют собой небольшие исторические новеллы, облеченные в форму энкомия. Таким представляется описание войн в Подунавье с кочевниками севастократора Андроника Комнина.¹²⁵

Теми же достоинствами обладают и похвальные речи другого византийского ритора XII в. — НИКИФОРА ВАСИЛАКИ, прославлявшего и императора Иоанна Комнина, и севаста Иоанна Аксуха, в энциклопедии которому также повествуется о дунайских кампаниях византийских войск.¹²⁶ Он обращается в своих произведениях и к патриарху Николаю Музалону, и к болгарскому архиепископу Иоанну (от имени Адриана Комнина), и к гуманисту Алексею Аристину. Сам Никифор был императорским нотарием, учителем (сохранились некоторые из его писем ученикам), церковным деятелем, осужденным в 1157 г. за ересь.

С тем же кругом литераторов, связанных с севастократорисой Ириной, с Анной Комниной был близок и другой поэт, эрудит, знаток античности, «полиистор» ИОАНН ЦЕЦ, знаменитый своими объемными и глубокими комментариями к Гомеру, гексаметрами поэмы о догомеровских, гомеровских и послегомеровских временах и многими другими произведениями.

Родившийся около 1110 г. в Константинополе, он был секретарем в Веррое, затем в столице, учительствовал, переписывался со многими виднейшими современниками, в том числе с императором Мануилом I Комниным, снискал славу литератора, филолога и знатока литературы. Умер Цец, вероятно, в 80-х гг. после кончины Мануила Комнина.

Стихотворные «Истории» Иоанна Цеца, названные иначе за большой объем «Хилиадами», т. е. «Тысячами», являются своего рода ученым комментарием к собранию писем автора, содержащих массу сведений по различным аспектам прошлого и настоящего. Свидетельства в основном этно-географического и исторического характера содержат как эти, так и другие поэтические и прозаические творения византийского эрудита.

В этой связи интересно обратиться к этногеографической характеристике южной окраины Руси и соседних территорий по данным византийского эрудита, автора объемистого (составляющего почти 13 тысяч стихов) и содержащего массу различных сведений по географии, древней и современной ему истории, мифологии и другим областям знания, сочинения «Истории»,¹²⁷ эпистолографа¹²⁸ и ученого-комментатора XII в. вышеупомянутого Иоанна Цеца.¹²⁹ На значение сведений этого писателя для отечественной истории уже давно было обращено внимание. Его свидетельства, относящиеся к территории Руси и сопредельной с ней, использовались в специальных исследованиях,¹³⁰ включались в своды древнейших источников по истории нашей Родины.¹³¹ В большинстве своем эти данные являются уникальными.

Пристальный интерес Цеца к Причерноморью неслучаен: в одном из писем и в «Историях» он сообщает о своем кавказском происхождении (Ер. 9.21—10.6; Chil. V. 585—630). По материнской линии его род был связан с Марией Аланской, дочерью грузинского царя Баграта IV;¹³² по словам Цеца, относившего себя к «знатным ивирам», кровной родственницей Марии была его прабабка абхазка. Характерна цепетильность Цеца в отношении этнических дефиниций: он утверждает, что Мария Аланская была не аланка (как это и было закреплено традиционным представлением), а на самом деле «авасгиней», т. е. абхазкой.

Эти кавказские народности связываются Цецем с Русью «скифской» общностью: «Авазги, аланы, саки и даки, русские, савроматы и собственно скифы, и всякий народ, овеваемый северным ветром, называется общо скифами» (Chil. XII. 896—900). Сам этноним «росы» (русские) синонимичен для нашего автора име-

ни «тавры» (Ер. 119. 5—6), которые тоже являются скифским племенем (Chil. XI. 872—876). Это тождество отражает традиционное у византийцев наименование «тавроскифами» русских.¹³³ Правда, современник Цеца Никифор Васибеки под «Тавроскифией» имеет в виду землю, в которой находится, по всей видимости, Филиппополь,¹³⁴ а Иоанн Киннам (втор. пол. XII в.) «скифами около Тавра» называет половцев.¹³⁵ Что касается Болгарии, то Цец дает подробную топографию пространства на юг от Дуная, определяя границы расположенных там областей — двух Мисий, Фракии и Македонии (Chil. XI. 884—997); сам же этноним у Цеца встречается в качестве синонима термину «пеонцы» (не венгры, населяющие, по Цецу (Chil. X. 178—180), одну из упомянутых Мисий).¹³⁶ Это, между прочим, подкрепляет высказанную П. Готье гипотезу о «пеонцах» в типике константинопольского монастыря Пантократора (1136 г.) как болгар.¹³⁷ Половцы же в сочинениях византийского эрудита фигурируют под общим именем «скифы». Так, в рассказе о половецком набеге 1148 г.¹³⁸ кочевники называются «придунайскими волками, частью скифов» (Ер. 94.4—7). То, что под приведенным выше названием «собственно скифы» — в отличие от «скифов» вообще — нашим автором подразумеваются куманы, говорит текст «скифского» — куманского — приветствия в эпилоге «Теогонии» Иоанна Цеца.¹³⁹

Этот эпилог большого ученого стихотворения, адресованного севастократорисе Ирине — супруге Андроника Комнина — и излагающего по Гомеру и Гесиоду мифы о происхождении древних богов и героев, составляет последние 133 стиха произведения;¹⁴⁰ он содержит воспроизведение в греческой транслитерации и перевод нескольких иноязычных фраз (главным об-

разом, приветственных). «Скифское» приветствие является фактически куманским,¹⁴¹ что определяет и интерлинейная глосса, сделанная киноварью в Cod. Vindob. Phil. gr. 118: κόμανον (Theog. 304. 2a). Правда, по Моравчику, приветственное восклицание может скрывать арабское *selâm aleikûm*,¹⁴² т. е. может принадлежать какому-нибудь «исламскому народу». Сам этноним «куманы» нигде не встречается в других сочинениях Цеца; однако не следует недооценивать определение глоссы: аналогичная помета, поясняющая этноним Цеца «персы» — τοῦρκοις («туркам»: Theog. 305. 5a), находит подтверждение в «Историях» (напр., Chil. XIII. 359).

В эпилоге «Теогонии» приведено и русское приветствие: «К русским я обращаюсь по их обычаю, говоря «σδρᾱ(στε), βράτε, σεστρίτζα» и «δὸβρα δένη, т. е. «здравствуй, брате, сестрица, добрый день!» (Theog. 305. 26—28). Не явились ли источником этих знаний Цеца какие-нибудь русские, жившие в Константинополе, которые, кстатн, по наблюдениям нашего автора, представляли собой тогда «смешение множества языков» (Chil. XIII. 356—363)?¹⁴³ Далее Цецем приводятся и некоторые аланские выражения (Theog. 305. 18—22).¹⁴⁴

Таким образом, та «скифская» общность, которая постулируется Цецем применительно к Причерноморскому региону, представляется им же в языковом отношении чрезвычайно разнообразной. В самом деле, помимо рассмотренных народов здесь же Цецем локализируются и «киммерийцы» — у Тавра скифов и Мелитийского озера (Chil. XII. 835—836), т. е. в Крыму и Приазовье. По выдвинутой недавно¹⁴⁵ пробной реконструкции *kers-mar=этот этноним является фракийским названием для Черного моря: на фракийской

языковой почве этноним $\kappa\iota\mu\acute{\epsilon}\rho\iota\omicron\iota$ мог иметь вид и значение *kir(s)-mar-io, где *kers — «черный» и *mar — «море». Причем, в вопросе о киммерийцах сам этноним представляется единственным достоверным языковым фактором их принадлежности. В этой связи, памятуя о возможном широком этническом содержании термина «скифы» и о локализации «киммерийцев» Цецем, интересно обратить внимание на схолию к «Историям» Цеца,¹⁴⁶ где «скифы» фигурируют в качестве фракийского рода (Chil., p. 548).

И сам Цец занимается этимологическими наблюдениями. Он приводит «скифское» название Меотийского озера (т. е. Азовского моря): $\text{Καρπ}α\lambda\omicron\upsilon\kappa$ («Карбалук»), — объясняя при этом значение $\kappa\alpha\rho\mu$ — «город» и $\lambda\omicron\upsilon\kappa$ — «рыбы». Таким образом, с именем «Карбалук» — «город рыб» — им связывается греческая «Меотида», выводимая им из единственно возможного $\mu\alpha\iota\acute{\alpha}$ — «мать», поскольку, по Цецу, она является матерью и родительницей всяких рыб, которые встречаются «в Эвксине и у нас» (Chil. VIII. 762—771), т. е. в Черном и Средиземном морях и Проливах. Греческому $\text{Καρπ}α\lambda\omicron\upsilon\kappa$ ¹⁴⁷ может соответствовать тюркское karbalig (tāngiz),¹⁴⁸ т. е. «море рыб», в том случае, если balig — «рыба».¹⁴⁹ Но у этого слова есть и другое значение: «город», «город-крепость».¹⁵⁰ На этимологию Цеца, видимо, повлияло совмещение этих значений.¹⁵¹

В «Историях» у Цеца еще встречается один интересный гидроним: $\Sigma\iota\acute{\alpha}\kappa\alpha$ — «Сиака» (Chil. XII. 851). Наш автор сообщает, что Сиака — это озеро в стране киммерийцев. Было высказано мнение о том, что «Сиака»¹⁵² Цеца — это оз. Сиваш.¹⁵³ Это свидетельство Цеца, не имеющее прямых литературных источников, уникально в византийской литературе XII в.

С Меотидой у Цеца ассоциируется целая ветвь «скифов». В экскурсе о «скифах» в «Историях» различается три ветви (ἔθνη) «скифов»: меотийские, кавказские (с ними связаны узы и гунны) и оксианские (Chil. VIII. 760—761).¹⁵⁴ К последним, по Цецу, относятся «скифы», находящиеся за Гирканским (т. е. Каспийским) морем — «в Сугдиаде», где протекает река Оксос (Chil. VIII. 777—779). Однако в комментарии «Историй» к упоминаемым в одном из писем «оксианским рыбам» (Ep. 144. 16) «оксиане» неожиданно локализуются в Крыму и отождествляются с хазарами: «Хазары — жители Сугдеи и Херсона — по названию реки Оксос, которая течет в их землях, называются оксианами» (Chil. XIII. 84—88). Эта неожиданная атрибуция может быть объяснена тем, что спутана Сугдея — город и порт в Крыму (Сурож русских летописей, совр. Судак), с Согдианой — областью Средней Азии.¹⁵⁵ Река Оксос (совр. Аму-Дарья), разумеется, относится к Согдиане, а не к Сугдее. Жителей именно этого района Цец называет «оксианскими скифами» и сближает с «восточными скифами» Геродота.¹⁵⁶

Таким образом, нередко у Цеца получается причудливая контаминация книжного ученого знания и непосредственных наблюдений, современных свидетельств. Источник этого — в особенности мировосприятия византийца: на непосредственно наблюдаемое накладывается сетка книжного, возведенного в парадигму, знания. Так у Цеца античная карта накладывается на географию современного ему мира.

Итак, Русь связывается с соседними народами — кавказцами, населением Крыма и Приазовья, тюркскими народностями, находившимися на этих землях, — «скифской» общностью, которая определяется по географическому (не этническому) принципу;

— этногеографические же сведения произведений Иоанна Цеца и данные языка для этого района свидетельствуют о его большой этнической пестроте;

— в сочинениях Цеца зафиксированы его непосредственные наблюдения, возможно, данные личного общения с русскими, куманами и др.; эти сведения тесно переплетены у византийца с книжным, античным знанием, в результате чего получается сложная этническая и географическая картина интересующего нас региона.

В отличие от классических византийских историографических трудов и хроник, издавна привлекавших внимание источниковедов, риторические произведения фактически лишь с конца прошлого века стали обращать на себя специальное внимание историков. Сложность языка речей, передача информации в форме цитат, поэтических тропов затрудняют исторический анализ речей и писем, экфраз и поэтических энкомиев. Но именно в них в последние десятилетия обнаружены интересные сведения: при бедности прямой информации на уровне фактологии эти памятники становятся доступными для понимания их исторического содержания при выявлении их внутренних идейно-художественных авторских тенденций.

В историографии имеется мнение об ослаблении русско-византийских контактов в XII в. (особенно к концу): отсутствие прямых военных столкновений, внешнеполитическая опасность для каждой из сторон (кочевники и латиняне) обусловили якобы ослабление вплоть до прекращения этих связей, не зафиксированных как будто бы источниками.¹⁵⁷

На первый взгляд, действительно, материала о «русах» в рассматриваемых источниках немного, нет и таких ярких памятников, как русско-византийские дого-

воры X в. Однако если учесть особенность византийских авторов сообщать информацию не в прямой, а в косвенной, «зашифрованной» форме, то данных из источников по интересующей нас теме можно получить значительно больше. Это прежде всего касается внешнеполитических, военных и посольских отношений.

Для выявления нового материала необходимо обратиться к тем свидетельствам, где нет прямого упоминания русских или «тавроскифов»: памятуя о византийской приверженности заменять термин описанием, можно понять значение многих важных для нас текстов. Так, анализ речи МИХАИЛА-ритора, племянника (или близкого человека) СОЛУНСКОГО митрополита, показал, что за неопределенными намеками памятника улавливается отражение сложной военно-политической борьбы в Центральной и Юго-Восточной Европе в начале 50-х гг. XII в.¹⁵⁸ Михаил-ритор сообщает, что после разгрома «даков» василевс двинулся на «гепидов», перейдя Дунай, предал «Паннонию» огню, после чего сатрап «гепидов» бежал. Здесь речь идет о победе императора Мануила I над венгерским королем в 1151 г. после разгрома сербов. Далее говорится, что эхо этой победы дошло до сицилийцев и «тавроскифов», причем «северянин» от шума молвы уныло повесил голову.¹⁵⁹ Отождествление «тавроскифов» с русскими позволяет видеть в «северянине» русского князя, — возможно, Юрия Долгорукого, союзника Мануила. Данные же речи в целом позволяют предположительно говорить о состоявшемся (?) или готовившемся около 1152 г. походе византийских войск в Северное Приазовье (может быть, против половцев или Изяслава).

Подобным образом можно выявить еще некоторые свидетельства византийских источников о возможных

посольствах русских в Византию. Так, ЕВСТАФИЙ СОЛУНСКИЙ в похвале Мануилу Комнину повествует о народах, некогда агрессивных, теперь же усмирённых: они приезжают в Византию, даже переселяются на жительство, — «агаряне» (турки), «скифы» (кочевники), «пеонцы» (венгры), обитающие за Истром (население Подунавья) и те, кого овевает только северный ветер.¹⁶⁰ В соответствии с географическими представлениями о делении зон земли по направлениям различных ветров, народом, находящимся под северным ветром, являются «тавроскифы», т. е. русские.¹⁶¹ И Евстафий рассказывает о сильном впечатлении, произведенном Мануилом на иностранцев.

В другой речи Евстафия, написанной, вероятно, после 1173 г., ритор, восхваляя военные успехи императора, образно говорит о подчинённых и зависимых народах как элементах украшения царства Мануила. Упоминая поработённых далматов, пеонцев и скифов, он указывает и на их северных, также покорённых соседей.¹⁶² Это может относиться и к галицкому князю: о Владимирке Галицком Киннам говорит как о подвластном союзнике Мануила в середине XII в.¹⁶³ Евстафий в речи сообщает и о посольствах в Константинополе с самого края земли;¹⁶⁴ эхо побед Мануила достигает «севера».¹⁶⁵ В этих словах также, возможно, скрыт намек на Русь.

Ещё в одном слове к Мануилу, произнесённом между 1174 и 1178 гг.,¹⁶⁶ Евстафий восклицает по поводу посольства архонта из «северных» по отношению к «Пеонии» — Венгрии — земель, ничуть не меньше их. Речь опять-таки идет, вероятно, о Галицком княжестве. В этом акте панегирист видит признание верховной супрематии византийского василевса над другими властителями.

Наконец, среди народов, перечисляемых в речи Евстафия по поводу прибытия в столицу царственной невесты из «Франкии» (имеется в виду свадьба Алексея II, сына Мануила, с Анной-Агнессой, дочерью французского короля Людовика VII, в 1179 г.), упомянуты и «северные», т. е., в свете наших данных, русские.¹⁶⁷

Намек на русское посольство можно предположить и во «Взятии Солуни» Евстафия, где сообщается о посланниках «германского филарха» (Филиппа II Французского), «аламанского властителя» (Фридриха I Барбароссы), «посланника Марка» (Конрада Монферратского), «угорского короля» (Белы III), а также другого сильного соседа последнего, — возможно, галицкого князя.¹⁶⁸

Определенную информацию дает нам и речь МИХАИЛА-РИТОРА, племянника (или близкого человека) митрополита Анхиала, где отражены внешнеполитические действия империи в конце 50-х—начале 60-х гг. XII в. Описывая успехи Мануила в отношениях с Балдуином III Иерусалимским, с Кылич-Арсланом II и др., ритор говорит, что один только звук устрашает «северного», как и «внутреннего северного».¹⁶⁹ Вероятно, здесь содержится намек на Венгрию и Русь, местоположение которых соответствует византийским представлениям о направлении сторон света.

Тот же смысл, возможно, и в сообщении одного из стихов продромовского Манганского цикла о власти Мануила над «Бореєм».¹⁷⁰

О посольстве «скифа» в Константинополь после свержения Андроника Комнина (1185 г.) сообщает и МИХАИЛ ХОНИАТ.¹⁷¹ Поскольку земли Приазовья в этом произведении им называются «гиперборейскими», «скифской пустыней»,¹⁷² не исключено, что и

здесь речь идет о Руси. «Север» и «Скифия» у него синонимичны «Тавроскифии».¹⁷³

О посланнике из «северных климатов», о власти василевса над «северными климатами» сообщает и НИКОЛАЙ МЕСАРИТ.¹⁷⁴ А. Васильев видит здесь Трапезунд,¹⁷⁵ но, как правило, в византийских источниках «северными климатами» называется Крым.¹⁷⁶

Однако во второй половине XII—начале XIII в. русско-византийские отношения не ограничивались, видимо, посольскими связями. Дело, возможно, доходило и до прямых военных столкновений. Так, по сообщению Николая Месарита, участники мятежа Иоанна Комнина 1201 г. требовали, чтобы ромеев не побеждали ни «скиф», ни «болгарин», ни «тавроскиф», ни другие «варвары».¹⁷⁷ А. Гейзенберг видит в «тавроскифах» куманов,¹⁷⁸ но, вероятно, речь идет о русских, называемых обычно «тавроскифами». Во всяком случае, из речи Никиты Хониата мы знаем об участии «тавроскифов»-бродников в борьбе болгар против Византии.¹⁷⁹

Итак, если полученные сведения прибавить к уже известным и использовавшимся многочисленным данным о военных экспедициях, посольствах и брачных связях, русских паломниках и византийцах, отправлявшихся на Русь, об актах, упоминаемых в различных нарративных источниках, касающихся русско-византийских связей,¹⁸⁰ то получится картина интенсивных взаимоотношений древнерусских княжеств с Византией в продолжение всего XII и начала XIII в. Конечно, необходима конкретизация и уточнение полученных данных, но можно сказать, что политические связи двух государств не ослабевали в XII в., как считалось ранее.

Таким образом, в плане методики анализ византийских материалов по отечественной истории стро-

ится с учетом жанровых, стилистических, терминологических особенностей рассматриваемых памятников; с новыми открытиями мы сталкиваемся при изучении трудно исследуемых с исторической точки зрения риторических сочинений, уточняя деконкретизованные, часто «зашифрованные» специфическим словоупотреблением термины.

8 ВИЗАНТИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТАФРАСТИКА

Подобно тому как в начале XX в., в пору эмансипации византистики из лона классической филологии, эллинисты смотрели на всю византийскую литературу несколько свысока, так и в наше время, еще сравнительно недавно, уже сами византилисты относились к метафразам византийской литературной «классики» как к материалу второстепенному. В языковом отношении эти произведения считались ущербными и вульгаризованными (*vulgargriechische*), в историко-культурном — сокращенными переделками, любопытными сами по себе, как историко-литературный казус, но не более. Однако последние годы отмечены все более пристальным вниманием и интересом именно к таким метафразам, написанным не столько на обедненном, сколько обыденном языке, — языке, близком к повседневной речи, но тем не менее (как показывает новый языковой анализ) литературном, пусть и общеупотребительном. Лингвистам эти сочинения интересны как своего рода звено между отличавшейся пуризмом византийской «классической» литературой (*hochsprachliche Literatur*) и разговорной, близкой к демотической, речью

литературы «народной» (Volksliteratur). Литературоведам же такие метафразы важны, как показатель тенденции к упрощению «элитарных» в лексико-стилевом плане произведений — сочинений Анны Комниной или Никиты Хониата, — с целью, возможно, приближения их к «массовому» читателю, своего рода расширения читательского круга. Подобный социокультурный подход к предмету связан с интересом современных византинистов к общественному фону византийского историко-литературного процесса, со стремлением уяснить социальную природу читательской аудитории и направленность авторского творчества.

Оставшиеся в целом за пределами последних фундаментальных трудов по византийской литературе (и «народноязычной», и «высокого стиля»),¹⁸¹ метафразы произведений Никифора Влеммида, Никиты Хониата, а теперь и Анны Комниной стали предметом новейших исследований.¹⁸²

Книга Г. Хунгера, изданная в серии «Венских византиноведческих исследований», содержит детальный сравнительный анализ языка и стиля мемуаров Анны Комниной и анонимной метафразы их XI—XIII книг (т. III, р. 33.19—132.18, по изданию Б. Лейба).¹⁸³ Сохранившийся текст метафразы впервые издается полностью en regard с текстом Анны. В единственной рукописи метафразы утрачены начало и конец, так что сейчас нельзя сказать, было ли это сочинение переложением только указанных книг Анны или же всего текста «Алексиады». Для датировки метафразы существенна последовательная замена термина Κίλικία у Анны на Ἀρμενία, что могло отражать ситуацию, сложившуюся после изгнания в 1137 г. Иоанном II Комниным Левона Рубенида из Киликии

или после признания в конце 50-х г. Торосом васалитета по отношению к Византии.¹⁸⁴ Показательно также употребление анонимным метафрастом имени πατερίνου (№ 423) вместо παγάνου Анны: эта замена могла отражать распространение богомилства из Малой Азии на Запад (сам термин впервые зафиксирован в документе 1179 г.). Наконец, исторические интересы метафраста (прежде всего к взаимоотношениям Византии с Западом, с «латинянами»), известная дистанция между ним и, с другой стороны, автором и героями «Алексиады», а также весь историко-литературный контекст эпохи, когда в XIII—начале XIV в. создаются аналогичные переложения Никифора Влеммида, Никиты Хониата, позволяют Г. Хунгеру датировать издаваемое сочинение палеологовским временем или даже периодом Латинской империи. Установить более точные хронологические грани пока невозможно. Текст метафразы восходит к Cod. Coisl. gr. 311 сочинения Анны (по Б. Лейбу, — кодекс С), хотя и не является непосредственным списком с этой рукописи.

Почти половину книги Г. Хунгера занимают перечни слов и выражений метафразы, характеризующие изменения текста по отношению к оригиналу «Алексиады». Показательнее всего замены имен, прежде всего терминов. Вместо архаизированных социально-политических, военных терминов метафраст употребляет слова, которые мы бы сочли более близкими к новогреческому (ἀκρόπολις Анны — κουλάς метафраста, ἀνάκτορα — παλάτιον, ἀσπίς — σκουτάρι(ο)ν, Αὐγούστα — δέσποινα, δόρυ — κοντάρι(ο)ν, ἔποχος и ἵππεύς — καβαλλάρης или καβαλλικεύσας, ἑτερόστομον. ξίφος — μαννάρα, θυρεός — σκουτάριν, ναῦς и πλοῖον — καράβιον, κάτεργον или μονόξυλον, παρεμβολή —

κατουνοτόπιον, στράτευμα или στρατός; σκηνή — κατούνα и тέντα).

Это же можно сказать и об этнонимии (Ἰταλοί — Φράγγοι, Κέλτοι — Ἀλαμανοί, Κιλικία — Ἀρμενία, Λατῖνοι — Φράγγοι, περσικός — τουρκικός, Σκύθης — Κόμανις).

В других случаях termini technici «Алексиады» заменяются словами более широкого круга употребления или более конкретного значения (αὐτοκράτωρ — βασιλεύς; βασιλεύουσα — Κωνσταντινούπολις, μεγαλόπολις или просто πόλις).

Сильный пласт «неогрецизмов» (в кавычках!) — и в области бытовой, семейной, и иной лексики (у Анны — ἵππος, κλίνη, λάρναξ, ἔτος, παρειά, τέμπη, χλαμύδες, λευκός, πύρσος; у метафраста соответственно — ἄλογον, κραβάτιν, κιβάριν, χρόνος, μάγουλον, βουνά, κλεισουῖρα, ροῦχα, ἄσπρος, κόκκινος; ср. также в метафразе — ἀτζάκιστος, κοκκινάδα, μάγουλον, πόρτα, ρουθούνι(ον), σακκούλιν, χάνταξ). Лексика, распространенная преимущественно в новогреческом, употребляется метафрастом и в глагольных конструкциях (ἄρέσω, γλυτώνω, ἐγκράζω, κατουνεύω, κοκκινίζω, κουρσεύω, ξεχνῶ, σκοτώνω, τζακίζομαι, φωνάζω; (ἐ)θέλω вместо βούλομαι; πρέπει вместо δεῖ; βλέπω вместо ὁράω и т. п.).

Однако результаты наблюдений над лексическим запасом метафраста неоднозначны. Это хорошо видно в тех случаях, когда применяются глаголы. С одной стороны, наблюдается сокращение их количества, совмещение в одном глаголе значений десятка других, встречающихся у Анны. Так, κρατέω употребляется метафрастом вместо 19 различных других глаголов «Алексиады», λέγω — вместо 16, ποιέω — вместо 16, ἔρχομαι, οἰκονομέω, ὀρίζω — каждый заменяет по 9 других глаголов и т. д., т. е. как будто бы происходит симплификация лексики путем простого сокращения сло-

варя. Но встречаются и случаи амбивалентной замены глагольных пар (например, ἀγωνίζομαι — σπουδάξω).

Метафраст предпочитает поэтическим оборотам лексику простую, неописательскую и недвусмысленную (вместо δραματουργέω — κατασκευάζω, μηχανάομαι, πράσσω; ἀρειμάνιος — πολεμιστής; ἀρείφιλος — ἀνδρεῖος; ἐπιχορηγέω — εὐεργετέω и πέμπω).

Такова статистика лексико-грамматических изменений текста «Алексиады» в метафрастическом его варианте. Что же она показывает?

С одной стороны, налицо демотические тенденции в развитии грамматики — к исчезновению датива, оптатива, трансформации форм и значений инфинитива, к сокращению префиксальных образований и росту предложных конструкций, общая тенденция к аналитизму языка. С другой стороны, видимо, можно говорить не только об упрощении речи, но и уточнении, прежде всего терминологии, ее актуализации. Именно этот результат достигается употреблением различных терминов (τάφος «Алексиады» — ὄρυγμα, σοῦδα или χάνταξ в метафразе; εὐνοια — γνώμη, πίστις, ὑπόληψις; ἡγεμονία — ἀρχή, βασιλεία, ἀρχηγός, ἀρχων, κεφαλή; πορθμός — λιμήν, πέραμα или πόρος), синонимичных, казалось бы, в тексте Анны, но различающихся между собой — в сознании метафраста. Этот же результат достигается и заменой причастных и абсолютных конструкций «Алексиады» более конкретными и однозначными придаточными предложениями. Метафраст, стремится, видимо, уточнить, конкретизировать действие, и ему это в большей или меньшей степени удастся. Уточнению служит и употребление метафрастом терминов вместо описательных выражений Анны (τόξα καὶ τζάγγραи — вместо ἀκροβολισμοί; σαγίττα и τόξον — вместо βέλος; χρυσόβουλλον — вместо ἔγγραφον

κάστρον или χώρα — вместо πόλις; ἀποκρισάριος — вместо πρέσβυς; βίγλα — σκολός). Это подтверждает и анализ стилистических изменений в метафразе, где отмечен ряд плеоназмов. Все стилистические инновации, в том числе приводящие и к несомненным потерям в художественном отношении, имеют у метафразы *целесообразный* характер. Его язык — язык общеупотребительный, обиходный, как на лексико-грамматическом, так и на стилистическом уровнях. Вместе с тем Г. Хунгер справедливо отмечает прорывающиеся следы знакомства анонимного автора с риторическим искусством, его умелую работу стилиста.

Итак, мы имеем дело не с «вульгарноязычной» или «народноязычной» метафразой, а с сочинением, таким же *литературным*, как и сама «Алексиада», но написанным на языке другого рече-стилевого уровня. К сходным выводам приводит и Я.-Л. ван Дитен в анализе метафразы исторического повествования Никиты Хониата.

Таким образом, устанавливается место византийских метафраз в византийской литературе — с точки зрения их языковой «принадлежности», тенденцией языкового развития. Важно, однако, и определить их историко-культурное значение, их роль в литературной жизни византийцев. Решение этой задачи еще предстоит осуществить.

9 МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НИКИТА ХОНИАТ

Среди многочисленных монументальных византийских хроник, исторических монографий, «книг царствований» немного найдем мы исторических сочине-

ний, посвященных какому-нибудь одному историческому событию и выделяющихся как в историческом, так и литературном отношении на фоне основных историографических жанров.

Таков волнующий рассказ о взятии Солуни критскими арабами 31 июля 904 г., написанный клириком **ИОАННОМ КАМИНИАТОМ**.¹⁸⁵ Это повествование посвящено одному конкретному событию; в центре рассказа стоит сам автор и его семья. Описание предельно лично и субъективно.

Распространенная экфраза в начале сочинения создает редкий в византийской историографии пластический и одновременно эмоционально окрашенный образ Солуни и окрестностей: «Та часть Фессалоники, что лежит к югу от горы, поистине прекрасна и сладостна. Она изобилует тенистыми деревьями, всевозможными садами, щедрыми водами рек источников, которыми горные чащи дарят равнину и одевают также и само море. Виноградные лозы густо покрывают землю и обилием своих гроздьев радуют жадный до прекрасного взор... Озера словно состязаются с морем и соревнуются в том, кто из них даст более обильные дары» (7.36—56).

Традиционными элементами произведения Каминиата являются прооймион с указанием на некоего Григория Каппадокийца, по настоятельному совету которого автор, не будучи писателем-профессионалом, и взялся за описание событий, а также представление о главной причине несчастий — божественном гневе, постигшем горожан за их грехи. Традиционен и общий языковой стиль, опирающийся на библейскую и литургическую лексику и образную систему. Однако традиционные, на первый взгляд, элементы функционируют по-новому. Вступительная часть —

не просто этикетный зачин, но своего рода обрамление произведения: в конце Каминиат вновь возвращается к Григорию, указав на выполнение его просьбы. Таким образом, сочинение композиционно закончено, оно лишено типичной для историографии X в., рассматривавшейся выше, открытости повествования, начинавшегося в произвольный момент исторического развития (как правило, на месте окончания хроники предшественника) и завершающегося так, что его можно было бы без ущерба для композиции продолжить. Каминиату присуща композиционная четкость, организованная временная последовательность развития сюжета: за экфразой о Солуни следует повествование об осаде города арабским флотом Льва Триполитанина, включающее как описание военных действий с подробностями технической стороны дела — инженерии фортификационных сооружений и осадных машин и т. п., так и рассказ о судьбе самого автора и его семьи; затем прослеживается путь пленных, увезенных завоевателями через Патмос, Крит и Кипр в Триполи.

Отличие повествовательной манеры Каминиата, в сочетании с другими моментами, породило сомнение в правильности датирования памятника X веком и полемику по поводу передатировки его XV веком.¹⁸⁶

Подлинным шедевром византийской мемуарной литературы стало повествование ЕВСТАФИЯ СОЛУНСКОГО «Взятие Солуни» (Θεσσαλονίκης ἁλώσις),¹⁸⁷ посвященное предыстории и событиям завоевания Солуни в 1185 г. норманнами, написанное по горячим следам событий — в феврале следующего года.

Родившийся ок. 1115 г., возможно, в Константинополе, где прошли и годы его учения, Евстафий начал свой нелегкий жизненный путь с низших сту-

пеней: был писцом патриаршей канцелярии, затем судейским писцом; получив сан диакона, служил начальником патриаршего ведомства прошений, в ведомстве священных сокровищ, дослужившись до высокого поста патриаршей администрации — сакеллия. Ученая карьера Евстафия ограничилась получением им в уже немолодом, видимо, возрасте титула магистра риторов. Во второй половине 70-х гг. Евстафий становится солунским митрополитом; в 1185 г. он оказывается в центре событий во время нападения на Солунь норманнов. После некоторого перерыва, в середине 90-х гг. он вновь в Солуни, где, по-видимому, и умер ок. 1196/97 гг. Прожив нелегкую жизнь, полную борьбы за существование, Евстафий никогда не имел ни достаточно высокого положения, ни стабильного достатка; даже став митрополитом, он тревожится за свое будущее, нуждается в поддержке покровителей.

Он не был одинок в своей жизни: его учениками были известные деятели византийской культуры — риторы Михаил Хониат, Григорий Антиох, Евфимий Малаки; Евстафий стоял в центре своеобразного научно-литературного кружка, в который входили также Николай Айофеодорит и, возможно, будущий патриарх Михаил Авториан. Имел он и могущественных покровителей вроде патриарха Михаила III и Никифора Комнина — внука Анны Комниной.

Евстафий Солунский отнюдь не был историографом по преимуществу. Подобно многим литераторам XII в. (например, Иоанну Цецу), он прославился объемными комментариями к античным произведениям — к «Илиаде» и «Одиссее», к комедиям Аристофана, к географическому сочинению Дионисия Периегета, к Пиндару; замечательны памятники риторического искусства

Евстафия — его речи — к императору Мануилу I, патриарху, монодии, а также корпус писем ритора. Оригинальностью и остротой отличаются его памфлеты — «Об исправлении монашеской жизни», «О лицемерии». Евстафий был автором канонических сочинений, филологических трактатов, схолий.¹⁸⁸

Если при анализе творчества Пселла исследователи отмечают известные несоответствия, даже противоречия между мировоззренческими, этическими и эстетическими позициями Пселла-историографа и Пселла-ритора и эпистолографа, то характеристики Евстафия могут отличаться значительно большей цельностью. Его социальные воззрения, исторические взгляды, моральные принципы, изложенные им в многочисленных памятниках различных жанров, отражены и в его историческом произведении.

Полемически заостренным против традиционной историографии выглядит Предисловие к сочинению Евстафия, где определяются жанр произведения, методы повествования, композиционная структура изложения. Отличие «Взятия Солуни» от исторических сочинений обусловлено глубоким эмоциональным чувством автора — участника разыгравшейся трагедии, что не позволяет ему рационалистично и трезво подойти к рассказу (Eust. Esp. 3.14—23): «Однако при повествовании историческом и беспристрастном писатель пространно богословствует; он и о причинах бытия говорит, и обильными риторическими прикрасами свою речь изощряет, и экфразами, и описаниями различных мест свое повествование украшает. Одним словом, когда писателя глубоко не трогает то, что он пишет, он многое упорядочивает в угоду благозвучию и не отступает от правдоподобия, стремясь при этом, так как он не был свидетелем описываемых событий,

впасть в жалостный тон и затронуть им читателя. Так поступает тот, кто описывает исторические события. Но тот, кто изображает события современные и на кого несчастье наложило свой отпечаток, тот, конечно, воспользуется всеми указанными средствами, но не перейдет границы. Ему следует только преисполниться сострадания обязательно в соответствии со своими личными склонностями».

Мемуары Евстафия — новая ступень в развитии византийского историзма. Если авторы монументальных хроник за достоинство почитали анонимность, собственную авторскую безучастность, то теперь сострадание и гуманизм становятся чуть ли не главными категориями историка-мемуариста. Заставить читателя сопереживать, повлечь его в описываемую жизненную драму — вот **какая** задача приходит на место аккуратной погодной регистрации фактов.

Сильное трепетное чувство противопоставляет Евстафий скепсису и иронии некоего историографа-оппонента: истинный мемуарист «...не предается витиевато-шутливым жалобам как бы с целью сделать из воспроизведения чудовищных страданий украшения-побрякушки. Также и другие средства он будет применять умеренно и на свой собственный лад, не приукрашивая невероятные слухи, словно бесталанный летописец, не пользуясь и другим, что заставляет бездаря в его вполне понятном честолюбии поставить на первый план собственную ученость» (3.26—4.2). Таким образом, оппонентом Евстафия оказывается отнюдь не какой-нибудь безымянный анналист прошлого, а скорее историк-современник (непосредственный или в недалеком прошлом), ставящий себя в центр повествования и иронично-скептически оценивающий происходящие трагедии.

Драматизм исторического мировидения — черта, свойственная не одному Евстафию, но и другим историкам как его поколения, так и непосредственно ему предшествующего, — заставляет автора сосредоточиться на современности: «Недавно прошедшее время в большей мере, чем давнее, человеку, чуждому сострадания и далекому от опасности, дало бы основание для такого определения: „время великое, тяжкое, полное невероятных ужасов, проклятое, невыносимое, горчайшее, причина потоков слез“». Но «...тот, кто, как говорится, попал в сети и, подобно нам, запутался в обстоятельствах, тому, видимо, трудно подыскать столь точные названия для несчастий. К тому же пестрая цепь ударов судьбы, грозившая поглотить каждого несчастного в отдельности, и множество различных знамений отвлекают мысль от этой области» (4.26—31).

И история, сфокусированная в трагических эпизодах разорения цветущей Солуни, действительно предстает в мемуарах как «пестрая цепь ударов судьбы, грозящая поглотить каждого в отдельности»: «Город был так разрушен, что от былой его красоты и следа не осталось. Его стены были сметены с лица земли, святыни были полностью запятнаны, больше, чем отхожие места, городские здания были повреждены, имущество граждан частью расхищено, частью разбросано, одним словом, уничтожено, — как это надо будет назвать, если кто-нибудь вздумает и сможет перечислить все это по порядку?» (6.7—12).

Картина убийств и насилия иносказательно рисуется Евстафием в образе кровожадного зверя, истребляющего все живое на своем пути: «Это злое животное часто нападало на полураздетых людей, что избавляло его от труда вонзать свои зубы в одежды. Если же он нападал на солдат или на молодых людей в расцвете

сил, его острые когти вонзались в них и разрывали. Это было обычным: ведь он по-своему радуется таким телам, которые готовятся к нему и его ждут» (6.27—32). Будничность, обыденность творящегося зла, изображенная писателем, только усиливает трагизм повествования, построенного на вкраплениях зримых эпизодов описываемого ужаса: «Самым горестным зрелищем было, когда рядом с погибшими от разных причин взрослыми людьми повсюду лежали расprostертые трупы малых детей. Некоторых из них пронзили одновременно теми же руками, которые их держали» (8.5—8).

Время в таком изображении также становится «пестрой цепью ударов судьбы», а не равномерным чередованием хронологических отрезков. Образ вихря, смуты, калейдоскопа несчастий становится стержнем временного развития событий. Этой образной системе соответствует и коллективный образ героя — солунян, ставших жертвами несчастий: «Так, валящая толпа в стремительном беге превращалась в груды мертвецов, где все находилось в пестром и нелепом смещении: люди, лошади, мулы, ослы, на которых многие поместили поклажу с самым необходимым».

Однако Евстафию не свойственна апокалиптическая безысходность в понимании истории. Ему чуждо и морализаторство историков-монументалистов: «Автор не будет исходить из того, что грехи следует выставлять как причины несчастья, хотя историки разумно считают это своей задачей», — полемизирует Евстафий в Предисловии (4.14—16).

Евстафий четок в изложении принципов построения своего рассказа — сюжетное развитие подчиняется законам писательского творчества, авторски организовано и субъективно окрашено: «Исходным моментом

в построении этого сочинения послужит самое несчастье. Ведь было бы невероятным, чтобы кто-нибудь, попав в самую гущу бедствий, не придавал им значения с самого начала. Затем повествование обратится к сетованиям, к вескому порицанию и обличению прямого и побочного виновников несчастья и перейдет к понятному, ясному, а местами возвышенному изложению» (4.4—8). «Один раз оно начинается без прикрас, как бы по-деловому, в другой — более искусно и от времен, которые уместно вспомнить. К последующему оно перейдет связано и в порядке, который не всегда следует оставлять в стороне. Затем оно обязательно даст полную картину завоевания, потому что это и есть главная тема сочинения». Перед нами вырастает фигура историка-литератора, мастерски владеющего материалом и при этом со всей страстью относящегося к повествованию.

«Взятие Солуни» до описания собственно эпопеи осады и разорения города содержит историю прихода к власти императора Андроника I Комнина и его правления. Сочинение писалось уже после низвержения этого василевса и содержит резкую критику тирана, виновника создания положения в стране, приведшего к поражению сограждан. Андроник — один из самых ярких антигероев сочинения; эта отрицательная характеристика последнего императора Комнина доведена до еще большей степени порицания младшим современником Евстафий — Никитой Хониатом, на которого «Взятие Солуни» оказало очевидное влияние.

Впрочем, Евстафий не был склонен к критике императоров вообще; скорее наоборот — он выступал в защиту стабильности миропорядка. Его героем является Мануил I, изображенный воином, в тонах, близких к Иоанну Киннаму. Родовитость прославляется

Евстафием, и с этих позиций в мемуарах с почтением говорится об Алексее II (36.28—29). Высоко оцениваются солунским митрополитом и воинские достоинства: «добрым полководцем», мудрым воином предстает Лапард. Напротив, воинская несостоятельность, беспомощность составляют портретные черты почти карикатурного образа другого антигероя — солунского наместника Давида Комнина: плохой наездник, не знавший коня и разъезжавший по городу на ишаке, чуждый оружия, нелепо одетый в костюм, далекий от воинского облачения (82.6—12), этот чиновник, прятавшийся в момент боя от стрел и жары, позорно бежал, даже не прикоснувшись к мечу (102.3—10). Гражданские чиновники бюрократического аппарата, трусливые и алчные, подобные Давиду или Стефану Айохристофориту, вызывают резкое осуждение Евстафия. И в этом же с ним совпадут оценки Никиты Хониата.

С презрением относится Евстафий и к городской толпе, к черни. Евстафий выделяет три категории общества — воинов, духовенство и простолюдинов, народ (6.13—14). Одним из пунктов осуждения Андроника I Комнина являются как раз уступки столичному плебсу, его вожакам (42.2—21), и напротив — расправы со знатью (54.28; 56.14—16; 70.11—13). Резко осуждается солунским мемуаристом и столичная толпа, учинившая расправу с латинянами (34.21—30): ярко обрисованы грабежи, пожары, убийства, насилия над женщинами и детьми. Симпатии риторы здесь — на стороне жертв-иноземцев (36.3—5).

Евстафий вообще, в отличие от многих историков первой половины XII в. (Анна, Киннам), выделяется пролатинскими симпатиями. Да и в действительности после захвата норманнами Солуни он постоянно связан

с пришельцами, общается с ними (128.20—21; 150.9), снискав даже покровительство со стороны графа Алдуина (126.26—128.2). Пролатинские настроения — примета времени, характерная для правления Мануила I; и в этом мемуарист был близок «рыцарственному» монарху. По своим социальным воззрениям Евстафий может быть отнесен к слоям византийской интеллигенции, приверженным Комнинам, прежде всего, императору-воину Мануилу I, опиравшемуся на знать;¹⁸⁹ напротив, в числе противников оказываются гражданская чиновничья бюрократия, черное духовенство (критике которого посвящен памфлет Евстафия),¹⁹⁰ городское простонародье. Близость к идеологии феодального окружения Мануила сказывается и в общефилософских и исторических суждениях Евстафия: он превозносит власть Божественного Промысла, проявляющегося и в астрономических явлениях, а, как известно, Мануил был страстным приверженцем астрологии. Впрочем, Евстафию не чужды и элементы рационализма: он допускает независимость общеисторического развития от божественной воли. Люди здесь — сами творцы своей судьбы.

История для Евстафия Солунского — не только далекое прошлое, но и материал для изучения современности и даже прогнозов на будущее, отсюда — известный дидактизм его мемуаров; отсюда и сам жанр — мемуарный — его исторического труда. «Взятие Солуни» не исчерпывается чисто фактологической информативной исторической ценностью. Образные характеристики, эмоционально-чувственное восприятие действительности, изображение реальности в ее изменчивой подвижности, яркая передача накала страстей — все это делает Евстафия Солунского одним из замечательных авторов в истории византийской культуры.

Нередкие сравнения Евстафия с НИКИТОЙ ХОНИАТОМ (ок. 1155—1217) не случайны.¹⁹¹ Хониат знал Евстафия, писал о нем, пользовался его мемуарами при сочинении собственного исторического произведения. Взгляды обоих, нередко разнясь между собой, касаются многих общих моментов эпохи, а их художественный метод и система видения мира позволяет относить творчество обоих литераторов к вершинам византийской культуры вообще.

Родившийся в малоазийских Хонах, Никита довольно рано вместе со своим старшим братом — будущим известным ритором Михаилом Хониатом — оказывается в Константинополе, где и получает образование, а затем начинает постепенно продвигаться по лестнице государственной службы. Как и Евстафий, он начал путь снизу: после пребывания в провинции в начале 80-х гг. в качестве чиновника фиска (в Пафлагонии) стал императорским секретарем (*ὀλοφρακταεὺς*) при Алексее II. В этой же должности уже позже он участвовал в задунайских походах Исаака II Ангела. При этом императоре Никита дослужился до чина «грамматика» в ведомстве логофета дрома, а затем стал судьей вила, эфором, наконец, логофетом геникона и даже логофетом секретов — титул, по распространенному мнению, идентичный в то время высокому чину великого логофета. Впрочем, происходя из знатной семьи и занимая в дальнейшем высокие посты, Никита Хониат не принадлежал, по-видимому, к вершителям судеб страны, не был и доверенным советником василевсов, вроде Пселла. События захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. имели для писателя губительные последствия: потеряв все имущество, он вынужден был спасать себя и свою семью в Селимврии, чтобы затем, ненадолго вернувшись в столицу, искать покровитель-

ства при дворе Феодора I Ласкариса, переселившись в Никею, где и умер.

Как и Евстафию, прижизненный успех ритору принесло красноречие: его речи и письма, адресованные императорам, описывающие политические события современности, отличались высоким искусством стиля и языка.¹⁹² Но подлинной вершиной творчества Никиты Хониата стало его историческое произведение (*Χρονική διήγησις*),¹⁹³ рукопись которого он спасал, бросив все остальное имущество при бегстве из Константинополя в 1204 г.

«История» Никиты Хониата совмещает в себе обобщающие монографии о правлении Иоанна II, Мануила и Андроника Комнинов, императоров из династии Ангелов, с рассказом о собственных переживаниях, злоключениях, взлетах и падениях. В судьбе автора как бы концентрируется судьба государства, а жизнь империи состоит из сотен жизней отдельных людей. Падение Константинополя в 1204 г. представлялось крушением Византийской империи, оно стало и крушением личной судьбы Никиты и его близких: пешком, подвергаясь насмешкам черни, с малыми детьми на руках, потеряв все, семья историка уходила из столицы: «Излив подобным образом свои жалобы из переполненной скорбями души, мы отправились далее, с рыданием рассеивая по дороге слезы, как семена, и радостно хватаясь за соломинки надежды на изменение нашего положения к лучшему в том случае, если дойдем до своей цели...» (593.50—53).

В произведении индивидуализировано не только время, общий ход исторических событий, но и пространство, на котором они разворачиваются. С подчеркнутым вниманием автор относится к родным местам — Хонам, долине Менандра, к городу, где он слу-

жил — Филиппополю. Место действия «Истории» сопряжено с точками пересечения жизненных путей историка и участника событий.

Записки Хониата о пережитом, обобщенные в историческом повествовании о судьбах империи его поры, — плод многолетнего труда, начатого еще молодым наблюдательным писателем и продолжавшегося им затем неоднократно вплоть до зрелого возраста. Описав события византийской истории после смерти Алексея I Комнина вплоть до латинского завоевания столицы, Никита Хониат затем, узнав о поражении латинян в Болгарии через год после их триумфа в Константинополе, продолжил повествование: в существующем тексте рассказ доведен до 1206 г. (до похода Генриха против болгар) с приложением о памятниках искусства Константинополя, пострадавших от крестоносцев. Если начальные книги «Хроники» писались с использованием сочинений предшественников — Иоанна Киннама, Евстафия, то исторический материал, начиная с 80-х гг. — времени, когда Никита Хониат приступил к работе историографа, — передан на страницах сочинения «из первых рук». Все произведение разделено (вероятно, самим автором) на книги, посвященные правлению того или иного василевса (деление неравномерно). Однако вряд ли его можно назвать только монографическим описанием царствования, а тем более придворной хроникой.

Хотя в центре событий — правление монархов из династии Комнинов и Ангелов, их внутри- и внешнеполитические свершения, смысл истории у Никиты Хониата не сводится к результатам поступков хорошего или плохого правителя. Историк далек от однозначных личностных характеристик. Признавая в целом воинские доблести Мануила, он критически

относится к василевсу, самоуправному, безрассудно дерзкому, надменному, фактически поощрявшему злоупотребления, внутренняя политика которого привела в конечном счете к ослаблению государства. Напротив, отрицательный в своих основных чертах образ Андроника I Комнина не заслоняет, однако, положительных качеств этого императора, признаваемых историком: «Кратко сказать, если бы Андроник несколько сдерживал свою жестокость и не тотчас прибегал к раскаленному железу и мечу, если бы не осквернял постоянно свою царскую одежду каплями крови и не был неумолим в казнях, — чем он заразился у народов, среди которых жил во время своего долгого скитальчества, он был бы не последний среди царей из рода Комнинов, чтобы не сказать — не уступил бы им и сравнялся бы с ними. И от него можно было получить величайшие человеческие блага, потому что он не совсем перестал быть человеком, но, подобно вымышленным созданиям с двумя природами, будучи отчасти зверем, украшен был лицом человеческим» (353.24—33). В целом фигура императора лишается под пером Хониата божественного ореола, парадигматической идеализированности. Такие пороки, как своенравие, жестокость, зависть, алчность — неизменные спутники правящей персоны. Историк далек от критики самого принципа монархического строя; напротив, для него привлекательна стройность западной иерархической структуры общества. Но сам образ василевса оказывается у него «сниженным», развенчанным, лишенным мистического культа.

Пружиной исторического движения у Никиты Хониата оказывается переменчивая судьба — Тиха, которой подвластны и василевсы, и простые люди, и

воины, и монахи.¹⁹⁴ Представление о принципиальной вертикальной подвижности, взлетах и падениях при поворотах судьбы — основа исторического мировосприятия писателя. Еще плавно развиваются события, ничто не предвещает беды, а судьба уже занесла свой меч над протагонистами разворачивающейся драмы, — подобного рода ремарки характерны для историка. Трагическая ирония исторического процесса — наиболее остро ощущаемый нерв повествования Никиты Хониата. Военные сцены, битвы и осады, занимающие свое место в произведении, интересны не столько сами по себе, как у Вриенния или Киннама, но главным образом как проявление поворотных моментов судьбы. Еще идут мирные переговоры с крестоносцами, а корабли их уже готовы к осаде Константинополя: «Но в то время, как речь шла о мире, вдруг на возвышении показались латинские всадники, несшиеся во весь опор на царя (Алексея Мурчуфла), так что он, быстро поворотив коня назад, едва избежал опасности...» (568.70—73). Коловращение событий, когда каждое последующее вырастает из предыдущего — в продолжение или в отрицание его, — черта, свойственная композиционному развитию «Хроники» Хониата. Причинно-следственное сцепление эпизодов дополняется эффектом обратного действия, когда результат поступков героев оказывается противоположным по отношению к их замыслам.

Исследователями отмечались черты религиозного скепсиса у Никиты Хониата: в минуты спасения уповать приходится не столько на Бога, сколько на стены крепости; библейские образы, святые фризально помещаются в подчеркнуто сниженный бытовой контекст (сравнение священных хоругвей с молоком, притягивающим мух); осуждение вызывают

гадания, знамения, астрологические суеверия, любые проявления оккультизма — в виде ли гороскопов или в облике пророчествующих юродивых. В таком же духе говорится и о причинах разграбления латинянами Константинополя: «Сонливость и беспечность управлявших тогда ромейским государством сделали ничтожных разбойников нашими судьями и карателями. О всех этих событиях с царственным городом не было предуказано никаким знамением, ни небесным, ни земным, какие прежде во множестве являлись, предвещая людям бедствия и смертоносные наваждения зол. Ни кровавый дождь не шел с неба, ни солнце не обагрилось кровью, ни огненные камни не падали из воздуха, ни другого чего-либо необыкновенного в каком-нибудь отношении не было заметно» (586.67—75).

Сродни религиозному скепсису Никиты Хониата и политический скепсис, являющийся наиболее характерной чертой его мировоззрения. Происходит десакрализация идеи императорской власти, переосмысление значения цветových символов царя, когда золото становится цветом желчи, а пурпур — цветом крови исторических трагедий.¹⁹⁵ Политическим скепсисом окрашено отношение историка и к ведущим общественным группам его современности — от фаворитов царя, карьеристов-чиновников, бездарных полководцев-провинциальных наместников, обжор и стяжателей-церковных иерархов, до непостоянной, продажной, развращенной и одновременно морально задавленной городской толпы, со страстью свергающей своих вчерашних кумиров.

Показательным для эволюции византийской исторической мысли является повышенный интерес Никиты Хониата к аксессуарам повседневной обыденной

жизни, детальные описания обстановки, ритуала, даже натуралистических сцен народных возмущений, мятежей. Однако отношение к стихии народных движений у выходца из знатной семьи в целом негативное: Хонигат подчеркивает деструктивный характер этих волнений, являющихся, по мысли историка, неизменным атрибутом жизнедеятельности масс. Таковы в «Хронике» проявления стихии народных волнений и при мятеже Иоанна Тóлстого (526.34—527.56), и при низвержении Андроника Комнина: «Бог явил свой гнев, и не нашлось у Андроника средства к спасению. Его заключили в тюрьму, называемую Анема, наложили на его гордую шею две тяжелые цепи, на которых держат в железных ошейниках содержимых в тюрьме львов, и заковали его ноги в кандалы. Когда в таком виде его привели и представили царю Исааку, его осыпают ругательствами, бьют по щекам, толкают пинками, ему щиплют бороду, вырывают зубы, рвут на голове волосы. Затем отдают его на общее всем поругание, причем над ним издеваются и бьют его кулаками по лицу даже женщины, и особенно те, чьих мужей он умертвил или ослепил. Наконец, ему отрубили секирою правую руку и снова бросили его в ту же тюрьму, где он оставался без пищи и без питья, и ни от кого не видел ни малейшего попечения. А спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз, сажают на паршивого верблюда и с торжеством ведут по площади. Нагая, как у старого дерева, и гладкая, как яйцо, голова его была непокрыта, а тело прикрыто коротким рубищем. Жалкое то было зрелище, исторгавшее ручьи слез из кротких глаз. Но глупые и наглые жители Константинополя, и особенно колбасники и кожевники, и все те, которые проводят целый день в мастерских, кое-как живут починкою сапог и с трудом добывают себе хлеб иголкою, сбе-

жавшись на это зрелище, как слетаются весной мухи к покойнику и к салыным сосудам, нисколько не подумали о том, что это за человек, который так недавно был царем и украшался царскою диадемою, что его все прославляли как Спасителя, приветствовали благожеланиями и поклонами и что они дали страшную клятву на верность и преданность ему...» (349.91—350.23).

Для характеристики широты кругозора Никиты Хониата показательно его отношение к латинскому Западу. С одной стороны, мы встречаемся с традиционными идеями византийского «ромеоцентризма»; более того, латинское завоевание Константинополя стало причиной государственной и личной катастрофы автора. С другой стороны, именно к Западу апеллирует Хониат, говоря об упадке, внутренней коррозии византийского общества и государства. Ему импонирует западная иерархическая структура общества, рыцарственная верность, неведомая в бурлящей мятежами и переворотами Византии.

Выдающееся место в истории византийской исторической мысли принесло Никите Хониату искусство создания портретов исторических героев. Пожалуй, только Пселл является в этой области соизмеримым с Хониатом мастером. Герои Хониата — не статичные, с закрепленными свойствами, символы пороков или добродетелей, а характеристики историка — не каталог черт. Прежде всего, образ персонажа часто многопланов, сложен, даже противоречив. Таковы Мануил и Андроник: «Так раздражителен, суров и жесток был Андроник; неумолимый в наказаниях, он забавлялся несчастьями и страданиями ближних и, думая погибелью других утвердить свою власть и упрочить царство за своими детьми, находил в том особенное удовольствие. Тем не менее, однако же, он немало сделал

и хорошего и, при всех своих пагубных свойствах, не был чужд и добрых качеств. Как из тела змеи можно достать драгоценное средство против всех болезней и спасительное противоядие, как среди колючих спиц можно сорвать благоухающую розу, из чемерицы и лютика — добыть приятную пищу для скворцов и перепелов, — так было и с ним...» (324.1—11). Неслучайно лейтмотивом обрисовки Андроника становится образ Одиссея. При этом главные герои подаются историком в развитии их характеров — они изменяются с изменением их судьбы.

Взгляды Хониата-историка проникнуты человечностью — человечностью неоднозначных оценок, человечностью сострадания и иронии, уместающихся в едином сознании эпохи рационализма и скепсиса. Воплему души поруганного человека предстает описание разграбления Константинополя: «...всякий должен был опасаться за свою жизнь: на улицах плач, вопли и сетования, на перекрестках рыдания, во храмах жалобные стоны; мужья изнывают от горя, жены кричат, — их тащат, порабащают, отрывают от тех, с кем они прежде были соединены телесно, и насилуют! Знатные родом бродили опозоренными, почтенные старцы — плачущими, богатые — нищими. Так — на площадях, так — в закоулках, так — в открытых общественных местах, так — и в тайных убежищах! Не было места, которого бы не отыскиали, или которое могло бы доставить защиту старавшимся как-нибудь спастись; но везде и все было исполнено всякого рода зла» (574.44—575.50). Однако не раз в изображении Никиты Хониата смирение духа — традиционная христианская добродетель — уступает место личной отваге, решительности поступка героя: сам автор во время бегства из столицы вступается за дочь судьи, уведенную завоевателя-

ми, и спасает ее, рискуя собственной жизнью. Этические принципы историка воплощались им в творчестве и утверждались в самой жизни.

* * *

Историки в целом различных социальных позиций, различного происхождения — такие, как Пселл, Евстафий Солунский или Никита Хониат — имеют общим то, что их мастерство историка и писателя намного превосходит обычные «стандарты» тривиальных хроник современной им исторической литературы. Неслучайны поэтому нередкие в научной литературе сопоставления их творчества с западноевропейскими гуманистическими тенденциями, как и само распространенное понятие «византийских ренессансов».

И все-таки Пселл и Анна, Евстафий и Никита Хониат — средневековые писатели и историки, средневековые как по методу исторического и философского видения, так и по своим социально-политическим и художественным принципам. В чем же дело? Думается, ответ имеет две стороны. Конечно, тот тип культуры, который представляли византийские историки рассмотренного периода, не идентичен в целом ренессансному. Отмечаемая исследователями и свойственная их произведениям сложность, равнозначность утверждения и отрицания (Пселл, Никита Хониат) не носит, по-видимому, того диалогического характера, который отличает тип культуры итальянского гуманизма. Обязательная дихотомичность картины мира у византийца не «снимается» — как в возрожденческом диалоге — даже имеющей место и в византийской литературе своеобразной игрой антиномий. Анти-

чность и христианство — исходный «материал» Ренессанса — не имели в средневековой Византии той исторической дистанции, которая позволила бы включить их в диалог (а для всякого диалога дистанция необходима): оба элемента непосредственно входили в византийскую культуру, как бы современники не оценивали место каждого из них в ней. Отмечаемые в некоторых случаях черты кризиса средневековой религиозности у отдельных византийских авторов никак не отменяют христианского характера византийской культуры.

Но, вероятно, у проблемы есть и другая сторона. Не слишком ли мы ограничиваем возможности культуры средних веков? Считая ее основными свойствами стереотипность, традиционализм, внеличностную абстрактность и нормативность, не становимся ли мы сами жертвами стереотипа ее восприятия? Неслучайно более пристальное изучение творчества отдельных византийских историков — тех же Пселла, Евстафия или Никиты Хониата — нет-нет, да и заставляет говорить о «несредневековом», «невизантийском», нетипичном и т. д. в их творчестве. Конечно, эти вершины средневековой культуры, каковыми является творчество перечисленных авторов, возвышаются над ее общим уровнем. Но ведь и они составляют ее *непосредственное содержание*. А приняв во внимание тенденции исторического развития средневековья, вряд ли можно настаивать и на маргинальном характере тех элементов культуры, которые не укладываются в ее упрощенную схему, а имеют выход в будущее. С учетом этого средневековая историография, литература, культура в целом оказываются значительно богаче, содержательнее и глубже того явления, по контрасту с которым оп-

ределяют характерные черты Возрождения. Дальнейшим развитием этих тенденций, пусть не без потерь, стала историческая литература палеологовской эпохи, нередко характеризуемой как «поздневизантийский гуманизм».

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Theophanis Chronographia, ed. C. de Boor. v. 1—2. Lipsiae, 1883—1885; пер. И. С. Чичурова.

² Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV—нач. IX в.) — «Древнейшие государства на территории СССР. 1981» М., 1983. С. 5—146; Любарский Я. Н. Феофан Исповедник и источники его «Хронографии» (К вопросу о методах их освоения). — ВВ, 1984. Т. 45. С. 72—86.

³ Чичуров И. С. Место «Хронографии»... С. 39—40. См. полемику последних лет по вопросу об аутентичности авторства Феофана: Mango C. Who wrote the Chronicle of Theophanes? — ЗРВИ, кн. 18. 1978. С. 9—17; Чичуров И. С. Феофан Исповедник — публикатор, редактор, автор. — ВВ. Т. 42. 1981. С. 78—87.

⁴ Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica, ed. C. de Boor. Lipsiae, 1880. S. 1—77.

⁵ Tusculum-Lexikon. Munchen, 1982. S. 558—560.

⁶ Nicephori... S. 79—135.

⁷ Пиотровская Е. К. Краткий археографический обзор рукописей, в состав которых входит текст «Летописца вскоре» константинопольского патриарха Никифора. — ВВ, 1976. Т. 37. С. 247—254.

⁸ Самодурова З. Г. Хроника Петра Александрийского. — ВВ, 1961. Т. 18. С. 150—197.

⁹ Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken, Bd. 1—3. Wien, 1975—1979.

¹⁰ Georgii Monachi Chronicon, ed. C. de Boor, P. Wirth, v. 1—2. Stuttgartiae 1978; ср. Георгий Амартол. Хронограф. Изд. Э. Г. фон Муральт. СПб., 1859.

¹¹ Beck H.-G. Zur byzantinischen «Monchschronik». — Speculum historiae. Freiburg, Munchen, 1965. S. 188—197.

¹² Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, ed. I. Bekker. Bonnæ, 1938, S. 761—924: cf. Leonis Grammatici Chronographia, ed. I. Bekker. Bonnæ, 1842, S. 1—228; Theodosii Meliteni qui fertur chronographia. Monumenta saecularia, Bd. III (1). München, 1859. S. 143—238; пер. Т. В. Поповой.

¹³ Kresten O. Phantomgestalten in der byzantinischen Literaturgeschichte. — JOB 25, 1976. S. 208—212.

¹⁴ Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Bd. I. München, 1978. S. 354—357.

¹⁵ Jenkins R. The Chronological Accuracy of the «Logothete» for the Years A. D. 867—913. — DOP 19, 1965. P. 89—112.

¹⁶ Вопрос об идентичности его с известным агиографом Симеоном Метафрастом, родившимся в знатной семье, по-видимому, еще при Льве VI, т. е. до 912 г., и бывшим патриkiem и протасекритом, а затем — магистром и логофетом дрома, следует считать открытым.

¹⁷ Moravcsik Gy. Byzantinoturcica, Bd. 1. Berlin. 1958. S. 270.

¹⁸ Истрин И. М. Книги и временные и образные Георгия Мниха. Т. 2. Пгр., 1722.

¹⁹ In: Theophanes Continuatus... S. 603—760.

²⁰ Grégoire H. Un nouveau fragment du «Scriptor incertus de Leone Armenio». — Byz. 11, 1936. P. 417—427; Browning R. Notes on the «Scriptor incertus de Leone Armenio». — Byz. 35, 1965. P. 406—411.

²¹ Sreznevskij V. I. Slavjanskij perevod chroniki Simeona Logofeta, Intr. by G. Ostrogorsky. Pref. by I. Dujčev. London, 1971; Sorlin I. La diffusion et la transmission de la littérature chronographique byzantine en Russie pré-mongole de XI^e au XIII^e s. — TM 5, 1973. P. 385—408.

²² Lemerle P. Première humanisme byzantin. Paris, 1971.

²³ Excerpta historica iussu imperatoris Constantini Porphyrogeniti confecta, ed. U. Ph. Boissevain, C. de Boor, Th. Büttner-Wobst, v. 1—4. Berolini, 1903—1910.

²⁴ Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Ed. Gy. Moravcsik, R. Jenkins. V. 1. Washington, 1967; V. 2. London, 1962.

²⁵ Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae, rec. I. Reiske, v. 1—2. Bonnæ, 1829—

1830; Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies, ed. A. Vogt, t. 1—2. Paris, 1935—1940; пер. Л. А. Фрейбегр.

²⁶ Constantino Porfirogenito. De thematibus, ed. A. Pertusi. Città del Vaticano, 1952.

²⁷ Theophanes Continuatus... S. 1—481.

²⁸ Bury J. B. The Treatise De administrando imperio. — BZ 15, 1906. S. 572.

²⁹ Копией с нее стал список XIII в., по которому и было осуществлено существующее издание.

³⁰ Каждан А. П. Из истории византийской хронографии X в. — ВВ. Т. 19, 1961. С. 91.

³¹ Hunger H. Op. cit. S. 343.

³² Iosephi Genesisii regum libri quattuor, rec. A. Lesmuller-Werner, I. Thurn. Berolini, 1978.

³³ Jenkins R. The Classical Background of the Scriptores post Theophanem. — DOP 8, 1954. P. 15.

³⁴ Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri decem, rec. C. B. Hase. Bonnae, 1828.

³⁵ Hunger H. Op. cit. S. 370.

³⁶ Sykoutres I. Λέοντος τοῦ Διακόνου ἀνέκδοτον ἐγκώμιον εἰς Βασιλεῖον τὸν Β. — Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας τῶν Ἑλληνικῶν Σπουδῶν Т. 10, 1933.

³⁷ Иванов С. А. Полемическая направленность «Истории» Льва Диакона. — ВВ. 43, 1982. С. 74—80.

³⁸ Theodosius Diaconus. De Creta capta, ed. H. Criscuolo. Leipzig, 1979. P. 1. 14—15.

³⁹ Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. 1. S. 113.

⁴⁰ Lampros Sp. Ἱστορικὰ μελετήματα. Ἀθήνησιν, 1884. Σ. 129—141.

⁴¹ Moravcsik Gy. Ἀνώνυμον ἀφιερωτικὸν ποίημα Περί τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου α'. — Εἰς μνήμην Κ. Ἀμαντου. Ἀθήνησιν, 1960. Σ. 1—10.

⁴² Pertusi A. Panegirici epici. Ettal, 1959.

⁴³ Panagiotakis N. Μ. Θεοδόσιος ὁ Διάκονος καὶ τὸ ποίημα αὐτοῦ « Ἀλωσις τῆς Κρήτης ». — Ἡράκλειον, 1960.

⁴⁴ Карышковский П. О. К истории балканских войн Свято-слава. — ВВ. 1953. Т. 7. С. 224—229.

⁴⁵ Лев Диакон. История. Приложение. М., 1988. С. 133—135.

⁴⁶ Grégoire H. Une épigramme gréco-bulgare. — Byzantion. 1934. Т. 9. Р. 795—799.

⁴⁷ Бибиков М. В. Иоанн Мелитинский и Иоанн Геометр: Проблема идентификации. — Българского средневековие. София, 1980. С. 65—66.

⁴⁸ Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, Berolan et Novi Eboraci, 1973, 282.64—283.90.

⁴⁹ Васильевский В. Г. К истории 976—986 гг. (Труды. Т. II, вып. 1). СПб., 1909, с. 106 сл.; Ф. И. Успенский. Русь и Византия в X в., Одесса, 1888, с. 28; его же, Значение походов Святослава в Болгарию, ВДИ. 1939, 4, с. 94—95; П. О. Карышковский. К истории балканских войн Святослава, ВВр, 7, 1953, с. 224—229.

⁵⁰ ГИВИ, V. С., 1964; VI, С., 1965.

⁵¹ Васильевский В. Г. Ук. соч., с. 112—114; K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur, München, 1897, S. 731.

⁵² Beck H. G. Kirche und theologische Literatur in Byzanz. München, 1958, S. 553.

⁵³ Scheidweiler F. Studien zu Johannes Geometres, BZ, XLV, 1952, S. 307. Известна печать Иоанна, митрополита Мелитины, первой половины XI в.: V. Laurent. Le Corpus des sceaux de l'Empire Byzantin, t. V (1), Paris, 1963, p. 1963, p. 315, N 434. В данном случае это могут быть разные лица, или печать следует отнести ближе к X в.

⁵⁴ Васильевский В. Г. Ук. соч., с. 115.

⁵⁵ Scheidweiler F. Op. cit., S. 308.

⁵⁶ Ibid., S. 309, Anm. 4.

⁵⁷ Тексты произведений Иоанна Геометра приводятся по изданию: J.-P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 106, Paris, 1863.

⁵⁸ Ср. стихотворение Иоанна Геометра на смерть Константина Багрянородного (940. А), где есть и тема света.

⁵⁹ Grégoire H. Une épigramme gréco-bulgare. Byz., IX. 1934, p. 795—799.

⁶⁰ Scheidweiler P. Op. cit., S. 295.

⁶¹ Speck P. Zur Datierung des sogenannten Paradisus. — BZ. 58, 1965. S. 333—336.

⁶² Beck H.-G. Op. cit. S. 67, 158.

⁶³ Laurent V. Le Corpus... t. V (2). Paris, 1965, p. 328. N 1499.

⁶⁴ Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1915. Т. 3; Лопарев Х Житие св. Евдокима праведного. СПб., 1893, Он же Византийские жития святых VIII—IX вв // ВВ 1910. Т. XVII; Никитин П. В. О некоторых греческих текстах житий святых // Зап. Имп. Акад. наук. Ист. фил. отд., сер. 8. 1895. Т. 1; Он же. О Житии Стефана Нового // Известия Императорской Академии Наук. Сер. 6. 1912; Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917; Papadopoulos Kerameus A. 'Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας. М., 1917; St.-Petersburg, 1897—1898. Т. IV—V; Latyšev V V Menologii anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt St.-Petersburg, 1912. Т. 2.

⁶⁵ Полякова С. В Византийские легенды как литературное явление // Византийские легенды. Л., 1972. С. 248, 260—262 со ссылкой на: Ключевский В. О. Жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 432 и сл. Cf.. Magdalino P. The Alternatives to Hagiography in Twelfth Century // XVIIIth Intern. Congress of Byzantine Studies. Res. comm. Moscow, 1991. Т. 2. Р. 693; Mentzou Meimaris C. The Life of Saint's Biographers in the Middle and Late Byzantine Periods // Septième Congrès Intern. d'études du Sud-Est Européen. Rapp. Athènes, 1994. P. 552.

⁶⁶ Mertel H. Die biographische Form der griechischen Heiligenlegenden. Diss. München, 1909. S. 90 ff.; Шестаков Л. Исследования в области греческих народных сказаний о святых. Варшава. 1910. С. 104 и сл.; Лопарев Хр Греческие жития святых VIII—IX вв., Пг., 1914. С. 16 и сл.

⁶⁷ Ševčenko I. Hagiography of the Iconoclast Period // Iconoclasm. Birmingham, 1977. P. 121 sq.

⁶⁸ Лопарев Хр. Житие св. Евдокима праведного. СПб., 1893 (ВВ. 1897. Т. IV. С. 355—356).

⁶⁹ Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1977. S. 699.

⁷⁰ Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1915. Т. III. С. 74. 11—14; 76. 8—9; 16—24.

⁷¹ Delehaye H. Die hagiographischen Legenden. München, 1907. S. 25; cf.; Dorn E. Der sundige Heilige in der Legende des Mittelalters. München, 1967. S. 121—ff.

⁷² Dvornik F. The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew. Cambridge (Mass.), 1958; Чичу

ров И. С. «Хождение апостола Андрея» в византийской и древнерусской традиции // *The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow*. Thessaloniki, 1992. P. 195 sq.

⁷³ Ryden L. *The Bride-Shows at the Byzantine Court—History or Fiction*. // *Eranos*. 1985. Vol. 83; *Idem*. *New Forms of Hagiography: Heroes and Saints* // *The 17th Intern. Byzantine Congress*. *Mein Papers*. N. Y., 1986; *Idem*. *Byzantine Hagiography in the Ninth and Tenth Centuries: Literary Aspects* // *Kungl. Human. Vetensk.-Sam.* Uppsala, 1986; *Idem*. *The Revised Version of the Life of St. Philaretos the Merciful and the Life of St. Andrew Salos* // *AB*. 1982. T. 100; *Rosenquist J. O.* *The Life of St. Irene Abbess of Chrysobalanron*. Uppsala, 1986.

⁷⁴ *The Byzantine Saint* / Ed. by S. Hackel. L.; Birmingham, 1981. Ср.: Рудаков А. П. Очерки...

⁷⁵ Ковалевский И. Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской церкви. М., 1902; *Hilpisch P.* *Die Torheit um Christi Willen* // *Zeitschrift fur Askese und Mystik*. 1931. T. 6. S. 121; *Benz A.* *Heilige Narrheit* // *Kyrios*. 1938. T. 3; *Ryden L.* *Das Leben des Heiligen Narren Symeon von Leontios von Neapolis*. Uppsala, 1963; *Idem*. *Bemerkungen zum Leben des Heiligen Narren Symeon von Leontios von Neapolis*. Uppsala, 1970; *Magdalino P.* *The Byzantine Holy Man in the 12th C.* // *The Byzantine Saint*.

⁷⁶ *Kazhdan A.* *Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth Centuries* // *DOP*. 1990. Vol. 44.

⁷⁷ *Van den Gheyn I.* *Acta Graeca SS. David, Symeons et Georgii* // *AB*. 1899. T. 18. P. 252. 10—11; cf. *Sevcenko I.* *Hagiography* P. 117—118.

⁷⁸ *Ehrhard A.* *Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche*. Leipzig, 1937—1952. Bd 1—3; *Alexander P.* *Secular Biography at Byzantium* // *Speculum*. 1940. Vol. 15; *Munititz J. A.* *Self-Canonisation: the Partial Account of Nikephoros Blemmydes* // *The Byzantine Saint* P. 164—168; *Idem*. *Hagiography and Autobiography in the 13th Century* // *XVIIIth Intern. Congress of Byzantine Studies*. Res. comm. T. 2. P. 798—799.

⁷⁹ Сравн.: Шестаков Л. Указ. соч. С. 104 и сл.

⁸⁰ Иванов С. А. Византийское юродство. М., 1995.

⁸¹ *Mango C.* *Diabolus Byzantinus* // *Homo Byzantinus*. *Papers in honour of A. Kazhdan*: *DOP*. 1991. Vol. 47.

⁸² Михаил Пселл. Хронография. М., 1978. С. 232.

⁸³ Там же. С. 233.

⁸⁴ Любарский Я. Н. Михаил Пселл. Личность и творчество. М., 1978. С. 175.

⁸⁵ Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzantion. Ed. E. Renauld, t. 1—2. Paris, 1926—1928; пер. Я. Н. Любарского.

⁸⁶ «...император Василий умер, когда я был младенцем, Константин — когда я только изучал начатки наук...»; «Эту погребальную процессию видел и я, в то время еще безбородый, только обратившийся к поэтическим произведениям»; «Мне было тогда 16 лет, и я только что закончил слушать поэмы и с наслаждением погрузился в искусство слова».

⁸⁷ «...в те времена занимались науками не с какой-то посторонней целью, но интересовались ими ради их самих. Ныне, однако, большинство людей относится к образованию совсем по-иному: они признают первой причиной ученых занятий пользу и, более того, ради нее одной науками интересуются, причем сразу же от них отворачиваются, если не достигают цели».

⁸⁸ Michaelis Attaliothae Historia, rec. I. Bekker. Bonnæ, 1853.

⁸⁹ Каждан А. П. Социальные воззрения Михаила Атталиата. — ЗРВИ 17, 1976. С. 45.

⁹⁰ Ioannis Scylitzæ Synopsis historiarum, rec. Thurn. Berolini et Novi Eboraci, 1973.

⁹¹ Скилицей составлено еще адресованное Алексею III Комнину юридическое сочинение по брачному праву: *Zepi J. et. P. Jus Graecoromanum*. Т. 1. Aalen, 1962. P. 319—321.

⁹² Каждан А. П. Социальные воззрения... С. 41—42.

⁹³ Tsolakes E. Th. 'Η συνέχεια Χρονογραφίας του 'Ιωάννου Σκυλίτη. Θεσσαλονίκη, 1968.

⁹⁴ Hunger H. Op. cit. S. 392.

⁹⁵ Tsolakes E. Th. Op. cit. P. 177.23—24.

⁹⁶ Paris. Suppl. gr. 467 (XVII в.)

⁹⁷ Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzæ opera..., rec. I. Bekker, v. 1—2. Bonnæ, 1838—1839.

⁹⁸ Nicephori Bryennii Historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier. Bruxelles, 1975; пер. Т. В. Поповой.

⁹⁹ Ibid., 235.21; cf. 215.30; 245.11; 277.5.

¹⁰⁰ Anne Comnène. Alexiade, ed. B. Leib, t. 1—4. Paris, 1937—1976; пер. Я. Н. Любарского.

¹⁰¹ Ioannis Cinnami epitome rerum..., rec. E. Meineke. Bonnae, 1836; пер. под ред. В. А. Карпова.

¹⁰² *Hunger H.* Op. cit. S. 409.

¹⁰³ *Banhégyi G.* Kinnamos ethopoiája. Magyargörög tanulmányok. 23. Budapest, 1943. P. 6.

¹⁰⁴ *Chalandon F.* Les Comnènes. V. 2. P. 1. Paris, 1912, p. XV; Neumann C. Griechische Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jh. Leipzig, 1888. S. 94; Jorga N. *Medaillons byzantins.* — Byz. 2. 1925 (1926). P. 283—284.

¹⁰⁵ *Nicetae Choniatae Historia*, ed. J.-L. van Dieten. Berolini et Novi Eboraci, 1975, p. 1. S. 331.

¹⁰⁶ *Beck H.-G.* Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1962. S. 627f.

¹⁰⁷ Ioannis Zonarae Annales, rec. M. Pinder, t. 1—3. Bonnae, 1841—1897; Ioannis Zonarae Epitome Historiarum, ed. L. Dindorf, v. 1—6. Lipsiae, 1868—1875.

¹⁰⁸ *Constantini Manassis Breviarium historiae metricum*, rec. I. Bekker. Bonnae, 1837.

¹⁰⁹ *Mazal O.* Der Roman des Konstantinos Manasses. Wien, 1967.

¹¹⁰ *Michaelis Glycae Annales*, rec. I. Bekker. Bonnae, 1836.

¹¹¹ *Krumbacher K.* Michael Glykas. SBAW, 1894, H. 3. München, 1895.

¹¹² *Tsolakes E. Th.* Μιχαήλ Γλυκά Στίχοι οὗς ἔγραψε καθ' ὃν κατεσχέθε καιρὸν. Θεσσαλονίκη, 1959.

¹¹³ *Пападимитриу С. Д.* Феодор Продром. Одесса, 1905. с. 404.

¹¹⁴ *Каждан А. П.* Два новых византийских памятника XII столетия. — ВВ, XXIV, 1964. с. 77.

¹¹⁵ *Каждан А. П.* Ук. соч., с. 66—67.

¹¹⁶ Хэранднер не дает точной даты свадьбы Алексея — сына Никифора Форвина, которой посвящено одно из «Исторических стихотворений» (№ 43; см. с. 403). Эпиталамии по этому случаю считались первыми произведениями Продрома (1118).

¹¹⁷ *Каждан А. П.* Ук. соч., с. 68.

¹¹⁸ *Каждан А. П.* Цвет в художественной системе Никиты Хониата. — В кн.: Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. М., 1973. с. 132 сл.

¹¹⁹ *Hunger H.* Der byzantinische Kalz-Mäuse-Krieg. Graz—Wien—Köln, 1968. S. 51 ff.

¹²⁰ Pseudo-Luciano. Timarione, ed. R. Romano. Napoli, 1974.

¹²¹ Византийский сатирический диалог. Л., 1986. С. 30.

¹²² Полякова С. В. Из истории византийского романа. М., 1979; Алексидзе А. Д. Мир греческого романа XIII—XIV вв. Тбилиси, 1979.

¹²³ Византийская любовная проза. М., 1995. С. 89 и сл.

¹²⁴ Theodori Prodrumi De Manganis. Padova, 1972.

¹²⁵ Gautier P. Michel Italicos. Lettres et discours. Paris, 1972.

¹²⁶ Nicephorus Basilaca. Orationes et epistolae, ed. A. Garzya. Leipzig, 1984. P. 84 sq.

¹²⁷ Ioannes Tzetzes. Historiae. Rec. P. A. M. Leone. Napoli, 1968. «Книга историй» Иоанна Цеца, разделенная со времени первого издания в 1546 г. на 13 частей — по тысяче стихов в каждой, — получила название Chiliades — «тысячи» (далее в тексте — Chil.).

¹²⁸ Новое издание писем: Ioannes Tzetzes. Epistulae. Rec. P. A. M. Leone. Leipzig, 1972 (далее в тексте — Ep.).

¹²⁹ Краткие сведения о его жизни и сочинениях см. Krumbacher K. Geschichte der byzantinische Literatur. Munchen, 1897, 526 ff. Ему посвящены и старые монографии: H. Giske. De Ioannis Tzetzae scriptis ac vita, Diss. Rostok, 1881; G. Hart. De Tzetzarum nomine, vitis, scriptis. — Jahrbucher f. Class. Philologie 12 Suppl., Lipsiae, 1881.

¹³⁰ Напр., Васильевский В. Г. Введение в житие св. Стефана Сурожского. — Труды, III. Пгр. 1915. Из новых работ укажем: Каждан А. П. К характеристике русско-византийских отношений в современной буржуазной историографии (1947—1957). — Международные отношения России до XVII в., М., 1961. С. 16—17; Его же. Византийский податный сборщик на берегах Киммерийского Воспора в конце XII в. — Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. М., 1963. с. 96—97.

¹³¹ Так, В. В. Латышев, опубликовавший свод древнегреческих и римских источников, в число единичных фрагментов византийских авторов XII в., комментировавших античные памятники, включил и выдержки из комментариев Цеца к Ликофрону: Латышев В. В. Scythica et Caucasica. — Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. I. СПб., 1890. С. 400 сл.

¹³² См. Каждан А. П. К истории византино-кавказских связей на рубеже XI и XII веков. — ИФЖ, 1967, 1/36, с. 175; Gautier P. La curieuse ascendance de Jean Tzetzes, — REV 28, 1970, p. 212.

¹³³ Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. Berlin, 1958, p. 303; ср. Е. И. Соломоник. Про значения термина «тавроскифи». — Ап УРСР, II, 1962, с 156—157.

¹³⁴ Garzya A. Quattro epistole di Niceforo Basilace. — BZ 56, 1963, 230; 12—13. Локализация: Wirth P. Wohin ward Nikephoros Basilakes verbannt. — BF 1, 1966, 390—391.

¹³⁵ Ioannes Cinnamus. Epitome rerum Rec. A. Meineke. Вонпае, 1836, p. 218.7; ср. Фрейденберг М. М. Труд Иоанна Киннама как исторический источник, — ВВ, 16, 1959, 37, пр. 88.

¹³⁶ См. Harder Ch. De Ioannis Tzetzae Historiarum fontibus quaestiones selectae. Kiel, 1886, p. 9.

¹³⁷ Gautier P. Le Typikon du Christ Sauveur Pantocrator. Paris, 1974. (REV 32, 1974), 27, n. 5.

¹³⁸ Атрибуция — в рецензии А. П. Каждана на издание писем: ВВ 34, 1973, 289. Г. Моравчик (Byzantinoturcica, I, 342) ошибочно считает их узами.

¹³⁹ См. Moravcsik G. Byzantinoturcica. II, p. 18—19, где эта фраза анализируется как тюркская.

¹⁴⁰ Hunger H. Zum Epilog der Theogonie des Johannes Tzetzes. — BZ. 46, 1953 (далее в тексте — Theog.), p. 302. Другая часть эпилога: Wendel C. Das unbekannte Schlustück der Theogonie des Tzetzes. — BZ. 40, 1940, p. 24—26.

¹⁴¹ Moravcsik G. Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Ioannes Tzetzes. — BNJ 7, 1930, p. 361.

¹⁴² Ibid., 362; Абаев В. И. (Alanica — Известия АН СССР, VII серия: Отд. общественных наук, № 9, 1935, с. 889) считает его арабским.

¹⁴³ Ср. Moravcsik G. Barbarische Sprachreste p. 364—365.

¹⁴⁴ Об этом см. Абаев В. И. Указ. соч., с. 888—894.

¹⁴⁵ Трубочёв О. Н. Temarundam «Matrem maris». К вопросу о языке индоевропейского населения Приазовья. — Античная балканистика, 2. М., 1975. С. 42 (ротапринт).

¹⁴⁶ О значении схоли к «Историям» Цеца см. Leone P. Gli scoli alle «Historiae» di G. Tzetzes. — Studi Italiani di Filologia classica, XXXIV, fascic. 2, 1962—1963. p. 190 sq.

¹⁴⁷ См. Moravcsik G. Byzantinoturcica, II, 154.

¹⁴⁸ *Gyorffy Gy.* Καρμαλουκ. — *Acta antiqua Academiae scientium Hungaricae*, 1962. 10, p. 413—415.

¹⁴⁹ См. *Васильевский В. Г.* Введение в житие св. Стефана Сурожского. — Труды III, Пгр. 1915.

¹⁵⁰ *Haussig H. W.* Theophylakts Exkurs uber skythischen Volker. — *Byz.* 23, 1953, 327, n. 165.

¹⁵¹ Такая градация значений зафиксирована в топонимах: см. *Толстов С. П.* Города гузов (III. «Балык» — город и «балык» — рыба), — *СЭ*, 1947, № 3, 72 сл.

¹⁵² «Сиаха» (Σιάχα) — по старому изданию: *Ioannis Tzetzae Historiarum variarum Chiliades. Rec. Th. Kiesslingius Lipsiae*, 1826. XII. 857 p.

¹⁵³ См. *Harder Ch.* *Op. cit.*, p. 41—42.

¹⁵⁴ О литературных источниках такого представления см. *ibid.*, p. 15.

¹⁵⁵ См. *Moravcsik G.* *Barbarische Sprachreste...*, 360, n. 1.

¹⁵⁶ *Herodotus IV*, 1 sq., 18 sq.

¹⁵⁷ *Мошин В.* Указ. соч. — *BS*, 11, p. 32; *Левченко М. В.* Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956, с. 425.

¹⁵⁸ *Феодалная Россия во всемирно-историческом процессе. М.*, 1972, с. 235—236.

¹⁵⁹ *Regel W.* *Fontes rerum byzantinorum*, I (1). *Petropoli*, 1892, 142.7—14.

¹⁶⁰ *Tafel Th.* *Eustathii Thessalonicensis Opuscula. Amsterdam*, 1964. 200.65 sq.

¹⁶¹ *Leone P.* *Ioannis Tzetzae Historiae. Napoli*, 1968, VIII.646 sq.; XII.896 sq.

¹⁶² *Regel W.* *Op. cit.*, I (1), 94.30.

¹⁶³ *Кунн*. 115.18—19.

¹⁶⁴ *Regel W.* *Op. cit.*, I (1), 95.15.

¹⁶⁵ *Ibid.*, 103.31.

¹⁶⁶ *Ibid.*, 40.13—15.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 81.9.

¹⁶⁸ *Kyriakidis S.* *Eustazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica. Palermo*, 1961, 56.25—30.

¹⁶⁹ *Browning R.* *A New Source on Byzantine-Hungarian Relations in the XII-th Cent.* — «*Balkan Studies*», 1961, 2, 191.156—158.

¹⁷⁰ *Bernardinello S.* *Theodori Prodromi De Manganis. Padova*, 1972, VI.342—7.

- ¹⁷¹ *Lampros Sp. Op. cit.*, I.323.3 sq.
- ¹⁷² *Ibid.*, 321.5 sq.
- ¹⁷³ *Ibid.*, II. 144.14—23.
- ¹⁷⁴ *Heisenberg A.* Neue Quellen zur Geschichte des Lateinischen Kaisertums- und Kirchenunion, III: Der Bericht des Nikolaos Mesarites über die politischen und kirchlichen Ereignisse des Jahres 1214. München, 1923, 11.7—16.
- ¹⁷⁵ *Vasiliev A.* Mesarites as a Source. — «Speculum», 1938, XIII, N 2, p. 181.
- ¹⁷⁶ *Lampros Sp. Op. cit.*, II.5.5—7.
- ¹⁷⁷ *Heisenberg A.* Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Comnenos. Würzburg, 1907, 21.11—15.
- ¹⁷⁸ *Ibid.*, S. 58.
- ¹⁷⁹ *Van Dieten J.-L.* Nicetae Choniatae orationes et epistolae. Berolini et Novi Eboraci, 1972, 93.18 sq.
- ¹⁸⁰ *Пашуто В. Т.* Ук. соч., с. 57 и сл., 186 и сл.
- ¹⁸¹ *Beck H.-G.* Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971; *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1, 2.
- ¹⁸² *Pignani A.* Parafrasi o metafrasi (a proposito della Statua Regia di Niceforo Blemmida). — Atti Accad. Pontan., 1976, v. 24, p. 219—225; *Dieten J.-L. van.* Bemerkungen zur Sprachen der sog. vulgargriechischen Niketasparaphrase. — Byzantinische Forschungen, 1979. Bd. 6. S. 37—77; *Hunger H.* Anonyme Metaphrase zu Anna Komnene. Alxias, XI—XII. Wien, 1981.
- ¹⁸³ Anne Comnene. Alexiadae / Ed. B. Leib. P., 1945. Т. 3.
- ¹⁸⁴ Характерно, что подобным образом эти этнонимы заменяются и в метафразе «Истории» Никиты Хониата: *Dieten J.-L. van. Op. cit.*, S. 73.
- ¹⁸⁵ Ioannis Caminatae De expugnatione Thessalonicae, ed. *Böhling G.* Berolini et Novi Eboraci, 1973; пер. Поляковой С. В. и Феленковской И. В.
- ¹⁸⁶ *Kazhdan A. P.* Some questions addressed to the scholars who believe in the authenticity of Kaminiates' «Capture of Thessalonica». — BZ 71, 1978. P. 301—314; *Kambylis A.* — BZ 76, 1983.
- ¹⁸⁷ Eustazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica, ed. S. Kyriakidis. Palermo, 1961; пер. Л. А. Фрейберг.

¹⁸⁸ Eustathii Thessalonicensis Opuscula, ed. F. Tafel. Amsterdam, 1964; *Regel W.* Fontes rerum byzantinorum Petropoli, 1892—1917.

¹⁸⁹ *Каждан А. П.* Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский. — ВВ. 28, 1968. С. 63—77.

¹⁹⁰ Eustathii... Opuscula. P. 214—267.

¹⁹¹ *Hunger H.* Op. cit. S. 429 ff.

¹⁹² Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, rec. J.-L. van Dieten. Berolini et Novi Eboraci, 1972.

¹⁹³ Nicetae Choniatae Historia... пер. под ред. В. И. Долоцкого.

¹⁹⁴ Ср.: *Досталова Р.* Византийская историография (Характер и формы). — ВВ. 43, 1982. С. 31—33.

¹⁹⁵ *Каждан А. П.* Книга и писатель в Византии. М., 1973. С. 96.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ (XIII—XV вв.)

1. ВИЗАНТИЙСКИЙ ИСТОРИЗМ ПЕРИОДА НИКЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Есть нечто знаменательное в том, что история возрождения Византийской империи после латинского завоевания в XIII в. была описана очевидцем событий Георгием Акрополитом столь сдержанно, без эмоций, лаконично и подчеркнуто отстраненно, как словно бы речь шла не о восстановлении богоизбранной империи, а о кратковременной реконсолидации территорий, переходивших от одного государства к другому. Действительно, начавшаяся эпоха последнего взлета византийской цивилизации, называемого в науке Палеологовским возрождением, хронологически не простиралась на многие столетия. Однако она стала одним из самых ярких периодов истории культуры. И это нашло свое отражение и в развитии исторической мысли.

Выходец из состоятельной константинопольской семьи ГЕОРГИЙ АКРОПОЛИТ (ок. 1217—1282 гг.) провел всю свою сознательную жизнь при императорском дворе — сначала в Никее, где после IV Крестового похода и завоевания столицы находилось «правитель-

ство в изгнании», затем — в Константинополе. Воспитанный у Феодора Гексаптерига, позднее он получил философское образование, пожалуй, у самого лучшего учителя той поры — Никифора Влеммида, занимаясь у него совместно с будущим императором Феодором II Ласкарисом. Проведя практически всю свою жизнь при никейском дворе, при этом неоднократно участвуя в императорских кампаниях, возглавляя посольства в Болгарию, Лион, Трапезунд, командуя, правда, неудачно, войсками василевса в борьбе с эпирским деспотом Михаилом II, этот образованнейший вместе с тем ученый, ритор и богослов дослужился при Феодоре II Ласкарисе до титула великого логофета.

Никейский чиновник и литератор, подобно Пселлу, был в центре событий, описанных им в его «Хронике», охватившей период между 1203 и 1261 гг. Это произведение отмечено, прежде всего, программной точностью и рационализмом истолкования событий, что сказывается и в детальной датировке наиболее важных моментов, таких как взятие Константинополя крестоносцами или возвращение столицы под власть василевса. Рационалистическая краткость в изображении исторических событий подчеркивается сознательной лаконичностью повествования. Так, бесстрастным стилем рапорта с намеренным отказом от живописания эмоциональных картин катастрофы рассказывает Акрополит о взятии Константинополя «латинянами»: «И этот огромнейший и славный город был взят, как сказывают, одним или двумя воинами, взошедшими прежде других на стену по лестнице, которую они прикрепили к мачте огромного палубного корабля. То, что произошло вслед за этим в городе, потребовало бы от нас слишком длинного описания, далеко выходящего за пределы нашей истории. А пусть лучше

всякий сам себе представит все те бедствия, каким подвергаются города пленяемые: убийства мужчин, похищения женщин, грабежи, разрушения жилищ и все другое, что обыкновенно производит меч».

Еще немногословнее характеристика и политических деяний такого императора, как Феодор I, начавшего дело восстановления империи: «Провозглашенный императором, Ласкарис ревностно принялся за дела и выдержал много трудных битв». Никейский историк не только избегает описаний массовых батальных сцен в духе Киннама или Никиты Хониата, но, даже вводя в изложение прямую речь героев, словно извиняясь перед читателем, объясняет, зачем он прервал свою летописную информацию такой «беллетристической» вставкой, объясняя ее необходимость: «...услышав о победе императора, Эрик воскликнул: „Побежден, а не победил Ласкарис!“ — я привел эти слова для того, чтобы не затягивать далеко истории, в них все сказано». Или (об императрице Ирине): «Я сказал это для того, чтобы показать, как любила она рассуждения и уважала тех, которые не были невеждами относительно этих рассуждений».

Сколь фактологично в «Хронике» развитие времени, столь же сжато характеризуется и пространство исторического действия, выраженное в телеграфных каталогах завоевываемых или отвоевываемых городов, областей, крепостей и прочих пунктов. Рационалистическая краткость информации подчеркивается историком отсутствием каких бы то ни было географических описаний или пейзажных зарисовок. Подчеркнуто бесстрастно, даже буднично рассказывает историк даже о таких знаменательных событиях, как провозглашение первого Никейского императора: «И вот, едва только прошло два года, как Ласкарис был при-

знан всеми деспотом, на собрании в Никее знатных особ и представителей церкви положено было признать Феодора Деспота императором».

Такому мироощущению историка сродни неоднократно выраженное в «Хронике» понимание шаткости, нестабильности внешнеполитического положения государства по всем направлениям. Так, дословно передается мысль послов иконийского султана, что «если мусульмане погибнут за татар, то это откроет беспрепятственный вход врагам и в области римские»; беспокойно и в отвоеванных Иоанном Дукой Ватацем землях Болгарии («Так как жители здесь были болгары, то и передавались охотно на сторону своих единоплеменников, свергая иго иноплеменников»; «...большую часть западных областей населяли болгары, и... эти области давным-давно отошли от римлян и только в недавнее время покорились императору Иоанну»). Словами советников Феодора II Ласкариса указывается и на взрывоопасность положения на Западе («Итак, они своим мнением полагали, что императору вовсе не необходимо отправляться на запад, что тамошние области находятся в слишком плохом состоянии, так что почти нет возможности поправить дело»). Характерно в этой связи рассуждение Георгия Акрополита, обосновывавшего необходимость возведения на императорский престол Михаила Палеолога в условиях ослабления византийского могущества: «...сочли необходимым поставить у государственного кормила человека, который мог бы спасти корабль Римской империи в такое время, когда дует в него так много противных ветров, когда ударяют в него сильные волны и угрожают ему опасностью, или — кратко сказать — когда он находится среди великого волнения и потому нуждается в надежном кормчем, способном стать выше угрожа-

ющих нападений. Действительно, римляне были в затруднительном положении». Живая идея автора подчеркивается страстностью и яркой образностью этого высказывания.

Действительно, историческая мысль в «Хронике» Георгия Акрополита в значительной мере утрачивает иллюзии избранности единственной державы ойкумены — империи ромеев. Отличительной чертой политического развития после 1204 г. становится «многовластие», о чем не устает говорить никейский историограф: «...среди смут, произведенных взятием Константинополя, явилось множество разных вождей, которые, одолевая друг друга, покоряли своей власти целые области». В соответствии с этим строится автором и структура изложения: «Так как в то время везде дела делались по-своему по причине многовластия, то естественно, что и наша история должна разбегаться по разным сторонам». Плюрализмом отмечена и идея императорской власти: императором сплошь и рядом называется не только византийский василевс, но и болгарский царь и латинский правитель Константинополя, а церемониал встречи василевса с турецким султаном весь под пером историка представлен как встреча равных политических фигур.

Свойственное Акрополиту стремление к объективности изложения приводит к значительному ограничению идеи «ромеоцентризма» в оценке исторических событий.

Описания поражений византийского войска столь же часты в «Хронике», как и рассказы о победах (и это — в период консолидации византийских территорий!): «Одолевши итальянцев, мусульмане без труда взяли верх и над римлянами, так что они в беспорядке побежали, и только немногие остались ожидать исхода

борьбы». Подробно описывается победа султана и в поединке с Феодором I Ласкарисом: «И султан поразил царя по голове булавою так, что тот свалился с коня на землю, потому что был ошеломлен этим ударом; а вместе с ним, как сказывали, свалился от этого же удара и конь его». А победы византийского войска могут описываться историком в выражениях и стереотипных топосах, типичных для византийских историков при описании варварских вторжений в Византию. Георгий Акрополит же пользуется этими формулами применительно к ромеям: «...император Иоанн, вместе с Асаном, собрав свои войска, прошли по западным областям, которые были под игом латинян. Захватив там богатую добычу и превратив их в скифскую пустыню (по пословице), затем, согласно сделанным условиям, разделили между собой города и провинции». Георгий Акрополит на основании собственного опыта утверждает, что любая блестящая победа византийского оружия порой оказывается пирровой: «Поэтому из упомянутой знаменитой победы (взятие Арты и др. — М. Б.), покрывшей таким блеском римлян, немного спустя вышло нечто совершенно неблестящее».

В целом Акрополит склонен к выявлению скрытых пружин исторических явлений и поступков героев, отличающихся от внешних их проявлений: «...султан, под предлогом защиты императора Алексея, имел истинною своею целью ничто иное, как пройти, опустошить и покорить своей власти всю землю ромейскую...»; или: «Болгары, презрев союз с римлянами, дали франкам позволение перейти через свои границы, показывая вид, что вынуждены к этому силою»; «...Асан не слишком точно исполнял клятвенные договоры: он готов был разрушить их при малейшей выгоде. Вообще он только по виду и лицемерно обнаружи-

вал приязнь и выполнял обязанности дружбы». Не следует сейчас, подобно науке пришлого, критиковать или защищать данные оценки Акрополита; важнее подчеркнуть стремление историка постичь неадекватную, сложную суть противоречивых исторических явлений. И действительно, он нередко аналитично расчленяет поступок и замысел героев: «...он (Асень. — М. Б.) придумал предлог, по-видимому, благовидный, хотя замысел его не укрылся от людей опытных». Таким же образом Акрополит разъясняет предлог (πρόφασις) и истинные цели IV Крестового похода, устремившегося не ко гробу Господню, а в богатую столицу на Босфоре.

Акрополит стремится постичь рациональные закономерности событий, представляемых им во взаимосвязи. Так, решительный отпор болгар под предводительством Калояна был предопределен уничтожительными действиями двухсотлетней давности Василия Болгаробойцы в этом районе. То же самое говорится о событиях в Арте. Итак, одно событие предопределяет другое, и цепь выстраивается в причинно-следственной связи. Интересно, что апелляции к божественным силам, к Промыслу у Акрополита отстранены, объективизированы ссылкой на высказывающих подобные суждения: «Император Михаил, менее подчинявшийся подобным случайностям в своих поступках, приписав большую часть случившегося, — а то и все — Богу...»; или: «Дошедши до самой Солуни, он (Калоян) умер здесь от колотья в боку, или, как некоторые говорили, от Божьего гнева»; о великом доместике Андронике Палеологе: «...Совершенные деяния и непрерывный ряд трофеев казались всем чем-то сверхъестественным, и скорее делом Промысла Божия, чем следствием военного искусства». Не отказываясь, разумеется, от веры в высшие силы, ученый историк и ритор в основном апел-

лирует к рационально-реалистическому истолкованию происходящих событий, свидетелем и участником которых, как он неоднократно замечает, он был сам.

В авторских рассуждениях Георгий Акрополит предстает, прежде всего, как политик и ученый. Его ориентация в политической конъюнктуре безупречна. Так, он объясняет дилемму Иоанна Дуки Ватаца при выборе нового патриарха: «Император Иоанн ... не мог легко найти вскорости человека, достойного этого места, или лучше такого, который мог бы ему понравиться, потому что обладающие верховною властью обыкновенно в подобных обстоятельствах соображаются со своим расположением к лицам, чтобы не иметь в этих людях противников своим желаниям». Такого же рода рассуждения встречаем мы в связи с проблемой выбора патриарха уже при Феодоре Ласкарисе: «...цари вообще хотят, чтобы патриархами были люди смиренные, недалекие по уму, которые бы легко уступали их желаниям, как признанным постановлениям. А это всего чаще случается с людьми необразованными: будучи невеждами в слове, они не способны на смелое слово и преклоняются перед императорскими распоряжениями». Историк сам поясняет характер своих политических функций при Феодоре II Ласкарисе: «Мне дозволено было так распоряжаться. Я мог по своему желанию менять распоряжавшихся и заведовавших общественными делами, лиц, стоявших во главе отрядов и областных правителей».

Хорошее образование, по Акрополиту, — важнейшее свойство хорошего политика, да и вообще любого человека. Словами императора Феодора Ласкариса превозносятся мудрость философа и василевса: «...А когда изучишь философию, то удостоишься больших поче-

стей и званий, потому что нет в мире людей почетней царя и философа». Ум и образованность героев «Хроники» неизменно отмечаются никейским ритором: «Умерла и императрица Ирина, женщина умная, достойная власти и обнаружившая величие истинно царское. Она любила рассуждения и с удовольствием слушала людей ученых, которых чрезвычайно уважала». Наоборот, подчеркивается необразованность патриарха Арсения: «Учился он немного. Усвоивши кое-что из начального круга наук, чтобы не показаться в них совершенным невеждой, не знающим того, чем представлялся пренебрегающим, уязвленный в душу стрелой любви Божьей, он, простившись со всем мирским, избрал жизнь уединенную». В целом характеристики героев у Акрополита индивидуальны, нестандартны и как бы целесообразны — воин оценивается по его ратным заслугам, политик — по его дипломатическим успехам, государь — по его заботам о подданных и государстве. Собственную жизнь, подобно Пселлу, Акрополит измеряет последовательностью в изучении наук.

В стиле классических авторов он оценивает как узы родства и дружбы, так и такую категорию, как *καλοκάγαθόν* (у Михаила VIII: 180.11 и сл.¹), порицая лицемерие и вероломство. Впрочем, историк внимателен и к внешности героев — осанке, росту императора, его внушительности. Реализм и конкретность портретных описаний подчас доведены до натурализма: так, с медицинской точностью описывается предсмертный апоплексический удар императора Иоанна III, рассказывается об изготовлении чаши из черепа сраженного Балдуина.²

Эрудитский историзм Георгия Акрополита представляется непосредственным предшественником ми-

ровосприятия периода так называемого Палеологовского возрождения.

2 ИТАЛО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ПОЭТЫ

В возглавляемой Антонио Гарсиа неаполитанской серии исследований и публикаций по византийской и новогреческой филологии появилось критическое издание сочинений византийских поэтов XIII в. из южно-итальянской области Отранто,³ а серию статей М. Джиганте объединил особый сборник исследований о литературной жизни византийцев.⁴

Наиболее существен вклад в разработку двух аспектов истории византийской литературы — роли античного континуитета в мире форм и образов византийской словесности, а также истории греческой литературы в Южной Италии. Важное значение имеет статья о понятиях «античный», «византийский» и «средневековый», открывающая сборник. Античный субстрат в принципе был явлением общим, сближавшим литературные традиции греко-язычного Востока и латино-язычного Запада римского мира. Стилистические и риторические традиции, присущие в своих формах и византийской и западно-европейской средневековым литературам, также обнаруживают черты общности в историко-культурном развитии. Значение античной традиции в византийской литературе определено как декларациями самих византийских литераторов о приверженности «заветам» древних, так и многочисленными античными топосами, составляющими ткань византийских произведений. Вряд ли значение византийской литературы сводится к понятию «декаданса»; важнее аспекты позитивного

вклада византийской литературной культуры. Любовь к античности, роднящая западно-европейскую и византийскую литературные традиции, воплощается, в частности, в темах колеса фортуны, жизненного круговращения, общих для обеих литератур (подробнее этот сюжет рассматривается в специальных статьях о теме нестабильности жизни у Евгения Палермского и у Феодора Метохита). Одновременно автономность и параллелизм путей двух средневековых культур яснее очерчиваются на фоне общих античных истоков.

С этих позиций интересен анализ латинской книжности в Византии. Особое значение для византино-латинских взаимовлияний имела Южная Италия, где происходили непосредственные взаимные контакты греко- и латиноязычных культур, осуществлялась переписка греческих книг, создавались литературные переводы. Если в XII в. при дворе Мануила I латинская культура находит благодатную почву для распространения в византийской среде, то в XIII в. уже сицилийский король Фридрих II называется василевсом ромеев — при показательном именовании Иоанна III Ватаца «василевсом греков».

На примере Максима Плануда анализируется интерпретация латинской литературы в Византии. С другой стороны, М. Джиганте исследует вклад в византийскую культуру поэтов, живших в Италии (например, Евгения Палермского), и византийцев, чья деятельность ассоциируется с характером творчества гуманистов (Феодор Метохит).

Таков концептуальный фон, на котором М. Джиганте публикует корпус произведений поэтов Отранто XIII в. Оценивая вклад итало-византийских поэтов в историю культуры XIII в., следует отметить опреде-

ляющую роль в их творчестве, с одной стороны, византийской поэтической классики, в русле которой развивалось их творчество (что отразилось в языке, стиле, структуре их поэтических творений), с другой же стороны — особых условий культурно-исторического контекста Южной Италии (и Сицилии), характеризующихся категорией греческо-христианского гуманизма. Центром, где процветала итало-византийская поэзия, в то время стал монастырь Сан-Никола в Касоле. С ним и была связана жизнь авторов, издаваемых в настоящем корпусе итало-византийских поэтов XIII в., — Нектария, Иоанна Грасса, Георгия Галлиполитанского.

Первый из них хорошо известен также под мирским именем НИКОЛАЯ ГИДРУНТСКОГО. Он родился в 1155/60 г., получил образование в монастыре Сан-Никола, был учителем грамматики, переводчиком; в этом качестве он участвовал и в переговорах 1214/15 г. об унии в Константинополе, затем выполнял многочисленные дипломатические миссии в Никее и Риме. Последние годы — с 1219 по 1235 — был аббатом Сан-Никола. Плодовитый полемист, занимавшийся и каноническими вопросами, он оставил после себя и сборник астролого-геометрических текстов. Его же поэтические сочинения касаются прежде всего истории монастыря, с которым была связана его жизнь: он посвящает каждому из своих предшественников-игуменов поэтическую миниатюру, завершая этот цикл эпиграммой к самому себе, а также обращаясь и к своему, пока неизвестному, преемнику. В стихах он не только пишет о себе как об игумене, но и посвящает одну из эпиграмм собственному творчеству, рассказывая прежде всего о своих полемических сборниках.

Его поэтике свойствен характерный параллелизм образной логики: в стихотворении о живописце Павле Гидрунтском деятельность последнего ассоциируется с деятельностью апостола Павла; параллелизм здесь последовательно выдержан и в фигуре стиха, лексических повторах, стилистических рефренах. В обличительной эпиграмме на прелюбодейство нотариуса Мины параллелизм и сравнения строятся на образах античной языческой мифологии: Зевс и Гера, Икар и Дедал становятся предметом проводимых аналогий. Общефилософские же темы или этические наставления укладываются в одно-двухстрочные стихотворные речения. Поэту не чужды и социальные мотивы — страстно пишет он о своих завистниках, клеветниках, удручающих его сильнее молний, ветров и бурь.

Его учеником был следующий из издаваемых поэтов — ИОАНН ГРАСС. Нотарий в Отранто, сторонник Фридриха II, при дворе которого он находился в середине 30-х годов, был магистром, начальником прошений и императорским грамматиком; он характеризуется как поэт и философ, в чьем творчестве отразилось мировоззрение гиббелинов. С его именем связывается и грекоязычная переписка Фридриха II, редактором и составителем посланий которого и был Иоанн. Его поэтическим образам присуща контаминация античной и христианской мифологий. Мотивы Гомера и Еврипида переплетаются с парафразами Септуагинты и агиографических текстов. Для понимания пиетета поэта к античным мотивам наиболее характерна этопия на тему, что могла сказать Гекуба при падении Трои: ткань всего произведения составляют аллюзии на тексты различных трагедий Еврипида. Издателем отмечены многочисленные «гомеизмы», свойственные стилю итало-византийского

поэта; встречается и ряд поэтических новообразований в лексике (όπλοτοξοπυρφόρος, βριαροχερόπους) отмеченных, однако, печатью эпичности. Драматизм, показательный для Иоанна Грасса, выражается в диалогической форме его поэтических творений, когда их содержание представляет собой беседу, спор героев. Отзвуком на политические события его времени являются ямбы по случаю взятия Пармы Фридрихом II в 1247 г.

Сочинения же Николая Гидрунтского (Никола ди Отранто), о котором по лемме одного из стихотворений известно как о сыне «магистра Иоанна» (т. е., по М. Джиганте, Грасса), носят часто религиозный характер. Его эпиграммы — произведения, обращенные к святым, Богородице, памятным местам (Фавор). Своеобразием отличается и его поэтика; обилие неологизмов, гапаксов, лексических новообразований, редкостных слов отличает его поэтический стиль.

Если для НЕКТАРИЯ характерна автобиографичность, для сочинений Иоанна Грасса — тяготение к античной древности, а произведения Николая Гидрунтского исчерпываются религиозной тематикой, то муза четвертого из издаваемых поэтов — ГЕОРГИЯ из Галлиполи наиболее чутко откликается на политические события современности, на те или иные житейские моменты. Важные политические темы — приезд Иоанна Ватаца в Галлиполи, церковные смуты, взятие Пармы, обращение от имени Рима к Фридриху II — и частные эпизоды, например смерть сына городского domestika, составляют сюжетную основу главных произведений поэта.

Хотя его образование отмечено скорее специально-техническими, нежели общегуманитарными, чертами, его поэзии свойственна как лирическая страсть, так

и очевидное художественное мастерство: игра слов, ассонансы и лексические параллелизмы — излюбленные приемы калабрийского поэта — Ἦ παῦλα, Παῦλε, τῶν κακίστων δογμάτων, ἡ πέτρα, Πέτρε, τῶν κακίστων πραγμάτων (р. 173, № 9).

Пиетет к словесным раритетам свойствен и этому автору. Вместе с тем ряд образных моделей, топосов позволяет видеть в Георгии продолжателя традиций византийской поэтической классики — Феодора Протодрома, Никиты Евгениана и других авторов XII в. С ними калабрийского поэта роднят и лексические совпадения.

Итак, изданный М. Джиганте корпус итало-византийских поэтов из Отранто XIII в. позволяет не только определить живительность античных истоков византийской поэзии, особенности творческих судеб литературы Южной Италии, понять ее в византийском грекоязычном историко-литературном контексте, но и выявить индивидуальные неповторимые черты различных поэтов, хотя и связанных общностью места деятельности, условий жизни, окружения, языка творчества и литературных традиций.

3. ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ПАЛЕОЛОГОВСКОЙ ВИЗАНТИИ

ГЕОРГИЙ ПАХИМЕР (1242—ок. 1310 гг.) принадлежал к поколению учеников Георгия Акрополита. Родившийся в Никее, он после 1261 г. переезжает в Константинополь, где получает прекрасное общее образование, включавшее, помимо философии и риторики, физику и математику. Как и его учитель, Пахимер обратился к рассказу о событиях, современником кото-

рых он был, создав, подобно Акрополиту, памятник полумемуарного — полумонументально-историографического типа. Своей «Историей», охватившей период примерно с 1260 до 1308 гг., Пахимер продолжил «Хронику» Георгия Акрополита, описав правление первых двух императоров из династии Палеологов (повествование о последних годах правления Ласкарисов носит характер предыстории, необходимой для пояснения последующих событий).⁵ Как и Акрополит, Пахимер не был автором единственного — исторического — произведения, и его творчество в еще большей степени не исчерпывается историографическим трудом: важное место в истории византийской культуры занимают его философские, риторические и правовые сочинения (см. гл. «Наука и образование»).

Однако, несмотря на многочисленные черты сходства во внешних характеристиках двух крупнейших историков XIII в., внутренний смысл их историографических произведений во многом различен. Прежде всего, жизнь каждого из них протекала в различных социальных кругах: ставший, в конце концов, великим логофетом Акрополит всю свою сознательную жизнь провел при императорском дворе, связав свою судьбу с миром крупных государственных чиновников; Пахимер же был, прежде всего, духовным лицом, принадлежа к клиру патриархата. Этим объясняется его живой интерес к церковно-политическим и догматическим спорам, столь резко обострившимся в первые годы возродившейся империи на Босфоре, прежде всего к греко-латинской полемике по вопросу об унии двух церквей. В отличие от объективистски рационалистичного Акрополита, Пахимер предстает живым ревнителем идей эллинского патриотизма, враждебно настроенным к католическому Западу. Пожалуй, сама

историческая ситуация, изменившаяся по сравнению со временем Георгия Акрополита — порой восстановления византийского могущества, теперь, когда со всех сторон над Византией нависла опасность серьезных внешнеполитических утрат, а внутри государства на различных уровнях шли серьезные дискуссии и распри, не располагала к сдержанному, несколько отстраненному фактологическому, пусть и субъективно организованному, описанию. Уже в начале повествования Пахимером выдвигается тезис о бедственном состоянии государства, превращении исторического процесса в «смуту событий» (1.14.14—15; 11.12.5—6; 11.257.17—258.1). Это выражение станет лейтмотивом всего произведения. Исторiku свойственно эмоционально обостренное чувство слабости существующей общественной системы,⁶ столь отличающее его от Акрополита — государственного чиновника, свидетеля упрочения империи, стабилизации государственной системы, способного в этих условиях трезво анализировать даже сложные политические ситуации, вскрывая причины казавшихся временными неудач и находя им оправдание. Ощущение же надвигающейся беды, дестабилизации, тревоги за будущее у Пахимера сродни оценкам этого же времени у его современника и соученика, — будущего константинопольского патриарха Григория Кипрского.⁷ Таким образом, это отмеченное в «Истории» состояние напряженности социально-психологической атмосферы в государстве было отражением реальной ситуации, а не субъективными рефлексиями историка.

Конечно, несмотря на декларацию Пахимера следовать в повествовании только истине, которая является «душой истории» (1.12.11), он отнюдь не отказывается ни от субъективных оценок, ни от самосто-

ятельных характеристик и суждений. Впрочем, все историки рассматриваемой эпохи, как Акрополит, так и Пахимер, и Григора, клянутся принципам беспристрастного описания, создавая, однако, произведения глубоко отличные друг от друга как в сюжетном отношении, так и в историко-философском.

В науке с Пахимером — первым византийским историографом — традиционно связывается понятие «гуманиста».⁸ Действительно, его творчество, не противореча в целом классическим византийским нормам, во многом близко духу произведений «Палеологовского гуманизма». Дело не только в многочисленных цитатах из античных авторов, встречаемых нередко в «Истории» Пахимера, и в органичной жизненности у него образов древней языческой мифологии: подобное не было в Византии уникальным явлением лишь для палеологовской поры. Гораздо важнее отмечаемое у Пахимера тонкое понимание глубинного смысла древних текстов (прежде всего, Гомера), значения редких архаичных слов и выражений.⁹

Пространственно-временные ориентации вновь в греческой историографии окрашиваются в тона ахейской архаики: при датировках регулярно применяются аттические наименования месяцев,¹⁰ а города, области называются в соответствии с нормами классических Афин. Более того, движущей силой всех событий у Пахимера оказывается, главным образом, персонифицированное божество судьбы — аналог античной Тихи. Античные категории предопределения, рока занимают центральное место в мировоззренческой системе историка (1.94.15 сл.; 128.3; II.70.17; 433.14; ср. 1.139.16; 59.3—5).¹¹

И в целом ход исторического процесса вновь обретает на страницах исторических сочинений XIV в., начиная с Пахимера, циклический характер. Так, автор

принимается за свой труд с тем, «чтобы время частыми периодическими сменами циклов не сокрыло бы многое», — говорит византийский историк (1.12.5—6), перефразируя мысль античного мудреца (подразумевая «Аякса» Софокла¹²). Время вновь в истории греческой исторической мысли становится субстанцией, самостоятельной активной категорией бытия.

Вместе с тем, вряд ли следует спешить с отождествлением мирозозерцания Пахимера с европейскими гуманистическими представлениями о месте человека в мире: ему чуждо совмещение монашеского послушания (ἡ μοναχικὴ πολιτεία), кротости и смирения (πραότης καὶ δικαιοσύνη) с «человеческими добродетелями» (καθ' ἄνθρωπον ἀρετή) светского общения и свободного поведения (1.304.11—XX—21).¹³ Еще в XI в. Пселлу такое сочетание представлялось привлекательным в образе монаха Ильи.¹⁴ Да и основная движущая сила истории — Божественный Промысел (Πρόνοια), судьба, хоть и совпадают в своем словесном облике с аналогичными античными божествами, предстают у Пахимера в полном соответствии со средневековым христианским мировоззренческим этикетом, в виде внешней трансцендентной силы, знаменующей собой высшую неотвратимую необходимость.

Воплощением принципов поздневизантийского гуманизма в историографии может считаться «Ромейская история» крупнейшего ученого, философа, просвещенного эрудита НИКИФОРА ГРИГОРЫ (начало 1290-х — ок. 1360 г.)¹⁵ Родившийся в Ираклии Понтийской, он обучался в Константинополе логике и риторике у патриарха Иоанна Глики, а философии и астрономии — у виднейшего византийского гуманиста Феодора Метохита. Это во многом предопределило его судьбу — ученого, эрудита, литератора и

творца, автора многочисленных научных и литературных произведений. Не достигнув и тридцати лет, Григора оказался в центре интеллектуальной и религиозно-политической жизни столицы, войдя в круг самых приближенных людей императора Андроника II Палеолога. При дворе он выступал в роли влиятельного ученого и советника, посла, учителя, ратора. Уже при Андронике III он принимает активное участие в догматических дебатах, особенно страстно проявляя себя в антилатинской полемике. С изменением политической ситуации после утверждения власти Иоанна Кантакузина Григора удалился от дел в 1351 г. в монастырь Хоры, где находился вплоть до воцарения Иоанна V Палеолога (1354 г.). В последние годы своей жизни Григора продолжал активную, хоть и не всегда успешную, полемику как с паламитами, так и с экс-императором, ставшим также монахом.

В отличие от приверженца аристотелизма Пахимера, Григора следовал идеям Платона.¹⁶ С этих позиций эллинского классицизма он противился сближению с Западом — в эпоху, последовавшую за Лионской унией. С другой стороны, его философский номинализм с трудом мог ужиться с мистикой восточного монашества, и антипаламитская направленность полемической мысли Григоры имеет, таким образом, церковно-политические и глубокие философско-гносеологические корни.¹⁷

Научные и философские воззрения гуманиста нашли свое отражение в одном из самых объемных трудов византийской историографии — его «Ромейской истории»,¹⁸ охватывающей период с 1204 по 1359 г. Первая часть исторического труда, повествующая о событиях до 1320 г., соответствует сюжетам

хроник Георгия Акрополита и Пахимера,¹⁹ вторая же, во многом автобиографичная, представляет собой мемуарное повествование, в значительном своем объеме посвященное борьбе с Григорием Паламой.

Если в оценке значимости истории Акрополит, прежде всего, подчеркивал необходимость объективного изложения последовательного хода событий с их рационалистическим осмыслением, а Пахимер воспринимал историю как своего рода высший суд и источник истины в оценке совершенных людьми деяний, то Григора выделяет нравственную концепцию истории: она — «живой и говорящий голос» (1.4.12), хранительница прошлого и наставница в жизни, позволяющая предвидеть будущее (1.4.13—15; 5.5—7). Примечательно, что прогностические функции историографии выходят в это время в византийской философии истории на первый план — как у Пахимера,²⁰ так и у Григоры: история позволяет всем стать «пророками, на основании свершенного угадывающими будущее».²¹

Для византийского гуманиста история — своего рода летопись «действий и жестов человеческого ума», призывающая историографа «показать все, что служит во славу человеку».²² Такая гуманистическая нацеленность автора не только декларируется им, но и воплощается непосредственно в ткани его исторического труда. Поэтому «История» Григоры представляет собой не просто изложение событий или описание ситуаций, но воспроизводит и тексты богословских трактатов, инкорпорированные в исторический труд, и полемические диалоги, и философские рассуждения, экскурсы и отступления, пространственные речи персонажей, являющиеся, по Григоре, «зеркалом деяний» исторических героев (II.641.17—18).

Богословская проблематика занимает центральное место в мемуарах Григоры, что естественно для современника исихастских споров и коллизий вокруг Паламы. Актуальность этих проблем для духовной жизни Византии первой трети XIV в. подтверждается и созданием в это время «Церковной истории» НИКИФОРом КАЛЛИСТОМ КСАНФОПУЛОМ,²³ вернувшегося к истокам догматических контроверз.

Однако этой проблематикой далеко не исчерпывается труд Григоры. Давно подмечен интерес ученого и философа, например, к социально-экономическим проблемам, а также к историко-географическим экскурсам, к вопросам календарно-астрономическим, чему посвящены включенные в «Ромейскую историю» целые трактаты (1.30—41, 42—44; III.511—517; ср.: III.27—29, 38—42; 1.449.3—454.6). Небесным знамениям, космическим явлениям вообще историк придает большое значение в связи именно с людскими судьбами (1.108.18—109.7; 1.49.23—50.5), однако его ссылки на оракулы, божественное безумие (θεομηνία), пророчества и знамения сродни скорее подобным античным топосам, чем набожным свидетельствам проявления гнева Господня ранневизантийских хронистов (1.32.19—33.1; 423.13; 549.2). Толкованиям снов Григора посвятил и специальный трактат «Комментарии к Синесию».

Христианский гуманизм Григоры, разумеется, исходит из примата Божественного Провидения — «пронии» над судьбами людей (1.20. 19—21; 73.15—74.1; 206.25—207.1; ср.: 1.224.18—226.2; 316.1—317.1), однако историк принципиально против концепции самопроизвольности судьбы, предопределяющей человеческие поступки.²⁴ Способность Промысла проникать в будущее не предполагает навязывание Богом людям

тех или иных поступков, которые могут быть и дурными, а зло не может исходить от Бога (III.210.17; 211.25—212.1). Вместе с тем социальные воззрения автора далеки от оптимизма: для Григоры государство представляется трупом, на который набрасываются в обоюдном соперничестве враги — турки и татары²⁵ (1.535.11—18). Впрочем, если обратиться к письмам византийского гуманиста, то станет ясно, что мироощущение надвигающейся катастрофы отнюдь не ведет к безысходным выводам: «Не менее хвалю я саму эпоху за то, что, подобно какому-либо жестокому палачу, все вокруг приведя в беспорядок, она тем не менее дала нам людей, которые, молча или высказываясь, помогут облегчить положение, сложившееся в государстве».²⁶ Григора осознает, что в переломную эпоху в жизни общества происходит активизация интеллектуальной деятельности.

Столь же неоднозначен и образ государства, описываемый часто у Григоры в категориях морской стихии.²⁷ Тема кораблекрушения обычна в данном контексте у Григоры. Империя уподобляется большому кораблю, влекомому бурей и морскими волнами, потерявшему и якорь, и мачту. С грозным морем ассоциируются вторжения врагов, внутригосударственные смуты; жизнь сравнивается с морем бедствий, шквалом, бурями. С другой стороны, и образ утихающей бури, преодоления стихии при умелой навигации — также постоянная тема Григоры: основная его мысль — это возможность спасения из моря, способность — при знании средств! — выбраться из пучины и обрести спасительную гавань.

Не менее сложен у Григоры, как показал А. П. Каждан, и образ болезни (в т. ч. государства и общества), пусть губительной (тема почти исключительно

ная у Никиты Хониата), но излечимой при умелом врачевании, а также образ огня — гибельного у Хониата, и источника страстных побуждений, желания у Григоры.

Эти образы — отражение мировосприятия поздневизантийского мыслителя, утверждавшего, что в «мире нет ничего постоянного и устойчивого и что дела человеческие, по Платону, — это лишь игрушка в руках Бога, и в своем движении — вверх и вниз — они устремляют свой совершенно непостижимый бег» (1.257.3—7). Однако при понимании нестабильности человеческих судеб, Григора убежден в постоянной возможности изменений к лучшему в условиях бесконечного смещения вещей (II.1013.20—1014.2), когда «все перемешано» в жизни, человеку же, попавшему в гущу бедствий, следует быть стойким, опираясь на разум (II.1014.8—16). Однако индетерминизм человеческой воли у Григоры все же ограничен предопределенным общим ходом развития мировых событий, вмешательство индивидуума в который может быть адекватным лишь при определенных стечениях обстоятельств (1.154.10—17, 23).²⁸

Если Пахимер с трудом мог принять принципы человеческой раскрепощенности в жизни и обществе, то Григора развивает гуманистическую концепцию человека, сила разума которого способна к преобразующей общество деятельности. Таким предстает в его сочинениях фигура Феодора Метохита, который днем занимается большими государственными делами во дворце, а ночью углубляется в книги и научные рассуждения, отвлекаясь от внешней суеты. (1.272). «Образная система Григоры тесно связана с его провиденциалистской концепцией истории, с его историческим антидетерминизмом».²⁹

Григора пытается применить нормы Платона к современной ему действительности: то, что Платон развивал в теории, император Андроник II Палеолог воплотил в жизнь, и если бы Платон еще жил сейчас, он обогатил бы свои идеи о государстве опытом Андроника и многое бы позаимствовал от него при создании идеальных законов.³⁰

Входя в своеобразный ученый кружок при дворе Андроника II,³¹ Григора всячески превозносит подобное неформальное общение людей духа, называя их сообщество «школой всяческих добродетелей», «гимназией эрудиции» (1.327). Действительно, в этот период истории византийской культуры вновь, как и при первых Комнинах, на состояние интеллектуальной жизни оказывало большое влияние возрождение деятельности придворных литературных салонов, где классическое образование было критерием учености, а риторика обретала практический смысл, ибо обеспечивала успех в общественной практике.³²

В «Ромейской истории» изображение одного из героев претерпевает по ходу развития событий трансформацию: Иоанн Кантакузин из храброго, энергичного полководца, восхваляемого друга автора превращается после воцарения в одиозную фигуру врага историка-гуманиста, заточившего его в монастырь. Действительно, друзья в молодости, принадлежавшие к определенному кругу интеллектуалов-единомышленников, обменивавшиеся книгами (в одном из писем Григора сообщает о посылке великому domesticу Иоанну Кантакузину своего Комментария к Синесию), стали со временем настолько непримиримыми врагами, что Кантакузин, обретя власть, поспешил расправиться со своим в прошлом единомышленником.

Однако и сам ИОАНН КАНТАКУЗИН (1295/6—1383), провозглашенный василевсом впервые в 1341 г., был вынужден затем отречься от престола, постричься в монастырь, где и писал свои мемуары и полемические сочинения с видимой целью оправдать как свои действия, так и действия своих сторонников.³³ При этом очевидна и полемическая направленность его «Историй»³⁴ против Пахимера, сочинение которого было доступно экс-императору.

Представитель видного столичного аристократического клана крупных землевладельцев,³⁵ он в юности получил прежде всего воинское образование. Приняв во время гражданской войны между Андроником II и будущим Андроником III сторону последнего, великий домestik Иоанн Кантакузин с воцарением молодого монарха обрел необычайную власть и влияние. Еще в 1341 г. венчаный в провинции на царство, Иоанн Кантакузин затем почти шесть лет вел настоящую гражданскую войну за власть, завершившуюся, наконец, вступлением его войск в Константинополь и обретением трона.³⁶ Впрочем, борьба нового василевса с приверженцами династии Палеологов вскоре вновь обострилась и закончилась в 1354 г. при активном участии народных масс³⁷ свержением Иоанна Кантакузина, проведшего остаток еще продолжительной жизни в монастырях Константинополя, Афона, Пелопоннеса, участвуя иногда в дипломатических переговорах, претерпевая лишения, теряя родных.³⁸

«Истории» Иоанна Кантакузина охватывают в основном период его активной политической деятельности — с 1320 по 1356 гг., касаясь спорадически и более позднего времени (до 1362 г.). Провозглашая, подобно другим поздневизантийским историографам, принцип «истины» как закона для историка (I.10, 7;

II.12, 3; 368, 21—369, 3; 370, 8; 450, 2—9; III.8, 6; 364, 7—9), автор, скрывающийся под псевдонимом Христодул, на самом деле столь же далек от объективированного рационализма Акрополита, сколь и от гуманистической уравновешенности в оценках Григоры. Кантакузин предельно субъективен; он сосредоточен на себе, своих деяниях и замыслах.

Чрезвычайно интересны результаты анализа лексики Иоанна Кантакузина: наиболее частыми являются термины, обозначающие прибыль, денежную выгоду (κέρδος), а также страх и обман.³⁹

Как литератор Иоанн Кантакузин следует стилю Фукидида, заимствуя подчас описания целых эпизодов, как, например, знаменитой чумы 1348 г.⁴⁰ Однако такая сюжетная «цитата» использована поздневизантийским историком так, что повествование актуализируется личным свидетельством автора — современника событий.

Описание общеполитического положения империи, теснимой как турками, так и сербами, зависимой от итальянцев, картина упадка экономики и финансов составляют фон, на котором разыгрывается драма борьбы противоборствующих политических группировок.⁴¹ Движущей пружиной многих политических движений является, по мысли автора, человеческая зависть: на страницах «Истории» часто встречается эта категория (φθβος).

Противником Кантакузина в гражданской войне со сторонниками Иоанна V Палеолога являются не только приверженцы законного василевса (императрица Анна, Алексей Апокавк и др.), но и народ — «демос» (III.255.9—11; 284.23—285.2; 290.6—291.2; 304.17—305.3; 305.23—306.5): «Не только в Византии, но и в других городах толпы народа (οἱ δῆμοι) вве-

рились новому василевсу». Народ (δῆμος) — одно из наиболее активных действующих лиц в историческом труде Иоанна Кантакузина⁴² (I.513.20; III.277.16 — 17; ср. I.476.20 и др.). Этот термин не обозначает просто «население» (социально нейтральное) и не тождественен в истолковании историка понятиям, обозначающим просто «толпу» или «массу» (ὄχλος — II.12.22, или πλῆθος — II.16.3—4), но является социально-политической категорией (I.271; II.176.10—11; III.34.7; ср. II.576.8 сл.; II.545.2 сл.).⁴³ «Народ» у Кантакузина представляется широким социальным слоем, включавшим в себя как ремесленников, так и солдат и даже купцов, объединенных своими оппозиционными действиями по отношению к «динатам» в условиях социально-политического кризиса в империи и гражданской войны. По сравнению с произведениями исторический мысли XI—нач. XIII вв., где, — будь то у Пселла, Евстафия или Никиты Хониата, — внимание историков подчас в немалой мере уделено массовым движениям, «Истории» Иоанна Кантакузина представляют новое развитие социально-политической конкретизации и терминологизации понятия «народ». Дальнейшая «социологизация» исторического мышления становится завоеванием византийского историзма XIV в.

Стремясь стабилизировать внутривизантийское положение, Иоанн Кантакузин, поддерживая исихастов, добился официального синодального закрепления победы сторонников Паламы в религиозно-политической борьбе,⁴⁴ о которой много рассказывается в историческом труде экс-императора. В оценках этого движения также проявилось идейное различие между Кантакузиным и Григорой. «Платонизму» Григоры противостояла и приверженность его соперника иде-

ям Аристотеля. В противоположность Григоре, признававшему власть судьбы — Тихи — над человеческими судьбами, но не исключающей и свободу выбора для людей, Кантакузин полностью ставит деятельность человека в зависимость от Божественного Промысла, сближая его с изменчивой Фортуной-Тихой. На страницах мемуаров получила отражение та кризисная ситуация, в которую все больше втягивалась империя.⁴⁵

Исторический труд Иоанна Кантакузина, в сравнении с предшественниками и современниками, представляется уникальным. Его «субъективизм» состоит в искусстве поставить в центре повествования героя-автора; его «гомогенность» — в умелом подчинении материала проводимой идее. Все здесь служит фундаментальной задаче автора: убедить читателя в искренности, честности, доброй воле писателя-героя.

Если говорить о византийском гуманизме, то исторический труд Иоанна Кантакузина представляет собой еще одну эманацию этого явления, а именно — эпохи кризиса византийского общественно-культурного развития «трагического» XIV в.⁴⁶

4. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЭПОХИ ОСМАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ И ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ

В палеологовской Византии получают распространение и сравнительно небольшие по размеру локальные хроники. Так, МИХАИЛ ПАНАРЕТ (род. в 1320 г.) составил трапезундскую хронику «О василевсах Трапезунда — Великих Комнинах».⁴⁷ Повествование о событиях с 1204 по 1426 гг. включает в себя и мемуарную часть: хронист находился при дворе трапезунд-

ского императора Алексея III (1349—1390 гг.),⁴⁸ участвовал в различных государственных акциях, в т. ч. в императорском посольстве в Константинополе в 1363 г. в качестве протосеаста и протонотария. Очевидно, что хроника была продолжена в XV в., после смерти Михаила Панарета.

Северо-западной византийской области — Эпир — посвящена ЭПИРСКАЯ ХРОНИКА XIV—XV вв., описывающая турецкое завоевание области.⁴⁹ До недавнего времени ее авторами ошибочно назывались Комнин и Прокл.⁵⁰

В историографическом жанре поздневизантийские авторы XIV—XV вв. повествуют и об отдельных событиях, современниками которых они стали. ИОАНН АНАГНОСТ рассказывает о захвате Фессалоники (Солуни) османами в 1430 г.⁵¹ Непосредственность, драматизм и детальность описания не ослабевают от литературной стилизации, цитирования древнегреческих классиков, использования текстовых параллелей из другого описания взятия Солуни Иоанна Каминиата. СИЛЬВЕСТР СИРОПУЛ посвящает свое сочинение Ферраро-Флорентийскому собору 1439 г.,⁵² на котором василевс в надежде получить западную помощь для борьбы с османами заключил униатское соглашение с латинской католической церковью.

Наконец, в палеологовской Византии получает широкое распространение такой жанр, как МАЛЫЕ ХРОНИКИ (Βραχέα χρονικά), в которых в стиле регестов перечисляются основные события в правлении тех или иных императоров. Традиция малых хроник возрождает анналистический принцип исторического повествования в XIII—XV вв. и насчитывает свыше ста образцов этого жанра.⁵³ Часть из них касается всемирной истории, часть — императорских («Импе-

раторские хроники») или патриарших («Патриаршие хроники») деяний, многочисленны локальные хроники, посвященные отдельным областям и событиям. В русле этой традиции происходит расширение и редактирование историографических памятников — таких, как **МОНЕМВАСИЙСКАЯ ХРОНИКА** («О завоевании Монеувасии»),⁵⁴ возникшая в конце X—начале XI вв. и повествующая об основании города Монеувасии и сообщающая о проникновении славян на Пелопоннес в VI в.⁵⁵

Но наиболее драматические повествования палеологовской историографии касаются самого, несомненно, трагического события истории, завершающего изучаемую эпоху: это — османское завоевание Константинополя в 1453 г., символизировавшее падение Византийской империи.

Своеобразным прологом к трагическим событиям конца тысячелетней империи стала осада Константинополя войсками султана Мурада II в 1422 г., чему посвятил свой «Рассказ о войне, случившейся в Константинополе в 6930 г.» **ИОАНН КАНАН**.⁵⁶ Это сочинение в значительной степени написано на разговорном народном языке, отличающемся от традиционного литературного, уже мало употреблявшегося в обыденной речи греками. Автор подчеркивает непосредственный характер своего повествования — частного свидетельства, далекого от ученого «экспертного» анализа исторических событий. Вмешательство Богородицы, по описанию историка, позволило на этот раз византийцам спасти свою столицу и государство.

Историком османского завоевания Византии, осады и пленения ее столицы, дальнейшей турецкой экспансии стал (**МИХАИЛ?**) **ДУКА** (ок. 1400—ок. 1470).⁵⁷ Его семья после поражения Иоанна Канта-

кузина, приверженцем которого был дед историка, нашла приют у эмира Иса Бей Эйдина; сам молодой историк стал секретарем у генуэзского главы Новой Фокеи, а затем служил на Лесбосе у династии правителей Гаттелузи — Палеологов. Таким образом, историк вращался фактически в эмигрантской среде в период постепенного сокращения владений Византийского государства, превратившегося в XV в. в «империю на проливах».⁵⁸

Основное содержание «Истории» Дуки составляет турко-византийская история, начиная с 1391 г. (во вводной части дается краткий исторический очерк от Адама до 1204 г., затем повествуется об истории османской экспансии в 1204—1359 гг.). Османское завоевание представляется историком Божественной карой византийцам за прегрешения, делом Промысла. Неминуемость катастрофы становится лейтмотивом записок, выдержанных, по характеристике одного из исследователей, в «журналистской» манере — эмоциональной и непосредственной.⁵⁹

Вместе с тем традиционная византийская имперская идеология позволяет именовать василевсом только византийских императоров, турецких же султанов — не иначе как «тиранами»-узурпаторами. С пониманием относится Дука и к политическому альянсу с латинским Западом, именно в таком плане оценивая унию перед лицом османской опасности.⁶⁰ Критически настроен он и по отношению к неприемлемым антилатинским ортодоксам типа Луки Нотары, провозгласившего, по свидетельству историка, что «лучше видеть в городе турецкий тюрбан, чем латинскую митру» (329.8—12): после взятия Константинополя султан Мехмед II приговорил к смерти и Луку, и его детей. Сам султан — покоритель Ви-

зантии — представлен «кровавым зверем», антихристом. Вместе с тем верный своей основной теме, Дука много внимания уделяет собственно турецкой истории, генеалогии османских правителей.

Трагизм повествования усиливается литературными аллюзиями. Парафразом библейского плача Иеремии по поводу гибели Иерусалима предстает оплакивание нового Иерусалима — византийской столицы (391.9—11). Классицистическое мировосприятие позволяет и сопоставлять античную категорию судьбы, Тихи, с Богом — вершителем судеб.⁶¹

Однако историческое провидение в глазах Дуки обладает свойством возмездия: подобно тому, как оказалось предопределенным падение Византии, скорая гибель Османской империи также неминуема. В этом видится проявление мирового порядка и справедливости, вера в которые определяет конечный исторический оптимизм автора.

Настроениям хроники Дуки созвучен трагический пафос поэмы «Плач о падении Константинополя»^{61a} — одного из лучших памятников поздневизантийской народноязычной литературы:^{62b}

О государь мой, Константин, как горько ты погибнул!
О, пусть господь вооружит правителей Европы
На месть святую за себя, в защиту правой веры.
Вы, сербы скорбные, и вы, усталые валахи,
О нашей вспомните судьбе! Вы, венгры,

в вашем горе

О наших вспомните цепях, о муках, о позоре!
Вы, короли, и вы, князья, услышите эти речи:
Вам ведом долг, святой ваш долг — так

будьте же достойны!

Всею сердцем рвитесь изгнать язычников отселе,

Единым сонмом гряньте в бой, исполнившись отваги,
Из вашей собственной земли извергните безбожных,
Из христианских рубежей, на радость христианам.
И пусть никто и никогда не ищет дружбы с турком,
С турецким псом, поганым псом,

неукротимым зверем.

О если б знали вы, как он своей коварной дружбой
И оплетает христиан и, как дракон, глотает!
Он, как антихрист, вышел в мир

и топчет в прах народы,

Он цепи рабские надел на попранных ромеев.
И он грозой теперь навис над франкскими краями.
О ты, христовой церкви вождь,

святейший и преславный,

Краса и слава христиан, столп и твердыня веры,
Ты, чья святая чистота для всех нас утешенье,
Узри победу адских сил и усмири нечистых,
И обрати их зло в добро боголюбивым сердцем.
Воздвигни крест, чтоб черный враг проникся

страхом божьим,

Чтобы язычник побежал, чтоб дикий был извергнут
Из Константиновых твердынь, из стен Второго Рима
С тех пор, как пал державный град, никто
не безопасен!

Поберегитесь вражьих сил, как молнии и грома!
Константинополь был мечом, копьем

для христианства,

Константинополь был ключом к империи ромеев:
Архипелага острова ему покорны были —
Все, что осталось для Христа из римского наследья
Ты, унаследовавший Рим святой первосвященник,
Узнай, какой потоп огня на Византию хлынул;
Он залил весь ромейский Рим, разлившись
в шесть потоков.

Один из Сербии течет, другой — в земле валахов,
А третий опалил огнем венгерские границы,
Четвертый в прах испепелил болгарские долины,
А пятый льется и грозит разлиться шире, шире,
Смешаться огненной волной с разлившимся

четвертым
И по безбережью раскатить валы кровавой пены.
Шестой поток вскипел у стен твердыни Константина:
Взметнулось пламя к небесам, рассеяв страх и ужас,
И все погибло в том огне: и крепости, и грады.
Так не дремли же, час настал! Склони свои колени
Пред господом и укрепись на славные свершенья!
Всю мудрость божью призови, покорствуй

божьей воле,
О ты, святейший из владык, о ты,
кто правишь в Риме!
Ключи апостола Петра воздень на светлом стяге,
На дело божье созови всех западных монархов,
И да придут они отмстить за город Константина!

Не забывайте: он могуч, турецкий повелитель,
И как Восток он одолел, так Запад одолеет!
Он копит силу, копит мощь, чтобы на Запад грянуть,
Затем что страх его велик пред западною силой.
Чего страшится он досель? Того, что ваши руки
Ему подрубят корень здесь, во граде Константина!
Как это страшно для него, не стану повторять я.
Она твердыня и оплот — столица Константина,
С ней ни единый не сравним из градов покоренных,
Ее низвергла только мощь турецкого владыки.
Он горы золота хранит, он движет толпы люда,
В его полках — француз, валах, и печенег, и немец,
Любых ремесел мастера его покорны взгляду,
Он им, не глядя, раздает великие богатства,

Свою судьбу, переплетенную с важнейшими историческими событиями, он запечатлел в записках. Сохранившаяся так называемая «Большая хроника Сфрандзи», как теперь выяснено, не является произведением этого автора, но сочинена в XVI в. при непосредственном редактировании текста митрополитом Макарием Мелиссеном.⁶³

Георгий Сфрандзи предстает последовательным ортодоксом, истинным «византийцем». Причиной осады Константинополя ему видится Флорентийская уния с католическим Западом, спровоцировавшая османский поход.⁶⁴ Однако общим ходом событий повелевает Бог (в том числе и турками) (114.28—36), хотя и знакомая Тиха выступает в истории в качестве злого божества (60.16).

Еще более прагматичным историком считается МИХАИЛ КРИТОВУЛ (ок. 1410 — после 1466), родившийся и живший на Имбросе.⁶⁵ Противник сближения с латинским Западом, он уже после падения Константинополя стал непосредственным исполнителем заказа султана Мехмеда II, пожелавшего получить историческое сочинение о своих свершениях. Текст «Историй» Критовула сохранила лишь единственная рукопись, в которой освещены события 1451—1467 гг.⁶⁶ Они целиком связаны с завоеваниями Мехмеда — Эноса, сербов, Лемноса, Фасоса и Самофракии, войн на Пелопоннесе, в Боснии, походов на Синопу и Трапезунд, столкновений с Венецией. История освещается как бы с точки зрения приверженца османской политики. Султан именуется «великим автократором» (т. е. «самодержцем») и «василевсом василевсов» («царем царей»); он сравнивается с Александром Великим и римскими императорами; на него переносятся и тра-

диционные для Византии категории византийской императорской идеи.⁶⁷

С другой стороны, сам Мехмед II оказался центром эллинистической древности, собирателем греческих книг, организатором переводческой работы, сентиментальным, на первый взгляд, почитателем красоты греческих городов — Афин и Константинополя. Архаические реминисценции позволяют и завоевание византийской столицы воспринять в духе соперничества двух континентов — как своеобразный «реванш» за взятие Трои ахейскими героями (297.16—21). Мехмеду, являющемуся фактически героем исторического произведения Критовула, посвящен настоящий энкомий по стилю и духу. Архаичны и сравнения героев — с Ахиллом и Аяксом, Гераклом и Дионисом, и стилизованная подчас под Гомера лексика, и древняя топонимика.⁶⁸

Образ Мехмеда формируют и относящиеся к нему предсказания и знамения; подобные сюжеты в историографии прошлого были применимы лишь по отношению к ромейским василевсам. С другой стороны, не столько Бог упоминается на страницах туркофильской истории, сколько абстрактное «божество» и — вновь на закате Византии ставшая активной исторической силой — античная богиня судьбы Тиха (137.1 и след.)

Произведение Критовула — это памятник уже новой, османской, исторической эпохи.

Среди последних византийских историков особое место принадлежит ЛАОНИКУ ХАЛКОКОНДИЛУ (ок. 1423—ок. 1490).⁶⁹ Он — единственный афинянин в истории греческой литературы средневековья: родившийся в знатной афинской семье, он затем много странствовал, учился в Морее (Пелопоннес), хорошо знал греческую и латинскую литературы. После ос

манского завоевания Пелопоннеса вернулся в Афины или переселился на Крит или в Италию.⁷⁰

Внешне его «Изложение историй» сходно с историческим трудом Критовула; тема произведения здесь та же — падение Византийской империи и возвышение Османской (описываются события 1298—1463 гг.).⁷¹ Однако исходные позиции автора принципиально иные. Уже во Введении он превозносит греческий язык как язык всего культурного мира; мировая история представляется чередой великих монархий — Ассирийской, Мидийской, Персидской и т. д., вслед за которыми свое историческое место обретает и государство ромеев — в виде эллинской и римской монархий, которым посвящен специальный экскурс (1, 4, 17—6, 12). Наконец, историк обращается к повествованию о турках. Однако широта исторического и географического кругозора Халкокондила позволили ему остановиться практически на всех известных тогда европейских странах, на ближневосточных землях, Индии, рассказать о важнейших городах.⁷²

Лаоник Халкокондил представляет собой возрождение эллинофильских воззрений в эпоху, фактически уже поствизантийскую. Если для византийской традиции понятие «эллинский» и «эллинство» были синонимичны язычеству, то теперь историк настойчиво именуется византийского императора «василевсом эллинов», в то время как термин «ромейский» (римский) применим у него лишь по отношению к латинским династиям. «Василевсом» называется и турецкий султан. При всех эллинофильских привязанностях Халкокондил далек уже от гордого самосознания ромейской исключительности, типичной для идеологии политической ортодоксии в Византии.

Происходящие глобальные перемены в мире, наблюдаемые историком, представляются столкновением двух миров. Подобно геродотовскому противопоставлению эллинов и персов как представителей двух континентов-антагонистов, описывается и современная Лаоникю борьба мусульман-османов, татар и мавров с христианами — Византией и другими народами Европы. Многим из них посвящен специальный экскурс (в т. ч. и Руси) с описанием городов и областей, уникальным во всей средневековой историографии.⁷³

Беллетризованный характер сочинения Халкокондила сказывается и в обилии рассказываемых им исторических анекдотов и новелл (в стиле итальянской ренессансной литературы), и в идеализации портретов героев, как например, Тамерлана-Тимура.

Эллинские реминисценции оживают в лексическом и стилистическом мимесисе-подражании Геродоту и Фукидиду, в архаичной этно- и топонимике, хотя и заимствованные современные автору тюркизмы и латинизмы контрастируют с анахронизмом имен.

Исследователи подчеркивают религиозный индифферентизм историка, конфессиональную толерантность: признаваемая равноценность ислама и христианства, отсутствие интереса к церковным проблемам, веротерпимость при изложении еретических учений — явное тому подтверждение.⁷⁴

Характерный фатализм исторических воззрений Халкокондила выражается как во все большей роли богини Тихи, так и в оптимистической уверенности в том, что в будущем неизбежно наступит возрождение попорченной культуры (1.2, 14—19).

Так, в конце пути своего развития византийская историческая проза приходит к формированию своего рода идеи исторического прогресса.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ *Georgii Acropolitae opera*, ed. A. Heisenberg. Bd. 1. Lipsiae 1903.

² Литературу см.: Prosopographisches Lexicon der Paläologenzeit F. 1. Wien, 1976, N 518.

³ Poeti bizantini di Terra d'Otranto bel secolo XIII / A cura di Marcello Gigante (Collana di studi e testi / Diretta da Antonyo Garzya, 7). Napoli, 1979.

⁴ *Gigante Marcello*. Scritti sulla civiltà letteraria byzantina (Saggi Bibliopolis, 5). Napoli, 1981.

⁵ *Georgii Pachymeris*. De Michaelae et Andronico Palaeologis libri tredecim, rec. I. Bekkerus, Bonnae, 1835. Vol. 1—2.

⁶ *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978, Bd. 1. S. 448.

⁷ Εὐστρατιάδης Σ Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου... ἐπιστολαὶ καὶ μῦθοι. — 'Εκκλησιαστικὸς Φάρος. Τ. 1—5. 'Αλεξανδρεία, 1908—1910; N 132.5—10, N 134.24—27, N 135.4—14, N 136.70—72, N 137.18—21, N 160.3—14, N 162.5—7, N 164.1—24, N 172.3—5, N 181.4—8.

⁸ *Arnakis G.* George Pachymeres — a Byzantine Humanist. — The Greek Orthodox Theological Review, 1966—1967. Vol. 12. P. 161—167; cf. *Hunger H.* Op. cit., S. 451.

⁹ *Фрейберг Л. А., Попова Т. В.* Византийская литература эпохи расцвета. IX—XV вв. М., 1978. С. 239.

¹⁰ *Arnakis G.* The Names of the Months in the History of Georgios Pachymeres. — BNJ, 1945—1949 (1960). Bd. 18. S. 144—153.

¹¹ *Hunger H.* Loc. cit.

¹² Ἀπανθ' ὁ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος / Φύει τ' ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται... Ср. у Пахимера: τὸ φανέντα κρύπτεσθαι... (1.12.8).

¹³ *Медведев И. П.* Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976. С. 29.

¹⁴ См.: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество. М., 1978. С. 74 и след.

¹⁵ Нередко указываются даты жизни историка — около 1295 г. — 1361 г.: *Guilland R.* Essai sur Nicéphore Grégoras. L'homme et l'oeuvre. Paris, 1926. P. 4; *van Dieten J.-L.*

Entstehung und Überlieferung der Historia Rhomae des Nikephoros Gregoras. Köln, 1975. S. 1—2.

¹⁶ Guiland R. Op. cit. P. 82.

¹⁷ Beyer H.-V. Nikephoros Gregoras als Theologe und sein erstes auftreten gegen die Hesychasten. — JOB, 1971. Bd. 20 S. 171 f.

¹⁸ Nicephori Gregorae Byzantina historia... Ed. L. Schopen. Bonnae, 1829—1830. Vol. 1—2; Nicephori Gregorae Historiae Byzantinae libri postremi, ed I. Bekkerus. Bonnae, 1855. (Vol. 3).

¹⁹ Van Dielen J.-L. Op. cit. S. 12 ff.

²⁰ Pachym. I.13.1. Sq.

²¹ 1.5.5—7. Ср.: Досталова Р. Византийская историография (характер и формы). — ВВ. 1982. Т. 43. С. 25.

²² Guiland R. Op. cit., p. 231.

²³ PG, t. 145, 557—1332; tt. 146, 147.1—448.

²⁴ Каждан А. П. «Корабль в бурном море». К вопросу о соотношении образной системы и исторических взглядов двух византийских писателей. — В кн.: Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 10.

²⁵ Sevcenko I. Society and Intellectual Life in Late Byzantium. London, 1981. N 11. P. 172.

²⁶ Nicephori Gregorae Epistulae, ed. P. A. M. Leone. 1982. Vol. 2. N 13: пер. — Медведев И. П. Византийский гуманизм С. 12.

²⁷ Подробнее об этом: Каждан А. П. «Корабль в бурном море». С. 3 сл.

²⁸ Moutsopoulos E. La notion de «kairicité» historique chez Nicéphore Gregoras. — Византика, 1972, Т. 4. P. 203—213.

²⁹ Каждан А. П. «Корабль в бурном море». С. 14.

³⁰ Медведев И. П. Византийский гуманизм. С. 14.

³¹ Bréhier L. Les empereurs byzantins dans leur vie privée. — Revue Historique, 1940. P. 193—217.

³² Sevcenko I. Society and Intellectual Life, N I. P. 69 sq.

³³ Прохоров Г. М. Публицистика Иоанна Кантакузина 1367—1371 гг. — ВВ, 1968, Т. 29. С. 322 и след.

³⁴ Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum libri.. ed. L. Schopen. Bonnae, 1828—1832. Vol. 1—3.

³⁵ Nicol D. M. The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca 1100—1460. Washington, 1968. P. 35—103.

³⁶ Dolger F. Johannes VI. Kantakuzenos als dynastischer Legitimist. — Параспорá. Ettal, 1961. S. 194—207.

³⁷ Франчес Э. Народные движения осенью 1354 г. в Константинополе и отречение Иоанна Кантакузина. — ВВ. Т. 25. 1964. С. 144 и след.; Matschke K.-P. Fortschritt und Reaktion in Byzanz im 14. Jh. Berlin, 1971. S. 197 ff.

³⁸ Максимовић Л. Политичка улога Јована Кантакузина после абдикације (1354—1383). — Зборник радова Византолошког института. Кн. 9. 1966. С. 121 и след.; Nicol D. M. The Abdication of John VI Cantacuzene. — Byzantinische Forschungen. Bd. 2. 1967. S. 269—283.

³⁹ Kazhdan A. P. L'Histoire de Cantacuzène en tant qu'œuvre littéraire. — Byzantion. T. 50. 1980. P. 294 sq.

⁴⁰ Hunger H. Thukydides bei Johannes Kantakuzenos. Beobachtungen zur Mimesis. — JOB, 1976. Bd. 25. S. 135; Miller T. S. The Plaque in John VI Cantacuzenus and Thucydides. — Greek, Roman and Byzantine Studies, 1976, Vol. 17. P. 393 sq.

⁴¹ Cp.: Teoteoi T. La conception de Jean VI Cantacuzene sur l'état byzantin, vue principalement à la lumière de son Histoire. — RESEE. 1975. T. 13. P. 167—185.

⁴² Weiss G. Joannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Keiser und Monch — in der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert. Wiesbaden, 1969. S. 70 ff.

⁴³ Cp.: Bratianu G. L. «Democratie» dans le Lexique byzantin à l'époque des Paleologues. — Mémorial L. Petit. Bucarest. 1948. P. 36.

⁴⁴ Meyendorff J. Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris. 1959. P. 130 sq.

⁴⁵ Поляковская М. А. Дмитрий Кидонис и Иоанн Кантакузин (К вопросу о политической концепции середины XIV в.). — ВВ, 1980. Т. 41. С. 182; она же. Общественно-политическая мысль Византии (40-е—60-е гг. XIV в.) Свердловск, 1981. С. 27 и след.

⁴⁶ Weiss G. Op. cit. S. 2—5.

⁴⁷ Lampsides O. Μιχαήλ τοῦ Παναρέτου περὶ τῶν μεγάλων Κομνηνῶν. Athenes, 1958.

⁴⁸ Успенский Ф. И. Очерки из истории Трапезундской империи. Л., 1929; Vasiliev A. The Empire of Trebizond in History and Literature. — Byzantion. 1940—1941. T. 15. P. 316—377; Карпов С. П. Трапезундская империя в визан-

тийской исторической литературе XIII—XV вв. — ВВ. 1973. Т. 35. С. 154—164.

⁴⁹ *Cirac Estopañan S.* Bizancio y España. — El legado de la basillisa Maria y de los despotas Thomas y Esaú de Joannina. Barcelona, 1943.

⁵⁰ *Vranoussis L.* Deux historiens byzantins qui n'ont jamais existé: Comnenos et Proclos.

⁵¹ *Tsaras G.* 'Ιωάννου 'Αναγνώστου Διήγησις περὶ τῆς τελευταίας ἀλώσεως τῆς Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. 1958.

⁵² *Laurent V.* Les «Mémoire» de Grand Ecclésiarque de l'Eglise de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438—1439). Paris, 1971; *Kresten O.* *Nugae syropulianae...* — Rev. Hist. Text. 1974. T. 4. S. 75—138.

⁵³ *Schreiner P.* Die byzantinischen Kleinchroniken. Wien, 1975. Bd. 1—3; *idem.* Studien zu den BRAXEA XRONIKA. München, 1967.

⁵⁴ *Dujčev I.* Cronaca di Monemvasia. Palermo, 1976.

⁵⁵ *Bibikov M. V.* Compte-rendu: Cronaca di Monemvasia. — Byzantinoslavica. 1980. T. 41. P. 64—65; *idem.* Monemvasia, Cronik von. — Lexikon des Mittelalters. München-Zürich, 1992. Bd. 6.

⁵⁶ *Pinto E.* Giovanni Cananos. L'assedio di Constantinopoli. Messina, 1977.

⁵⁷ *Grecu V.* Ducas, Istoria Turco-Bizantina (1341—1462). Bucuresti, 1958.

⁵⁸ *Pertusi A.* La caduta di Constantinopoli. Verona, 1976. Vol. 2. P. 160—193.

⁵⁹ *Magoulias H. J.* Doukas. Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks. Detroit, 1975.

⁶⁰ *Красавина С. К.* Политическая ориентация и исторические взгляды византийского историка XV в. Дуки. — Проблемы всеобщей истории. Казань, 1967. Т. 1. С. 269 и сл.; она же. Мировоззрение и социально-политические взгляды византийского историка Дуки. — ВВ. 1973. Т. 34. С. 97—111.

⁶¹ *Turner C. J. G.* Pages from Late Byzantine Philosophy of History. — Byzantinische Zeitschrift. 1964. Bd. 57. S. 346—373.

^{61a} *Legrand E.* Bibliotheque grecque vulgaire. Paris, 1880. T. 1.

⁶¹⁶ Beck H.-G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971. S. 164—165.

⁶¹⁸ Памятники византийской литературы IX—XIV вв. М., 1969. С. 418—419.

⁶² Grecu V. Georgis Sphrantzes. Memorii 1401—1477. Bucuresti, 1966; *idem*. Das Memoirenwerk des Georgis Sphrantzes. — Actes du XII^e Congrès Int. Des Etudes Byzant. (Ohrid, 1961). Beograd, 1964. T. 2. P. 327—341.

⁶³ Красавина С. К. К вопросу о византийской историографии XV в. — Из истории Балканских стран. Краснодар, 1975. С. 111—113.

⁶⁴ Она же. Византийские историки Дука и Сфрандзи об унии православной и католической церкви. — ВВ. 1965. Т. 27. С. 147—150.

⁶⁵ Andriotes N. P. Κριτόβουλος ὁ Ἰμβρὸς καὶ τὸ ἱστορικὸν τοῦ ἔργου. — Hellenika. 1929. T. 2. P. 167—200; Grecu V. Kritobulos aus Imbros. — Byzantinoslavica. T. 18. 1957. P. 1—17.

⁶⁶ Grecu V. Critobul din domnia lui Mahomad al II-lea anii 1451—1467. Bucuresti, 1963.

⁶⁷ Ср.: Удальцова З. В. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критобула. — ВВ. 1957. Т. 12. С. 172—197.

⁶⁸ Hunger H. Die hochsprachliche... S. 500—503.

⁶⁹ Darkó E. Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes. Budapest, 1922—1927. Bd. 1—2.

⁷⁰ Греку В. К вопросу о биографии и историческом труде Лаоника Халкокондила. — ВВ. 1958. Т. 13; Веселаго Е. Б. Еще раз о Лаонике Халкокондиле и его историческом труде. — ВВ. 1958. Т. 14. С. 190. Wirstrand A. Laonikos Chalkokondyles, der letzte Athener. Lund, 1972.

⁷¹ Веселаго Е. Б. Историческое сочинение Лаоника Халкокондила. — ВВ. 1957. Т. 12. С. 203—217; Она же. К вопросу об общественно-политических взглядах и мировоззрении византийского историка XV Лаоника Халкокондила. — Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 1960. Т. 9 (№ 1). С. 43—49.

⁷² Ditten H. Bemerkungen zu Laonikos Chalkokondyles' Deutschland-Exkurs. — Byzantinische Forschungen. 1966. Bd. 1. S. 49—75; *idem*. Spanien und die Spanier im Spiegel der Geschichtsschreibung des byzantinischen Historikers Laonikos Chalkokondyles (15. Jh.). — Helikon. 1963. T. 3.

S. 170—195; *idem*. Bemerkungen zu Laonikos Chalkokondyles' Nachrichten über die Länder und Völker an den europäischen Küsten des Schwarzen Meers (15. Jh.) — *Klio*. 1965. Bd. 43 — 45 S. 185—246; *Ducellier A.* La France et les îles Britanniques vues par un byzantin du XV^e s. — *Melanges E. Perroy*. Paris, 1973. P. 439—445.

⁷³ *Диттен Х.* Известия Лаоника Халкокондила о России. — *ВВ*. 1962. Т. 21. С. 51—94; *Ditten H.* Der Russland Exkurs des Laonikos Chalkokondyles. Berlin, 1968.

⁷⁴ *Бибиков М. В., Красавина С. В.* Некоторые особенности исторической мысли поздней Византии. — *Культура Византии. XIII—первая половина XV в. М., 1991. С. 297.*





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ПРОБЛЕМЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСТОРИЗМА

Проблему античного континуитета византийской культуры не отнесешь к разряду новых. Напротив, с самого начала Византия заинтересовала науку, прежде всего, как эпилог античности (собственно, изучалась **так** называемая «Поздняя» империя, в самом названии которой был узаконен пейоративный оттенок). Византистика возникла не как самостоятельная наука, а как составная часть классической филологии. Соответственно византийское историописание изучалось эллинистами лишь как своего рода «христианизированное» продолжение традиций античной историографии.¹ В принципе такой взгляд не изменился и до конца прошлого столетия: Карл Крумбахер, книга которого до недавнего времени была единственным фундаментальным сводом знаний о византийских письменных памятниках, ориентировался, прежде всего, на античные культурно-исторические ценности в оценке византийской литературы. Близость античным формам определяла в его глазах значимость творений византийцев. Византийская философия выглядела обедненным повторением Платона и Аристотеля, византийская риторика — формализованной в школьную повинность и выхолощенной, пусть и достигшей совершенства сти-

ля, второй софистикой; эпигонством и фантастическим преломлением характеризовалась византийская естественно-научная литература, забвение античных высот музыкальной культуры отличало музыкальную теорию византийцев. Античные традиции, по К. Крумбахеру, доминировали и в византийском историописании, причем значение хроник исчерпывалось донесением до нас в убогих компиляциях несохранившихся древних оригиналов.² В соответствии с этим и основные критерии находились не в самой византийской действительности, а в античном прошлом, и подобно тому как основной литературной заслугой средневековых греков считалось филологическое комментирование древних, вся византийская культура и литература представляла как бы ученическим комментарием к шедеврам древности, не будучи связанной ни со своим временем, ни с движением вперед.

В современной византистике эта проблема стоит с меньшей остротой: она не является аксиоматичной, и для доказательства античного «содержания» византийской цивилизации применяются статистические выкладки, скрупулезный анализ по клеточкам составных элементов византийской культуры, используются результаты текстологических сопоставлений, все факты рассматриваются с логической строгостью без аксиологизма XIX столетия. Так, западногерманский византист Гюнтер Вейс, рассекая византийское общество на анализируемые составные единицы, определяет качественную неизменяемость византийской общественной структуры, сохранение в ней принципиальных античных моделей.³

Если обратиться к византийскому историописанию, то и в этой области можно встретиться с подобными выводами. Шведская исследовательница Антира Гад-

лин,⁴ сравнивая принципы историографического творчества в Византии XI в. (с опорой преимущественно на Михаила Пселла) с античными, получает вывод о фактическом тождестве средств и методов у историков классической Византии и античной древности. Более того, утверждается, что вся система общественных ценностей не претерпела изменений со времени античной Греции, что критерии полуторатысячной давности применялись как шаблон византийскими авторами без существенной трансформации.

Но если антиисторизм данного исследования очевиден (автор фактически исключает из поля своего внимания V—X вв. византийской истории, оценивая этот период как бесследные в истории культуры «темные века». Таким образом, не только декларируется отказ от изучения эволюции исторического процесса, но исследовательской задачей оказывается механическое сопоставление изолированных факторов), то Клаус Весель внешне дает картину развития.⁵ Византийская культура в этом прекрасно иллюстрированном компе́ндиуме — не просто монолитная глыба, не бессистемный каталог памятников: автором дается классификация, устанавливаются и хронологические вехи тысячелетнего пути цивилизации. Но, как справедливо отмечалось рецензентами, периодизация в данном случае как раз приводится с целью доказать принципиальную внутреннюю неизменность феноменов византийской культуры всех обозначенных периодов.

Памятники средневековой литературы также оцениваются по степени близости античным прототипам и образцам. Неслучайно в опубликованной уже в наше время книге А. Тойнби отметил основную бытующую ассоциацию в связи с византийской культурой — это понятие консерватизма.⁶

Такой взгляд нельзя считать просто нелепым недо-
разумением. Обратимся к византийским историческим
текстам и увидим, что византийская история в глазах
самых византийцев — это не что иное, как история
римлян. О римлянах — «Ρωμαῖοι» — писали Полибии,
Диодор Сицилийский или Плутарх; тем же именем на-
зывают себя и своих современников Феофан и Михаил
Пселл, Иоанн Скилица и Никита Хониат, Георгий Па-
химер и Иоанн Кантакузин, утверждая идею полити-
ческой преемственности с Древним Римом. Лаоник
Халкокондил называет византийского императора и
православного патриарха «василевсом эллинов» и «эл-
линским архиереем», словно рассказ идет об эллини-
стической древности. Для Вриенния или Зонары Адри-
анополь остается древней Орестиадой,⁷ Феодор Скута-
риот вспоминает старинное название реки Вардар —
Аксиос,⁸ легендарный Вавилон олицетворяет у Пселла
современный ему Багдад.⁹ Архаизация употребляемой
этно- и топонимики — элемент системы словоупотреб-
ления византийских историков.¹⁰ В XII в. н. э. визан-
тийские историки, характеризуя этногеографический
облик Причерноморья, пишут о гелонах, агафирсах,
аримаспах и иссидах. Этногеографическая картина ми-
ра Геродота, Посидония или Страбона как бы актуа-
лизуется на страницах византийских хроник.¹¹

Не только этническая, но и социально-полити-
ческая терминология античной эпохи оживает у визан-
тийских историков. Герусия, гетерии, архонты, трие-
ры, оболы, дарики, статеры, парасанги — реальные
понятия для Фукидида или Ксенофонта; августы, цеза-
ри, патриции, дуксы, магистры, преторы — герои Ап-
пиана и Диона Кассия — «участвуют» в исторических
событиях средневекового мира на страницах сочине-
ний Феофилакта Симокатты, Константина Багрянород-

ного, Кекавмена, Пселла или Киннама.¹² Эти термины обозначают теперь сугубо средневековые феодальные институты — высший совет знати синклит, чины иерархической лестницы — патрикиев, кесарей, дук, императриц, провинциальных правителей, византийские монеты — фоллы и номисмы и меры длины — мили.

Византийские авторы сами провозглашали и культивировали принцип подражания — «мимесиса» — классическому прошлому. Известное высказывание Феодора Метохита — «Все уже сказано, и ничего не осталось потомкам»¹³ — подкрепляет, казалось бы, укоренившееся утверждение об отсутствии в византийском историописании какой бы то ни было новой техники, нового критического метода и, главное, принципиально нового восприятия мира по сравнению с античностью.¹⁴

Другой крайностью в оценке средневекового мировосприятия является отказ средневековому историописанию в оригинальности и актуальности, понимание под средневековым историописанием лишь приложения схоластических методов к истории.¹⁵ С представлением о византийской культуре связывается часто понятие декаданса; христианизация представлялась источником формализации мысли и дегуманизации культуры.

«Кембриджская средневековая история» (раздел о византийской литературе подготовлен Францем Дэльгером) характеризует произведения византийских авторов как нечто искусственное, как скорее упражнение в формальном и техническом мастерстве, чем результат непосредственного вдохновения или значительных переживаний.¹⁶ Еще более ригоричен приговор Ромилли Дженкинса: эллинистическая риторика стала якобы бичом византийской словесности — она выхолостила

содержание последней, в результате чего византийцы ломали себе голову и затуманивали рассудок языком, чуждым действительности. Не было в Византии поэзии — была-де только риторическая (в плохом смысле) версификация, витиеватая и безвкусная. Всякая оригинальность, всякая свежесть, всякое чувство были задушены. Византийские памятники не были, по суждению Р. Дженкинса, никак связаны с жизнью, не служили средством выражения мысли, оставаясь формальными, схоластическими школярскими упражнениями.¹⁷

Отказано в оригинальности и «литературной продукции» (характерен сам введенный термин — с кавычками в отношении литературы!) и в последнем сводном описании византийской цивилизации у Андре Гийу; лучшей «продукцией» признаются лишь сочинения, созданные чисто религиозным воображением.¹⁸ Отказ византийским творениям в жизненности, представление об их абстрактности, несвязанности непосредственно с исторической реальностью эпохи их возникновения позволяет видеть в византийской литературе лишь кривое зеркало действительности, не помогающее воспринимать и постигать византийскую культуру, а создающее искусственные препятствия для этого, зашифровывая смысл. Такова оценка оксфордского византиниста Кирилла Манго.¹⁹

Казалось бы, действительно, византийские церковные хроники, начиная с Евсевия, знаменовали решительный разрыв с античным мировосприятием. Историческое время и исторический герой стали трактоваться по-новому. Принцип отталкивания от античного культурного наследия декларируется в «Покорении Крита» Феодосием Диаконом.²⁰ Время становится телеологичным: по Каминиату, венец добродетели —

жизнь вечная.²¹ Время становится и эсхатологичным. Ожидание конца мира, страх перед ним побуждают Феофана, Кекавмена, Георгия Акрополита или Дуку видеть в набегах «варваров», землетрясениях, эпидемиях и неурожаях проявление карающего Божьего гнева. При таком восприятии время движется к определенной точке в будущем, символизирующем катастрофическое очищение мира. Показательно утверждение Пселла, что «все устремилось к гибели и ухудшилась донельзя участь Ромейской державы».²² Этот предел становится фетишем, а исторический процесс из «арены выбора» человека,²³ каким он являлся в классической Элладе, превращается будто бы в проекцию, направляемую высшими трансцендентными силами. На смену авторской уверенности античного историка в значимости своего труда приходит принцип творчества на грани анонимности. Девиз Иоанна Дамаскина «ничего своего»²⁴ воплощается и в декларации анналиста Феофана — писать, «ничего не прибавляя от себя».²⁵

Итак, при разнице в оценках отношения византийской культуры к античному наследию, оба изложенных взгляда исследователей сходны в отрицании самобытности литературы древних греков, ее связи с жизнью. Принципу историзма, позволяющему видеть в каждом культурно-историческом явлении его непреходящую значимость, его, с одной стороны, обусловленность предшествующим ходом развития общества, а с другой — самодовлеющее значение новизны достижений данной эпохи, — этому принципу противопоставляется концепция культуры, рассматриваемой как бы вне времени и пространства, как «замкнутый мир, куда живая реальность не проникала» (слова Поля Лемерля о византийском энциклопедизме).²⁶

Рассмотрим, несколько выйдя за хронологические рамки книги и ориентируясь на византийское историописание X—XV вв., применимость отмеченных взглядов на византийскую литературу относительно таких областей исторического мировидения, как организация исторического пространства и времени и изображение исторического героя.

За внешней идентичностью элементов пространственных перцепций византийской историографии с античными представлениями стоят принципиальные различия всей системы понятий. Историографы классической древности исходили в целом из полисных критериев: полис являлся точкой отсчета в пространстве. Геродот, давая ту или иную локализацию события, как бы приглашает сограждан в путешествие. Кризис рабовладельческого полиса не разрушил, но укрепил тягу к возрождению полисной идеологии: римская архаика реактуализируется Титом Ливием, полисная гражданственность в единстве со все развивающейся этикой отдельной семьи реставрируется Плутархом. Даже универсализм Полибия в конечном счете сводится к исходной позиции гражданина мегаполиса — Рима. Это становится уже само собой разумеющимся общим местом для Диодора.²⁷ Скульптурно осязаемые полисные пространственные ориентации переполнены атрибутами мифологических и полумифологических элементов, в которых никогда не умирали общинные связи архаики, как бы далеко ни заходила эмансипация личности на исходе античности.

Византийская историография не только унаследовала от эллинизма пространственную протяженность диаспоры взамен полисной конкретности древнегреческой классики,²⁸ но культивировала и христианский

экуменизм. Аппелирующая к ойкумене антитеза мира христиан миру непосвященных не стала простой заменой античной оппозиции эллины—«варвары». Определенность, стабильность понятия полиса уступила место в византийской историографии неконкретности, абстрактной локализации постулируемой ойкумены. Таков дихотомический («ромей—неромей») принцип описания мира у Константина Багрянородного. Это пространство — будь то у Скилицы, Анны Комнин или Никиты Хониата, — потеряв полисные связи, не обрело подобной четкой и адекватной структуры. Оно дифференцировано и противоречиво в своем построении. Одно и то же явление находится сразу в нескольких отношениях связи в этом пространстве. Так, можно установить несколько уровней воззрений, например, на Древнерусское государство у византийских историков XII—XIII вв.²⁹

Пространственное членение оказывается не только неоднородным, но даже противоречивым, а идеология ойкуменизма принимает скорее символическую, чем реально осязаемую форму. Характерный средневековый символ организации пространства византийскими историками проявляется и в психологической окраске описываемого места действия. Горы, леса у Льва Диакона, Кекавмена становятся символом опасности³⁰ и, вместе с тем, у Пселла — символом уединения, отшельничества, анахоретства,³¹ а у Иоанна Каминиата связаны с представлением о монастырском укрытии.³² Море для Никиты Хониата соименно с бурей, шквалом, бедствиями, гибелью,³³ а для Пселла или Никифора Григоры — чаще с тихой гаванью, успокоением, устойчивостью, стабильностью.³⁴

Пространство в византийской историографии индивидуализируется в восприятии. Символичность и

неконкретность ойкуменической установки восполняется пристальным вниманием к «своей», индивидуальной точке вселенной. Именно это средоточие в пространстве становится личностно окрашенным местом притяжения интересов византийского историка. Так, Малала особое внимание уделяет Антиохии, Иоанн Каминиат сосредоточен на Солуни, Пселла интересуется императорский двор в Константинополе, Никита Хониат не преминет упомянуть родные Хоны, для Киннама придунайские области, где он оказался в военных походах, конкретнее и ближе, чем центр империи. И все же основной центр пространственных ориентаций, политических интересов — столица на Боспоре. Центром мира, «вторым раем» назовет ее Дука.³⁵ И эта гипертрофическая исключительность сама превращается в символ императорской власти, всемирного центра культуры.

Пространство несет и «этническую» нагрузку. Мир земной представляется миром борьбы, противоречий, наконец, миром, являющимся в целом антитезой «небесной гармонии». Дуалистично само восприятие космоса как арены борьбы добра и зла, подвижничества и греха, небесного и земного, духовного и материального.

Итак, историческое пространство византийской историографии при внешнем тождестве этногеографической номенклатуры, представляет отличную от классической античности систему. На смену скульптурно-осязаемому полису, являвшемуся ценой деления пространственных оценок и атрибуций,³⁶ приходит доходящий до символизма универсализм — обратная сторона партикуляризма. Личностное, дифференцированное восприятие пространства отражает новый характер социальных связей средневекового общества.

Не менее разительный сдвиг византийская историография осуществила в сфере понятия исторического времени. Мифологическое время античного мира с идеей кругового движения, постоянного возвращения, цикличности исторического развития соответствовало полисным мировоззренческим установкам. Углубление дифференциации понятия вечности, выделение личности из родовой общности вызвало как раз реставрационную реакцию классицизма. Так, эллинизм критикуется с позиций классицизма Плутархом.³⁷ Живучесть полисных представлений на закате античности проявилась в идее стабильности исторического процесса у Марка Аврелия.³⁸

Итеративность времени, наблюдаемая, например, у Феодосия Диакона,³⁹ не тождественна цикличности античного восприятия времени. Время в византийской историографии индивидуализировано: царствование Алексея I вычленено у Анны Комниной из временного потока; Никифор Вриенний объективно формирует временную структуру событий, антидетерминизм и провиденциализм Григоры столь же индивидуализированы, сколь и своего рода «трагическая ирония» сцепления событий у Никиты Хониата. Историческое время в христианстве так же драматизировано, как и историческое пространство. Для Евстафия это — «пестрая череда бед, поглощающая каждого несчастного».⁴⁰

Партикуляризация концепции времени тесно связана с символикой временной организации в византийском историописании. Смена дня и ночи, астрономические явления воспринимаются как пророческие знамения. Патриарх Никифор повествует о звездопаде, предшествовавшем иконоборческим смутам;⁴¹ Продолжатель Феофана затмение Луны оценил провозвест-

ником смерти василевса Льва VI,⁴² у Скилицы появление кометы символизировало близкую кончину Иоанна Цимисхия,⁴³ а конец жизни императрицы Ирины, супруги Иоанна III Ватаца, был определен, по Феодору Скутариоту, солнечным затмением;⁴⁴ гадания и гороскоп привлекают пристальное внимание Никифора Григоры.⁴⁵ Время, отсчитываемое не равными количественными промежутками, а чередованием стихийных примет, знаков, символов, предзнаменований, а также пророчеств, наполняет движение исторического процесса у Малалы, Генесия, Скилицы, Константина Манасси и др.;⁴⁶ многочисленны символические вехи повествования у Михаила Атталиата — землетрясения, пожары, кометы и лунные затмения.⁴⁷ Символическим толкованием явлений и примет наполнена хроника Михаила Глики.⁴⁸

Историческое время в византийском историописании выражается в антропоморфных категориях. Его содержание — человеческие деяния, а не абстрактный ход хронологических отрезков. Анналистический принцип повествования Феофана остался уникальным для Византии. Время у Пселла, Анны Комниной, Киннама, Кантакузина или Пахимера измеряется длительностью человеческой жизни исторического героя.

Мир исторических героев византийского историописания во многом близок, казалось бы эллинской древности.⁴⁹ Антикизация византийской современности выражается в сопоставлениях: у Льва Диакона император Никифор Фока подобен Гераклу, Иоанн Цимисхий — Тидею,⁵⁰ с Гераклом сравнивается герой Анны Комниной.⁵¹ Подобные сравнения находим мы и у Пселла, Киннама, Никиты Хониата и многих других; Никифор Вриенний исторические примеры черпает из историй Брасида, Александра Великого,

Тимофея, Перикла.⁵² Изображение событий и героя в византийских хрониках нередко совпадает по форме с античными историческими новеллами. Рассказ Прииска Панийского о нападении гуннов на Наисс совпадает с фукидидовским описанием осады Платей,⁵³ а история сасанидца Пероза напоминает известия Геродота о египтянине Амасиде и персидском царе Камбисе.⁵⁴ Однако, как показал источниковедческий анализ, совпадение рассказов по форме с сюжетами античных историков не повлияли на достоверность изложения.⁵⁵ Итак, антикизированная форма, скрывая новое содержание, несет печать жанрового этикета.

Ставшее трюизмом представление об историческом герое средневековой историографии как стереотипном, состоящем из набора клише, определено также символизмом изображения человеческой личности в историческом потоке. Моралистическое выявление «этоса» героя в античной историографии связывалось с изображением телесной красоты, с раскрытием внешних проявлений героического характера. Византийцу интереснее открытие, «откровение» незаурядного в повседневном, обычном, социально незначимом. Так отвергается Феофилом красота Касии в хронике Логофета.⁵⁶ Даже хорошего воина, по утверждению Никифора Вриенния, отличают не высокий рост, не телесная сила, не суровый и сильный голос, но душевное благородство и стойкость в перенесении трудностей. Вместо телесной красоты византийскими историками описываются телесные болезни. Человек — отблеск Идеи, носитель символа. Убогий нищий, святость которого влияет на ход событий в природе и истории, спорит в византийских хрониках с фигурой могущественного императора.

Символизм и противоположная античным вкусам непластичность византийских исторических героев

проявляется и в формировании портрета. Не столько эмоциональный образ, сколько описание черт составляет характеристику личности.⁵⁷ Цвет волос, яркость губ, оттенок глаз, «благородная» стать, сочетание «нормативных» цветов в одежде и во всем облике (золото, пурпур, белизна, иногда — лазурь) отражает этический и эстетический идеал у Анны Комниной.⁵⁸ Перечисляемые черты исторического героя не нейтральны, а несут определенную моральную, символическую нагрузку. Но портретная нормативность, стандартность героев Михаила Пселла не исключает их духовную сложность.⁵⁹ Индивидуализация авторского метода византийской историографии сказывается в перенесении акцента именно на духовный мир человека, причем, — нередко оказывающийся в противоречии с внешними проявлениями героя.

Герою в византийской историографии противопоставлен, как показали наблюдения исследователей, антигерой: эта антитеза олицетворяет борьбу добра и зла, света и тьмы. По контрасту с Робертом Гвискарсом, Боэмундом и Танкредом вырисовывается героическая личность Алексея I в сочинении Анны Комниной, благородство жителей Сиракуз противопоставлено Иоанном Каминиатом образу эмира, портрет Иоанна Цимисхия у Льва Диякона — полная противоположность Никифору, образ апологета Мануила I у Киннама очерчивается последовательной негативной оценкой его противников. У Пселла и Никиты Хониата дихотомия в изображении героя перенесена на внутреннюю, этическую сферу человека (таковы, например, Константин IX Мономах или Андроник Комнин).

На формирование средневекового метода изображения героя, отличного от античности, оказала самое непосредственное влияние феодализация византийско-

го общества. Знаменательно утверждение у Атталиата, Вриенния, Анны, Скилицы фигуры героя — родового аристократа. Благородство происхождения, принадлежность к определенному клану становятся важнейшими элементами формирования византийским историком образа героя.

Таким образом, подобно тому как историческое пространство византийской историографии внешне кажется идентичным античному, на деле же является глубоко отличным от него; как историческое время постулируется линейным отражением трансцендентных высших сил, оборачиваясь индивидуализированно организованным и окрашенным партикуляризмом восприятия, так и исторический герой — при всем символизме и стереотипности оказывается живой деятельной фигурой, связанной со своим обществом и эпохой. Основные категории византийского историзма, вырастая из эллинистических норм, превращаются в новые по содержанию понятия. Они соответствуют уже иному, по сравнению с античным периодом историописания, уровню социально-экономического развития средневекового общества с его специфическими хозяйственными нуждами, политической структурой и идеологией. И при этом в центре внимания византийских историографов стоит не абсолютная иррациональная отчужденная от мира людей идея, а борющийся и сомневающийся, угнетаемый и торжествующий человек.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Об этом: *Beck H.-G. Die Byzantinische Studien in Deutschland vor Karl Krumbacher.* — ХАЛИКЕС, S. 70—71; *id Byzantinistik heute.* Berlin—New-York, 1977, S. 9; *Курбатов Г. Л. История Византии.* С. 18, 32, 40 и сл.

² *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur S. 319.

³ *Weiss G.* Antike und Byzanz. Die Kontinuität der Gesellschaftsstruktur. — Historische Zeitschrift, 1977, Bd. 224. S. 529—560.

⁴ *Gadolin A. A.* Theory of History and Society with Special Reference to the Chronographia of Michael Psellos (11-th Century Byzantium). Stockholm; Goteborg; Uppsala, 1970

⁵ *Wesel K.* Die Kultur von Byzanz (*Handbuch der Kulturgeschichte*). Frankfurt a. M., 1970.

⁶ *Toynbee A.* Constantine Porphyrogenitus and his World London; New-York; Toronto, 1973. P. 524.

⁷ Ври. 217.25; Зон. 625.5—7.

⁸ Скут. 421.

⁹ Пс. I.7: XI.2.

¹⁰ См. соответствующие этнонимы в: *Moravcsik Gy.* Byzantinoturcica, Bd. II. Подробнее: *Бибиков М. В.* Византийская этнонимия: архаизация как система. — Античная балканистика. М., 1980. С. 70—72.

¹¹ *Бибиков М. В.* Пути имманентного анализа византийских источников по средневековой истории СССР (XII—первой половины XIII вв.) — Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. М., 1973. С. 101.

¹² Сим. 257.14, ср. Феоф.. 271.17; Конст. 56.29; Кек. 198.1; 288.23; 174.24; 276.15; 280.6; 174.11.13; 280.12; 282.9; 266.6; Пс. I. 147; XII.7; II.9; XCII, 5; 10: XCIII; Кинн. 31.10; 277.33.

¹³ Мет. 14.

¹⁴ *Krumbacher K.* Geschichte... S. 227.

¹⁵ *Dempf A.* Sacrum Imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance. Munchen; Berlin, 1929. S. 251.

¹⁶ *Dolger F.* Byzantine Literature. In: The Cambridge Medieval History. V. IV. P. 2. Cambridge, 1967. P. 210.

¹⁷ *Jenkins R.* Byzantium. The Imperial Centuries: A. D. 610—1071. New-York, 1966. P. 385.

¹⁸ *Guillou A.* La civilisation Byzantine. Paris, 1974. P. 334, 347.

¹⁹ *Mango C.* Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Oxford, 1975.

- ²⁰ Ф. Диак. I.225—259; ср. Л. Диак. 97.10—12.
²¹ Кам. 3.12—13.
²² Пс. I.119; V.10—12. Пер. Я. Н. Любарского.
²³ Ср.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 35.
²⁴ PG. 94, col. 525.
²⁵ Феоф. 4.8—15.
²⁶ Lembre P. Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X^e siècle. Paris. 1971. P. 300.
²⁷ Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография (К вопросу о месте классика жанра в истории жанра). М. 1973. С. 190 и сл.
²⁸ Cf. Beck H.-G. Das Literaturische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis. Wien, 1974. S. 8.
²⁹ См. Бибииков М. В. Древняя Русь и Византия в свете новых и малоизвестных византийских источников. — Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 296—298.
³⁰ Л. Диак. 62.13—63.4; Кек. 210.11—14.
³¹ Пс. II.67: CXCVI.5—7.
³² Кам. 7.43—46.
³³ Н. Хон. Ист. 122.58—123.59; 171.59—60; 315.73—76; 316.91; 326.51—66 и др.
³⁴ Пс. I.151: LXXII.1—4; II.58: CLXXVIII.1—5. Н. Григ. I.97. 1—6; 459.12—13; II.576.10—13; 978.23—979.6 и др.
³⁵ Дук. 385. 11—14.
³⁶ Ср.: Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 49 и сл.
³⁷ Аверинцев С. С. Плутарх... С. 190.
³⁸ М. Авр. X.27.
³⁹ Ф. Диак. II.2—27, 82—111; III.51—55; IV.33—34 и др.
⁴⁰ Евст. Взят. Сол. 4.29—30.
⁴¹ Ник. 73.8 сл.
⁴² Пр. Феоф. 376.8 сл.; ср. Л. Гр. 284.5 сл.
⁴³ Скил. 311.84—88.
⁴⁴ Скут. 485.19—25.
⁴⁵ Н. Григ. 305.13—306.2.
⁴⁶ Мал. 411.11 сл.; Ген. 8.4—9; 10.19—11.23; 21.22—22.18; Скил. 111.59; 175.59—63; 194.77—79; 311.84—88

и др.; К. Ман. Ист. 4581—4606; См.: Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. I. S. 270.

⁴⁷ Атт. 90.9—91.16; 144.11—17; 145.3—17; 241.14 сл.; 287.38 и др.

⁴⁸ М. Гл. 33.9 сл.; 48.22 сл.; 214.5 сл.; 487.19—21; 515 8 сл.; 560.11 сл.

⁴⁹ Ср.: Welskopf L. E. Menschenbild in der Antike. — Проблемы античной истории и культуры. Т. II. Ереван, 1979. С. 7—13.

⁵⁰ Л. Диак. 48.14—18; 59.11—12.

⁵¹ Анна. 19.6.

⁵² Ври. 143.18—145.1; 165.19; 199.5 сл.

⁵³ Фук. II 75 и сл.

⁵⁴ Герод. III.1.

⁵⁵ Benedicty R. Die historische Authentizität eines Berichtes des Priskos. Zur Frage der historischen Novellisierung in der frühbyzantinischen Geschichtsliteratur-Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft. 1964, Bd. 13. S. 1—8.

⁵⁶ Лог. 624. 17—625.4.

⁵⁷ Л. Диак. 96.16 сл.

⁵⁸ Ср. Antoniadēs S. 'Η περιγραφική στην Αλεξιάδα. Πῶς ἡ Ἀννα Κομνηνὴ βλέπει καὶ ζωγράφει πρόσωπα καὶ χαρακτήρες. — Hellenica, 1932, t. 5, 6.255—276.

⁵⁹ Любарский Я. Н. Михаил Пселл. Личность и творчество (К истории византийского предгуманизма). М., 1978. С. 230 и сл.



СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ

Анна — Anne Comnène. *Alexiade* (Règne de l'empereur Aléxis Comnène. 1081—1118). Texte ét. et trad. B. Leib, t. 1—3. Paris, 1937—1945.

Атт. — Michaelis Attaliothae *Historia*. Rec. I. Bekker. Bonnæ, 1853.

Впр — Nicephore Bryennios. *Histoire*. Introd., texte, trad. et notes par. P. Gautier. Bruxelles. 1975.

Герод — Herodoti *Historiae*. Rec. C. Hude. V. 1—2. Oxonii, 1933.

Гл. — Michaelis Glycae *Annales*. Rec. I. Bekker. Bonnæ. 1836.

Григ — Nicephori Gregorae *Byzantini historia...* cura L. Schopeni. Bonnæ, 1829.

Дук — Ducas. *Historia Turcobyzantina*. Ed. V. Grecu. Bucuresti, 1958.

Евст — Eustazio di Tessalonica. *La espugnazione di Tessalonica*, ed. S. Kyriakides. Palermo, 1961.

Зон — Ioannes Zonarae *Epitome historiarum libri XIII—XVIII*, ed. Th. Büttner-Wobst. Bonnæ, 1897.

Кам — Ioannis Caminiatae *De expugnatione Thessalonicae*. Rec. G. Böhling. Berlin, New-York, 1973.

Кек — *Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI века.* Подг. Г. Г. Литаврин. М., 1972.

Кинн — Ioannis Cinnami *epitome rerum...* Rec. A. Meineke. Bonnæ, 1836.

Конст — Constantine Porphyrogenitus. *De administrando imperio*, ed. by Gy. Moravcsik, transl. by R. Jenkins, v. I. Washington, 1967.

ЛГр — Leonis Grammatici *Chronographia*. Rec. I. Bekker. Bonnæ, 1842.

ЛДнак — Leonis Diaconi Caloensis *historiae libri decem...* e rec. C. B. Hasii. Bonnæ, 1828.

Лог — Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus. Rec. Bekker. Bonnæ, 1838.

Мавр — Marcus Aurelius, ed. W. Theiler. Lipsiae, 1951.

МХон — Lampros Sp. Μιχαὴλ Ἀκομινάτου Χωνιάτου Τὰ σωζόμενα. Athenai, 1879.

Мет — Theodori Metochitae *miscellanea philosophica et historica*, ed. Chr. Muller-TH. Kiessling. Lipsiae, 1821.

НВас — Garzya A. Una declamazione giudiziarla di Niceforo Basilace. *EEBS*, 1968, t. 36.

НХон — Nicetae Choniatae Historia. Rec. J.-L. van Dieten, p. I. Berolini, Novi Eboraci, 1975.

Ник — Nicephori patriarchae Constantinopolitani Breviarium... Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1837.

ПрФеоф — Лор

Пс — Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976—1077). Texte ét. et trad. par E. Renauld, t. I—II. Paris, 1926—1928.

Сим — Theophylacti Simocattae Historiae. Ed. C. de Boor, corr. v. P. Wirth. Stuttgart, 1972.

Скилл — Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Rec. H Thurn. Berlin, New-York, 1973.

Скут — Sathas K. N. Bibliotheca graeca medii aevi, v. VII Venetia, Paris, 1894.

ФДиак — Panagiotakis N. M. Θεοδόσιος ὁ Διάκονος καὶ τὸ ποίημα αὐτοῦ Ἀλώσις τῆς Κρήτης. Herakleion, 1960.

Феоф — Theophanis Chronographia. Rec. C. de Boor Lipsiae, 1883.

Фук — Thucydidis Historia. Ed. O. Luschnat. Lipsiae, 1954.





БИБЛИОГРАФИЯ

А. ИСТОЧНИКИ

Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii instituta, opera eiusdem Niebuhrii. Imm. Bekkeri, L. Shopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque philologorum parata, auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae continuata. [V.1—50.] Bonnae. 1828—1897.

Agathiae Myrinaei Historiarum libri 5. Accedunt Agathiae Epigrammata. 1828.

Joannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum libri 4.V. 1—3. 1828—1832.

Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri 10 et liber de velitatione bellica Nicephori Augusti. Accedunt Theodosii acroases de Creta capta et Liutprandi legatio cum aliis libellis, qui Nicephori Phocae et Joannis Tzimiscis historiam illustrant. 1828. XXXVIII, 624 p.

Nicephori Gregorae Historia Byzantina. V. 1—2. 1829—1830: V. 3. 1855.

Constantinus Porphyrogenitus Imperator. V. 1—2. 1829—1830. De cerimonis aulae Byzantinae libri 2. LXII. 807 p. V. 3. 1840. De thematibus et de administrando imperio. Accedit Hieroclis Synecdemus. 504 p.

Georgius Syncellus et Nicephorus. V. 1—2. 1829. VIII, 788 p.

Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri Historiarum, quae supersunt. Accedunt eclogae Photii ex Olympiodoro, Candido, Nonnosio et Theophane et Procopii Sophistae panegyricus. Prisciani panegyricus. 1829. XXXVIII. 659 p.

Chronicon paschale. V. 1—2. 1832. 737 p.; 569 p.

Procopius. V. 1—3. 1833—1838.

Duca. Michaelis Ducae nepotis Historia Byzantina. 1834 XIV 659 p.

Theophylacti Simocattae Historiarum libri 8. Genesius 1834 XVI, 352 p.; VI, 196 p.

Nicetae Choniatae Historia. 1835. XVI, 974 p.

Georgii Pachymeris De Michaele et Andronico Palaeologis libri 13 V 1—2 1835. X 905 p.

Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum. Nicephori Bryennii commentarii. 1836 XXVI. 409; VII, 244 p.

Michaelis Glycae Annales 1836. XVI. 649 p.

Merobaudes Corippus. 1836. LXVI, 474 p.

Constantini Manassis Breviarum historiae metricum Joelis Chronographia compendiaria. Georgii Acropolitae Annales. 1837. X, 308, 70 p.; VI, 286 p.

Zosimus, 1837. XL. 454 p.

Joannes Lydus. 1837.

Pauli Silentarii Descriptio templi Sanctae Sophiae et Ambonis. Georgii Pisidae Expeditio Persica, Bellum Avaricum, Herachias. Sancti Nicephori Patriarchae Constantinopolitani Breviarum rerum post Mauricium gestarum. 1837. VIII, 180; XLII, 165; VIII, 144 p.

Theophanes Continuatus, Joannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus. 1838. VIII, 951 p.

Georgius Cedrenus Joannis Scylcae ope ab Imm. Bekkero suppletus et emendatus. V. 1—2. 1838—1839. XVIII, 802 p.; 1008 p.

Georgius Phrantzes, Joannes Cananus, Joannes Anagnostes. 1838. 564 p.

Georgii Codini Curopalatae De officialibus Palatii Constantinopolitani et de officiis Magnae ecclesiae liber. 1839. XII. 435 p.

Annae Comnenae Alexiadis libri 15. V. 1. Libri 1—9 1839. XLIX, 461 p. V 2. Libri 10—15. 1878. XII, 828 p.

Theophanis Chronographia. V. 1. 1839. LIV. 786 p.

Ephraemius. 1840 433 p.

Anastasiu Bibliothecarii Historia ecclesiastica. P. 1—288. Goar J. Ad Theophanis Chronographiam notae, p. 291—565. Combes F. Notae posteriores, p. 566—666 Index, p. 667—748. 1841.

Joannis Zonarae Annales. V. 1—2. 1841—1844. XLII, 581 p.; 647 p.

Leonis Grammatici Chronographia. Accedit Eustathii De capta Thessalonica liber. 1842 IV, 554 p

Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri 10. 1843. VIII. 590 p.

Georgii Codini Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis... 1843. XIV, 290 p.

Historia politica et patriarchica Constantinopoleos Epirotica. 1849. 295 p.

Michaelis Attaliotae Historia. 1853. XII 336 p

Joannis Zonarae Epitomae historiarum libri XIII—XVIII. V. 3. 1897. XXI, 933 p

Procopii Casariensis opera omnia. Rec. J Haury V I—III. Lipsiae. 1905—1913

Fragmenta historicorum graecorum. Ed. C Muller V. 1—5. Paris. 1841—1883.

Migne J. P Patrologiae cursus completus Patrologia graeca (graece et latine). T. 1—161 in 165 v. Parisius. 1857—1886.

Dindorf L. Historici graeci minores I—II. Lipsiae. 1870—1871.

Evagrius. The ecclesiastical history, with the Scholia Ed. By T. Bidez an L. Parmentier. London. 1898 306 p (Byzantine Texts).

Theophylacti Simocattae historiae. Ed. C. de Boor Lipsiae, 1887. XIV, 437.

Passio sancti Demetrii, martyris Thessalonicae in Macedonia anno circa 306 ab auctore anonymo scripta.. In: «Acta sanctorum». Ed. Socii Bollandiani. 8 Octobris. IV... Antverpiae — Bruxellis P. 87—89. То же в изд. Migne J. P. Patrologiae cursus completus. Patrologia latina V 192. Parisius, p. 715—726.

Theophanis Chronographia. Rec. C de Boor 1—2 Lipsiae 1883—1885.

Genesius. Rec. C. Lachmann. Bonnae. 1834. VI, 196 p

Cronaca di Monemvasia. Ed. a cura di I. Dujčev Palermo, 1976.

Tafel L. F. Constantinus Porphyrogenitus de provinciis regni Byzantini. Tubingae. 1846.

Constantin VII Porphyrogénète. Le Livre des ceremonies. Tome I. Livre I. Chap. 1—46 (37). Texte établi et traduit par Albert Vogt. Tome II. Livre I. Chap. 47 (38)—92 (83). Paris.

Les Belles Lettres. 1935—1939. XI, 183 p., XI, 193 p.
Commentaire. T. I—II. 1935—1939. XXXIII, 194 p.; XVI,
203 p.

Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti
confecta. Ediderunt U. Ph. Boissevain, C. de Boor, Th.
Büttner—Wobst. — V. I. Excerpta de legationibus, ed. C. de
Boor. Paris I: Exc. De legationibus Romanorum ad gentes.
Paris II. Exc. De legationibus gentium ad Romanos. Berlin.
1903. XXIV. 599 p.

Constantini Porphyrogeniti De administrando imperio.
Greek text ed. By G. Moravcsik. Engl. Transl. By R. J. H.
Jenkins, Washington, 1967.

Anna Comnena. Alexiade (Règne de l'empereur Aléxis I
Comnène 1081—1118). Texte établi et traduit par B. Leib.
T. I—III. Paris. 1937—1945 (Coll. Publ. Sous le patronage de
l'Ass. G. Budé).

Georgii Acropolitae opera. Rec. A. Heisenberg. 1—2.
Lipsiae. 1903.

Τὸ χρονικὸν τοῦ Μωρέαζ. Αθήναι, 1940.

Procopii Caesariesis Opera omnia / Rec. J. Haury,
G. Wirth. Lipsiae, 1962—1964. Vol. 1—4.

Nicephori archiepiscopi Constantinopolitiani. Opuscula
historica / Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1880.

Ioannis Caminiatae. De expugnatione Thessalonicae / Rec.
G. Bohlig. Berolini; Novi Eboraci, 1973.

Theophylacti Simacattae Historiae Ed. C. de Boor, corr.
P. Wirth. Stuttgart, 1972.

Genesisius / Ex rec. C. Lachmanni. Bonnae. 1834.

Josephii Genesisii rerum libri quattuor / Rec. A. Lesmuller-
Werner, I. Thurn. Berolini; Novi Eboraci, 1978.

Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de
Byzance (976—1077) / Texte et. et trad. par. E. Renauld. P.,
1926—1928. T. 1—2.

Niciphore Bryenios Histoire / Introd., texte, trad. et notes
par P. Gautier. Bruxelles, 1975.

Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Rec. I. Thurn. B.;
N. Y., 1973.

Ioannis Zonara Epitome Historiarum / Ed. I. Dindorf.
Lipsiae, 1868—1875. Vol. 1—6.

Eustathii Thessalonicensis Opuscula / Ed. F. Tafel.
Amsterdam, 1964 (Francof. Ad Moenum. 1832).

Eustazio di Tessalonica. La Espugnazione di Tessalonica. Ed. S. Kyriakides. Palermo, 1968.

Nicetae Choniatae Historia / Rec. I. A. van Dieten. B., Novi Eboraci, 1975. Pars 1—2.

Georges Pachymeres. Relations historiques / Ed. Par A. Failler; Trad. par V. Laurent. P., 1984. T. I—II.

Laonicus Chalcocondylas. Historiarum Demonstrationes / Ed. E. Darko. Budapesti, 1922—1927. T. 1—2.

Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri decem // PG. Vol. 159.

Die byzantinischen Kleinchroniken / Hrsg. P. Schreiner. Wien, 1975—1979. Bd. I—III.

The Chronicle of Morea, / Ed. J. Schmitt. L., 1904.

Livre de la conquête de la princée de l'Amorée. Chronique de Morée (1204—1305) / Publ. par J. Longnon P., 1911.

Ignoti auctoris Chronica Toccozum Cephalleniesium (Cronaca dei Tocco di Cefalonia di anonimo) / A cura di G. Schiro. Roma, 1975.

Georgios Sphrantzes. Memorii 1401—1477. In anexa: Pseudo-Phrantzes, Macarie Melissenos Cronica (1258—1481) / Ed. Critica de V. Grecu. Bucuresti, 1966 (Scriptores byzantini; T. 5).

Ducas. Istoria turco-bizantina (1341—1462) / Ed. critica de V. Grecu. Bucuresti, 1958 (Scriptores byzantini; T. I).

Critobul din Imbros. Din domnia lui Mahomed al II-lea: Anii 1451—1467 / Ed. V. Grecu. Bucuresti, 1963. (Scriptores byzantini: T. 4).

Papandopulos J. B. [Ed.] Georgii Phranzae Chronicon I. Lipsiae. 1935. XXIV, 201 p.

Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes. Rec. E. Darco. I—II. Budapestini. 1922—1927.

Barbaro Nicolo. Giornale dell'assedio di Constantinopoli (1453) corredato di note e doc. da E. Cornet. Vienna. 1856, 82 p.

Critobule. De rebus gestis Mechemetis II. Ed. Vuller. Paris. 1870.

Византийские историки, переведенные с греческого при С.-Петербургской Духовной Академии. Т. 1—10. СПб. 1859—1862.

1. Никифор Вриенний. Исторические записки. 1856.

2. Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. 1859.

3. Анна Комнина. Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина. Ч. 1., 1859.

4. Никита Хонниат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. Т. 1. 1860.

5. То же. Т. 2. 1860.

6. Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпидор и др. 1860.

7. Никифор Григора. Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя латинянами. 1862.

8. Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. 1862.

9. Прокопий Кесарийский. История войн римлян с персами, вандалами и готфами. 1862.

10. Георгий Акрополит. Великий Логофет. Летопись. 1863.

Симеона Метафраста и Логофета описание мира от бытия и Летовник собран от различных летописей. — Славянский перевод хроники Симеона Логофета с дополнениями. СПб. XVI, 239 с. (Акад. наук) [Предисл. В. С. Срезневского].

Васильевский В. Г. Хроника Логофета на славянском и греческом. «Визант. временик». СПб. 1895. Т. 2, с. 78—151.

Мишулин А. В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. э. — ВДИ. М., 1941. № 1, с. 230—280.

1. Отрывки из античных писателей.

Отрывки из писателей ранневизантийской эпохи (Иордана, Прокопия Кесарийского, Агафия, Менандра Византийца (Протиктора), Евагрия, Иоанна Эфесского, Маврикия, Исидора Севильского).

3. Отрывки из византийских писателей VII—VIII вв. (Феофилакта Симокатты, Феофана).

Мишулин А. В. Древние славяне. Документы о вторжении древних славян в Восточно-римскую империю в VI—VII вв. н. э. — «Истор. журнал». М., 1942. № 1—2, с. 152—154.

Прокопий Кесарийский. Война с готами. Пер. с греч. С. П. Кондратьева. Вступ. статья З. В. Удальцовой. М., 1950. 516 с. (Акад. наук СССР. Ин-т истории).

Прокопий Кесарийский. История войны римлян с персами, вандалами и готфами. Пер. с греч. С. Дестуниса. Комментарий Г. Дестуниса. История войн римлян с вандалами.

лами. Кн. 1. СПб. 1891 («Записки Истор.-филол. факультета СПб. ун-та». Вып. 28).

Прокопий Кесарийский. История войн римлян с персами, вандалами и готфами. Пер. с греч. С. Дестуниса, дополненный прим. Г. Дестуниса. Т. 1. История войн римлян с персами. Кн. 1—2. СПб. 1862. (Византийские историки, пер. с греч. при СПб. дух. академии. Т. 9).

То же в «Записках истор.-филолог. факультета СПб. ун-та». Т. 1. и 6. 1876—1880.

Церковная история Евагрия, схоластика и почетного префекта. СПб. 1853. XXVII, 544 с.

Летопись византийца Феофана. В пер. с греч. В. И. Оболенского и Ф. А. Терновского. С предисл. О. М. Бодянского. М., 1887. II, 270 с. (Чтения в Об-ве истории и древн. российских. 1884—1887).

Константина Вагрянородного сочинение «О фемах» (De Thematibus) и «О народах» (De administrando imperio). С предисл. Г. Ласкина. М., 1899, 262 с. (Чтения в Об-ве истории и древн. российских. № 1).

Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид... Пер. с греч. С. Дестуниса. СПб. 1860. XIII, 495, 31 с.

Дьяконов А. П. Известия Иоанна Эфесского и сирийских хроник о славянах VI—VII вв. — ВДИ. М., 1946. № 1, 20—34 с.

Дьяконов А. П. Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды. СПб. 1908. VI, 417 с.

Прокопий Кесарийский. О постройках (Procopii Caesariensis de aedificiis). Пер. С. И. Кондратьева. — ВДИ. М., 1939. Т. 4 (9), 201—298 с. (Прилож.)

Прокопий Кесарийский. Тайная история (Procopii Caesariensis Arcana Historia), пер. С. И. Кондратьева. — ВДИ. М., 1938. Т. 4 (5), 271—360 с. (Прилож.)

Панченко Б. А. О «Тайной истории» Прокопия. — «Визант. временник». СПб. 1895. Т. 2, 24—57 с., 340—371 с.; 1896. Т. 3. 96—117 с., 300—316 с.; 1897. Т. 4, 402—451 с.

Procopii Caesariensis Anecdota, quae dicuntur. Edidit Mich. Krascheninnicow. Jurievi. 1899. LXXVI, 204 p.

Крашенинников М. И. Procopiana I. К критике текста V книги [...] Прокопия Кесарийского. — ЖМНП. СПб. 1898. № 6, 121—148, с. 1899. № 9, 127—144 с., № 10, 1—18 с.

Левченко М. В. Избранные отрывки из «Истории» Агафия Миринейского (пер. с греч.). Известия Агафия Миринейского о Лазике и Кавказе (Agathias Myrinei libri quinque. Bonn. 1828). «Визант. временник». М.—Л. 1950. Т. 3, 305—349 с.

Дьяконов А. П. Иоанн Эфесский и хроника, известная под именем Дионисия Телль Махренского. — «Христианское чтение». 1903. Ноябрь—декабрь.

Маврикий. Тактика и стратегия. Первоисточник сочинений о военном искусстве имп. Льва Философа и П. Маккиавелли. С латин. пер. Цыбышев. С предисл. проф. Академии ген. штаба Н. А. Гейсмана. СПб. 1903. VII, 241 с.

Жебелев С. А. Маврикий (Стратег). Известие о славянах VI—VII вв. — «Историч. архив». М.—Л., 1939. Т. 2, 33—37 с.

Себеос, епископ. История императора Иракла. Пер. с армянск. СПб. 1862. XVI, 216 с.

Липшиц Е. Э. Никифора, патриарха Константинопольского «Краткая история» со времени после царствования Маврикия (пер. с греч.). Nicephori Constantinopolitani opuscula historica. Ed. C. De Boor. Lipsiae. 1880 — «Визант. временник». М.—Л. 1950. Т. 3, 349—387 с.

Липшиц Е. Э. Никифор и его исторический труд. — «Визант. временник». М. — Л. 1950. Т. 3, 85—105 с.

Константин Багрянородный об управлении государством. О фемах Запада (т. е. Европы). Изложение царского чина. М. 1934. 72 с. («Изв. ГАИМК. Вып. 91»).

Лев Дьякон. История Льва Дьякона Калойского и другие сочинения византийских писателей, изд. в первый раз с рукописей Королевск. парижск. биб-ки и объясненные примечаниями К. Б. Газе. Пер. с греч. на российск. яз. Д. Поповым. СПб. 1820. XVI, 200 с.

Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописей Яхъи Антиохийского. Издал, перевел и объяснил В. Р. Розен. СПб. 1883, 8, 1, 0103, 447 с. («Записки Акад. наук» 1883. Т. 44. Прилож. № 1).

Константин Багрянородный. Об управлении империей / Пер. Г. Г. Литаврина. М., 1991.

Лев Дьякон. История / Пер. М. М. Копыленко, статья М. Я. Сюзюмова, коммент. М. Я. Сюзюмова, С. А. Иванова. М., 1988.

Памятники византийской литературы IV—IX веков. М., 1968.

Памятники византийской литературы IX—XIV веков. М., 1969.

Псамафийская хроника / Предисл., перев., коммент. А. П. Каждана // Две византийские хроники X в. М., 1959.

Иоанн Камениата. Взятие Фессалоники / Предисл. Р. А. Наследовой, пер. С. В. Поляковой, И. В. Феленковской, коммент. Р. А. Наследовой // Две византийские хроники X в. М., 1959.

Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI в. / Подгот. текста, введ., пер. и коммент. Г. Г. Литаврина. М., 1972.

Михаил Пселл. Хронография / Пер., ст. и примеч. Я. Н. Любарского. М., 1978.

Анна Комнина. Алексиада / Вступ. ст., пер., коммент. Я. Н. Любарского. М., 1965.

Византийские легенды / Изд. подгот. С. В. Полякова. М., 1972.

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. Пер. А. А. Чекаловой. М., 1993.

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. Пер. Я. Н. Любарского. СПб., 1992.

Михаил Палеолог. Автобиография имп. Михаила Палеолога и отрывки из устава, данного им монастырю св. Дмитрия. По рукописи Моск. синодальной библиотеки, № 363 изд. И. Троицкий. — «Христианское чтение» СПб. 1885. № 2, 529—579 с.

Михаил Панарет. Трапезунтская хроника. Греч. текст с пер., предисл. и комментарием изд. А. Хаханов. М., 1905. XXXIV, 51 с. («Труды по востоковедению», изд. Лазаревским ин-том вост. яз.)

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1—2. М., 1991—1995.

Б. ИССЛЕДОВАНИЯ

История Византии. Т. 1—3. М., 1967.

Культура Византии. (Т. 1—3). М., 1986—1991.

Васильевский В. Г. Труды... Т. 1—4. СПб. 1908—1930.

- Т. I. 1908. 401, 11 с.
Т. II. Вып. 1. 1909. II, 295 с.
Т. II. Вып. 2. 1912. IV, 297—427 с.
Т. III. 1915. CCLXIII, 122 с.
Т. IV. Л. 1930, 331 с.
Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. I—III. М.—Л. [1914]—1948.
Т. I. СПб. XIV, 872 с., илл.; карт.
Т. II., ч. 1. Л. [4], 520 с., илл.
Т. III. М.—Л. 1948, 860 с., илл.
Успенский К. Н. Очерки по истории Византии. Ч. 1. М. 1917. 268 с.
Шестаков С. И. Лекции по истории Византии. Т. 1. Изд. 2. Казань, 1915, 437 с.
Кулаковскии Ю. А. История Византии. Т. 1—3. Киев, 1910—1915.
Успенский Ф. И. История византийских учреждений. Источники. В кн. автора: «История Византийской империи». Т. III. Л. 1948, 801—817 с. (приложения).
Успенский Ф. И. Военное устройство Византийской империи. — «Изв. Русск. археол. ин-та в Константинополе». София. 1900. Т. 6, 154—204 с.
Азаревич Д. И. История византийского права. Т. 1. Ч. I—II. Ярославль. 1876—1877. XV. 118; IV, 351 с.
Византийская литература. М., 1974.
Досталова Р. Византийская историография: характер и формы // ВВ. 1982, Т. 43.
Бенедикти Р. Экскурс о Фуле у Прокопия Кесарийского. (К вопросу об архаизации при этнографических описаниях в византийской литературе). — ВВ. 1964. XXIV, 19—57 с.
Бенедикти Р. Взятие Рима Аларихом. (К вопросу об историографическом методе Прокопия Кесарийского). — ВВ. 1961, XX. 23—31 с.
Левченко М. В. Византийский историк Агафий Миринейский и его мировоззрение. — ВВ. 1950, Т. 3.
Неронова В. Д. Аммиан Марцеллин о варварах. — УЗ Пермск. гос. ун-та, 1966, 143 с.
Неронова В. Д. Отражение кризиса Римской империи в «Истории» Аммиана Марцеллина. — УЗ Пермск. гос. ун-та, 1961, 20 с.

Панченко Б. А. О «Тайной истории» Прокопия. — ВВ. 1897. Т. 4.

Соколов В. С. Аммиан Марцеллин как последний представитель античной историографии. — ВДИ. 1954. № 4.

Удальцова З. В. Из истории византийской культуры раннего средневековья (Мировоззрение византийских историков IV—VII столетий). — В кн.: Европа в средние века: экономика, политика, культура. М., 1972. 260—293 с.

Удальцова З. В. К вопросу о мировоззрении византийского историка VII в. Феофилакта Симокатты — ЗРВИ, 1968, XI, 29—45 с.

Удальцова З. В. Мировоззрение византийского историка VI в. Агафия Миринейского. — ВВ. 1968, 29, 153—169 с.

Удальцова З. В. Мировоззрение Прокопия Кесарийского. — ВВ. 1971, 31, 8—22 с.

Лосев А. Ф. Историческое время в культуре классической Греции (Платон и Аристотель). — В кн.: История философии и вопросы культуры. М., 1975.

Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.

Попова Т. В. Художественные особенности сочинения Евсевия Кесарийского «Vita Constantini». — ВВ, 1973, 34, 122—129 с.

Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979.

Угринович Д. М. Введение в теоретическое религиоведение. М., 1973.

Удальцова З. В. К вопросу о мировоззрении византийского историка VI в. Евагрия. — ВВ. 1969, 30, 63—72 с.

Удальцова З. В. Филосторгий — представитель еретической церковной историографии. — ВВ, 1983, 44.

Удальцова З. В. Церковные историки ранней Византии. — ВВ, 1981, 43.

Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. — Записки АН, сер. VIII, 1897, т. I, № 3.

Мещерский Н. А. Два неизданных отрывка древнеславянского перевода «Хроники Иоанна Малалы» — ВВ, 1956, XI, 279—284 с.

Пигулевская Н. В. Месопотамия на рубеже V—VI вв. н. э. (Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник). М., Л., 1945.

Попов А. Обзор хронографов русской редакции. М., 1866, I.

Удальцова З. В. Мировоззрение византийского хрониста Иоанна Малалы. — ВВ, 1971, 32, 3—23 с.

Удальцова З. В. Хроника Иоанна Малалы в Киевской Руси. — Археографический ежегодник. М., 1966.

Шусторович Э. М. Древнеславянский перевод хроники Иоанна Малалы. — ВВ, 1969, 30, 136—152 с.

Аверинцев С. С. Типология отношения к книге в культурах Древнего Востока, античности и раннего средневековья. — В кн.: Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока. М., 1978.

Аверинцев С. С. Византийские эксперименты с жанровой формой классической греческой трагедии. — В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. К 75-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности. М. М. Бахтина. Саранск, 1973.

Аверинцев С. С. Традиция греческой «диалектики» и возникновение рифмы. — Контекст, 1976. М., 1977.

Аверинцев С. С. На перекрестке литературных традиций (Византийская литература: истоки и творческие принципы) — Вопросы литературы. 1973. № 2.

Аверинцев С. С. У истоков поэтической образности византийского искусства. — В кн.: Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1977, 421—454 с., особенно 434—438 с.

Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов). — В кн.: Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971.

Иванов С. А. Полемиическая направленность «Истории» Льва Диакона // ВВ, 1982. Т. 43.

Каждан А. П. Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский // ВВ, 1967. Т. 28; 1968. Т. 29.

Каждан А. П. Из истории византийской хронографии X в. ВВ. 1961—1962. Т. 19—21.

Каждан А. П. Социальные воззрения Михаила Атталианта // ЗРВИ, 1976. Кн. 17.

Каждан А. П. Хроника Симеона Логофета // ВВ, 1959. Т. 15.

Каждан А. П. Цвет в художественной системе Никиты Хониата // Византия. Южные славяне и Древняя Русь.

Западная Европа: Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 1973.

Любарский Я. Н. Феофан Исповедник и источники его «Хронографии»: к вопросу о методах их освоения // ВВ, 1984. Т. 45.

Пиотровская Е. К. Краткий археографический обзор рукописей, в состав которой входит текст «Летописца вскоре» константинопольского патриарха Никифора // ВВ, 1976, Т. 37.

Самодурова З. Г. Хроника Петра Александрийского // ВВ, 1961, Т. 18.

Сюзюмов М. Я. Об источниках Льва Дьякона и Иоанна Скилицы // Византийское обозрение. Юрьев. 1916. Вып. 2, № 1.

Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения («Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора). М., 1980.

Курбатов Г. Л. Политическая теория в Византии. Идеология императорской власти и аристократическая оппозиция // Культура Византии. IV—первая половина VII в. М., 1984.

Кучма И. И. Методы морально-политического воздействия на византийское войско по «Тактике» Льва // АДСВ. 1965. Вып. 3.

Литаврин Г. Г. Идея верховной государственной власти в Византии и Древней Руси домонгольского периода // Славянские культуры // Балканы. IX—XVII вв. С., 1978. Т. 1.

Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного // ВВ. 1981. Т. 42.

Острогорский Г. Автократор и самодержац // Глас Српске крал. академије наука. 1935. Т. 164.

Острогорский Г. Эволюция византийского обряда коронации // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 1973.

Удальцова З. В., Котельникова Л. А. Власть и авторитет в средние века // ВВ, 1986, Т. 47.

Чичуров И. С. Теория и практика византийской императорской пропаганды: поучение Василия I и эпитафия Льва VI // ВВ, 1988, Т. 49.

Чичуров И. С. Традиция и новаторство в политической мысли Византии конца IX в. (место «Поучительных глав» Василия I и истории жанра) // ВВ. 1986. Т. 47.

Закржевская О. Г. Концепция патриотизма Никифора Григоры: (К вопросу о «греческом патриотизме» XIV в.) // АДСВ. 1977. Вып. 14.

Ирмшер И. Трансформация идеи государственности в последний период истории Византии // ВВ. 1976. Т. 37.

Медведев И. П. Идея общественного договора в эпоху Ренессанса и ее античные корни (в связи с книгой Пьера Брюнеля) // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.

Медведев И. П. Империя и суверенитет в средние века (на примере истории Византии и сопредельных стран) // Проблемы истории международных отношений. Л., 1972.

Поляковская М. А. Дмитрий Кидонис и Иоанн Кантакузин: (К вопросу о политической концепции середины XIV в.) // ВВ. 1980. Т. 41.

Поляковская М. А. Политические идеалы византийской интеллигенции середины XIV в.: (Николай Кавасила) // АДСВ. 1975. Вып. 12.

Поляковская М. А. Понимание патриотизма Дмитрием Кидонисом // АДСВ. 1980. Вып. 17.

Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 1983.

Веселаго Е. Б. Историческое сочинение Лаоника Халкондила: (Опыт литературной характеристики) // ВВ, 1957. Т. 12.

Греку В. К вопросу о биографии и историческом труде Лаоника Халкондила // ВВ. 1958. Т. 13.

Джагацпанян Е. Е. Мировоззрение византийского историка XV в. Георгия Сфрандзи // Кавказ и Византия. Ереван. 1982. Т. 3.

Диттен Х. Известия Лаоника Халкондила о России // ВВ. 1962. Т. 21.

Досталова Р. Византийская историография: характер и формы // ВВ. 1982. Т. 43.

Прохоров Г. М. Публицистика Иоанна Кантакузина 1367—1371 гг. // ВВ. 1968. Т. 29.

Удальцова З. В. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критовула // ВВ. 1957. Т. 12.

Васильев А. А. Ласкарис Канан. Византийский путешественник XV в. по Северной Европе и в Исландию. Харьков. 1914.

Веселаго Е. Б. Известия Лаоника Халкокондила об албанцах // ВВ. 1956. Т. 10.

Гукова С. Н. К вопросу об источниках географического трактата Плифона // ВВ. 1983. Т. 44.

Чудиновских Э. И. Греческие портуланы как источник по истории торговых путей центрального и Восточного Средиземноморья XV—XVI вв. // АДСВ. 1965. Вып. 3.

Ostrogorsky G. Geschichte des byzantinischen Staates. München, 1975.

Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1897.

Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 1—2. München, 1978.

Bakalor G. Les ouvrages d'Agathias de Myrenée comme source de l'histoire des territoires balkaniques pendant la première moitié du VI^e siècle. — Etudes Balk., 1974. 10.2—3. P. 196—207.

Bartelinu G. I. M. Eunape et le vocabulaire chrétien. — Vigiliae Christianae. 1969, 23, p. 293—301.

Böhlig G. Reichssprache und Volkssprache im byzantinischen Reich. — In: Byzantinische Arbeiten der DDR. B., 1957, I.

Böhlig G. Untersuchungen zum rhetorischen Sprachgebrauch der Byzantiner. B., 1956.

Bonfante L. W. Emperor. God and Man in the IVth Century. Julian the Apostate and Ammianus Marcellinus. — Parola del Passato, 1964, 19, p. 401 sq.

Bornmann F. Motivi tucididei in Procopio. — Atene e Roma, 1974, 19, p. 138—150.

Ceska J. De honore Juliani apud Ammianum Marcellinum XV, 8, 10 prope sperato. — In: Charakteria F. Novotny. Praha, 1962, p. 155—159.

Chalmers W. R. Eunapius, Ammianus Marcellinus und Zosimus on Julian's Persian Expedition. — CQ, 1960, 10, p. 157—159.

Christ K. Germanendarstellung und Zeitverständnis bei Tacitus. — Historia, 1965, Bd. XIV, Heft 1, S. 62—74.

Colonna M. E. Gli storici bizantini dal IV al XV secolo. I Storici profani. Napoli, 1956.

Condurachi E Les idées politiques de Zosime. — *Rivista Classica*, 1941/42, 13—14, p. 115—127.

Demandt A Zeitkritik und Geschichtsbild im Werk Ammianus Bonn, 1965.

Dewing H B The Secret History of Procopius of Caesarea — *Transaction and Proceedings of American Philological Association* 1931, p. XL—XLII.

Downey G Paganism and Christianity in Procopius — *Church History*, 1949, 18, p. 89—102

Downey G Procopius De aedificiis, 1 4 3. — *Classical Philology* 1948, 43, p. 44—45.

Dujcev J Zu Theophylactos Simokattes, II, 11 und VI 5. — *BZ*. 1941. XLI.

Eckhardt H Zur Charakteristik des Procop und Agathias als Quellenschriftsteller für den Gotenkrieg, Programme. Königsberg. 1864

D'Elia S Ammiano Marcellino e il cristianesimo. — *Studi Romani*, 1962, 10.

Ensslin W Maximinus und sein Begleiter, der Historiker Priskos — *BNJ*, 1926, 5, S. 1—9.

Ensslin W Zur Geschichtsschreibung und Weltanschauung des Ammianus Marcellinus Leipzig, 1923

Evans J. A. S. Procopius. N. Y., 1972.

Frank E. Symbolic Imaginary in Ammianus Marcellinus. — *Classical bulletin*, 1966, 42, p. 46 f.

Frassinetti P In margine ad Ammiano Marcellino. — *Athenaeum*, 1966, 44

Gartner H. Enge Überlegungen zur kaiserlichen Panegyrik und zu Ammians Charakteristik des Kaisers Julian. Wiesbaden, 1968

Giangrande G Coniectanea zu den Vitae sophistarum des Eunapios — *Eranos*, 1955, 55, S. 14—27

Giangrande G Vermutungen und Bemerkungen zum Text der Vitae sophistarum des Eunapios. — *Rheinisches Museum*, 1956, 99.

Goffart W The historian Zosimus as a witness to his own time — *AHR*, 1971, p. 412—441.

Greco V Bemerkungen zu Prokops Schriften. — *Académie Roumaine Bulletin de la section historique*, 1947, 28, p. 233—240

Hauriy J Procop und der Kaiser Justinian. — *BZ*, 1937, XXXVII, p. 1—9

- Haury J* Procopiana, II Programm München, 1893.
- Haussig H W* Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker. — Byz., 1953, 23.
- Heyen J A* propos de la conception historique d'Ammien Marcellin — Latomus, 1968, 27.
- Irmischer G* Geschichtsschreibers der Justinianischen Zeit. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, 1969, Jg. 18 Heft 4/5, Teil 2 S 469—474
- Irmischer J* Über die Weltanschauung des Agathias Methodische Vorfragen. — Studia Patristica, 1966, IX, S. 63—68.
- Irmischer J* Zur Weltanschauung des Agathias — Tagung für allgemeine Religionsgeschichte, 1963 S 47 ff.
- Jannacone S* Ammiano Marcellino Profilo storico-critico Napoli, 1960.
- Jenkins Cl* Procopiana — JRS, 1947, 37, p 64—81
- Jonge P* De Ammianus and Vegetius. — Studia latina P. J. Enk oblata. Leiden, 1955, p. 99—106.
- Kawar J* Procopius on the Ghassanids. — Journal of the American Oriental Society, 1957, 77, p 79—87
- Kawar J* Procopius and Arethas. — BZ, 1957, L, S 39—67 und 262—382.
- Kawar J* Procopius and Kinda — BZ, 1960, LIII, S. 74—78.
- Keydell R* Sprachliche Bemerkungen zu den Historien des Agathias. — BZ, 1968, LXI. S. 1—4.
- Laistner M L W* The Greater Roman Historians. — Sather Classical Lectures, 1947, t. 21
- Leanza S* Motivi cristiani nelle storie di Teofilatto Simocatta. Umanità e storia. Scritti in onore di A. Attisani, II. Messina 1971, p. 553—574.
- Mac Mullen R*. Some Pictures in Ammianus — Art Bulletin 1964, 46, p 440 f.
- Marcus R. A* The Roman Empire in the Early Christian Historiography. — The Downside Review, 1961, 81.
- Momigliano A*. Herodotus in the History of Historiography. — History, 1958, 43, p. 1 ff
- Moravcsik Gy*. Klassizismus in der byzantinischen Geschichtsschreibung. — Polychronion. Festschrift Franz Dolger zu 75. Geburtstag. Heidelberg, 1966. S 366—377
- Naude C* Fortuna in Ammianus Marcellinus — Acta classica, 1964, 7, p. 70—88.

Nissen Th. Zum Text der Historien des Theophylaktos Simokattes — BNJ, 1939—1943, 17. S. 23—42.

Opelt J. Das Nationalitätenproblem bei Eunapios von Sardes. — Studien, 1969, 3.

Pasoli A. Note ammianeae. A proposito d'una recente edizione di Ammiano. — Helikon, 1967, 7, p. 456—465.

Pekkanen T. Procopius and the Periplus of Arrian — Eranos, 1964, 62.

Pertusi A. L'atteggiamento spirituale della più antica storiografia bizantina. — Aevum, 1956, 30, p. 150 ff.

Ridley R. The fourth and fifth century civil and military hierarchy in Zosimus. — Byz., 1970, 40, p. 91—104.

Ridley R. Zosimus the Historian. — BZ, 1972, LXV.

Rowell H. T. Ammianus Marcellinus Soldier — Historian of the Late Roman Empire. — In: Lectures in Memory of L. T. Semplice Cincinatti. 1964.

Rowell H. T. The First Mention of Rome in Ammianus' Extant Books and the Nature of the History. — In: Mélanges J. Carcopino. P., 1966.

Rubin B. Procopius von Kaisarea. Stuttgart, 1954.

Samberger Ch. Die Kaiserbiographie in der Res Gestae des Ammianus Marcellinus. — Klio, 1969, 51. S. 478 f.

Selem A. Considerazioni circa Ammiano Marcellino ed il cristianesimo. — Rivista di cultura classica e medievale, 1964, 6.

Seyfarth W. Glaube und Aberglaube bei Ammianus Marcellinus. — Klio, 1965, 46.

Seyfarth W. Philologische Probleme um Ammianus Marcellinus. — Klio, 1967, 48.

Soyter G. Procopius von Caesarea. — BZ, 1951, XLIV.

Spigno C. Di Aspetti e problemi della storia degli Ammiane. — Helikon, 1963, 3, p. 524—534.

Stoian J. A propos de la conception historique d'Ammien Marcellin. — Latomus, 1967, 26.

Syme R. Ammianus and the Historia Augusta, L., 1968.

Thompson E. The Historical Work of Ammianus Marcellinus. Cambridge, 1917.

Thompson E. A Notes on Priscus Panites. — CQ, 1947, 41, p. 61—65.

Thompson E. A Olympiodorus of Thebes. — CQ, 1944, 38, p. 43—53.

Trankle H. Ammianus Marcellinus als römische Geschichtsschreiber. — Antike und Abendland, 1962, 11

Udalzova Z. V. L'opera storica di Ammiano Marcellino come monumento letterario — Bizanzino e l'Italia. Milano, 1982, p. 389—401.

Veh O. Beiträge zu Menander Protektor — Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht 1954/1955 des Humanistischen Gymnasiums Furth-Bayern. Furth, 1955.

Veh O. Untersuchungen zu dem byzantinischen Historiker Theophylaktos Simokattes. — Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht 1956/1957 des Humanistischen Gymnasium. Bayern, 1957.

Veh O. Zur Geschichtsschreibung und Weltanschauung des Prokop von Caesarea, I—III. — Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums Christian-Ernestinum. Bayreuth, 1951—1953.

Westernik L. G. Theophylaktos Simokattes on predestination. — Studi in onore di Vittorio de Falco. Napoli, 1971, p. 533—551.

Westerink L. G. Olympiodori in Platonis Gorgian commentaria. Leipzig, 1970.

Williamson G. A. Procopius. The Secret History. West Drayton, 1966.

Allen P. Evagrius, the Church Historian. Louvain. 1981.

Azema J. Sur la chronologie de trois lettres de Théodoret de Cyr. — REG, 1954, 67, p. 82—94

Azema J. Théodoret de Cyr: Correspondance. P., 1955.

Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur. V. Freiburg. 1932.

Bardy G. La théologie d'Eusèbe de Césarée d'après l'Histoire Ecclesiastique. — Revue d'Histoire Ecclesiastique, 1955, 50.

Baynes N. H. Byzantine Studies and other Essays L., 1955

Benz E. Geist und Leben der Ostkirche. München, 1971.

Bousset W. Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom. Göttingen, 1915.

Brehier L. Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie. P., 1950.

Brown P. Religion and society in the Age of Saint Augustine. L., 1972.

Campanhausen H. Die Frühzeit des Christentums. Tübingen. 1963.

Callahan J. F. Four Views of Time in Ancient Philosophy, Cambridge, 1948.

Coleman-Norton P. R. Roman State and Christian Church. L., 1966.

Cracco Ruggini L. The Ecclesiastical Histories and the historiography. Providence and miracles. — *Atheneum*. N. S. 1977. 55 p. 107—126.

Cullmann O. Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeit und Geschichtsauffassung. Zürich. 1962.

Dempf A. Christliche Philosophie. Der Mensch zwischen Gott und der Welt. Bonn. 1952.

Dempf A. Der Platonismus des Eusebius, Victorinus und Pseudo-Dionysius. München, 1962.

Downey G. Perspective of the early church historians. — *Greek-Roman and Byz. Studies*, 1965, 6.

Farina R. L'impero et l'imperatore christiano in Eusebio di Cesarea. Zürich. 1966.

Frend W. H. G. The Roman Empire in Eastern and Western Historiography. — Cambridge Philological Society. 1968.

Heussi K. Zum Geschichtsverständnis des Eusebius von Caesarea. — *Wissenschaftliche Zeitschrift des Fr. Schiller Univ. Jena. Gesell. und Sprachl. Reihe*. 1957/58, 7.

Ivanka E. Hellenisches und Christliches in frühbyzantinischen Geistesleben. Wien, 1948.

König-Ockenfels D. Christliche Deutung der Weltgeschichte bei Euseb von Caesarea-Saeculum, 1976, 27, p. 348—365.

Lemerle P. L'orthodoxie byzantine et l'oecumenisme medieval: les origines «du schisme» des églises. — *Bulletin de l'association Guillaume Budé*, IVme ser., 1965. N 2, p. 228—246.

Markus R. A. The Roman Empire in the Early Christian Historiography. — *The Downside Review*. 1961.

Marcus R. A. Saeculum: History and society in the Theology of St. Augustine. Cambridge, 1970.

Mayer A. Gottesbild im Menschen nach Clemens von Alexandrien. Roma. 1952.

Mehat A. Etude sur les «Stromates» de Clement d'Alexandrie. P., 1966.

Nessen S. Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung. München; Basel, 1955.

Osborn E. F. The philosophy of Clement of Alexandria. Cambridge, 1957.

Parmentier L. De la place de Nicéphore Callistos Xanthopulos dans la tradition Manuscrite d'Evagrius. — Revue de l'instruction publique en Belgique, 1897. 40.

Quispel G. Time and History in Patristic Christianity. — Eranos Yearbooks. Man and Time. N. Y., 1957, V.

Richard M. Théodoret, Jean d'Antioch et les moines d'Orient. — Mélange de Science Religieuse, 1946, 3. P. 147—156.

Ruhbach G. Apologetik und Geschichte. Zur Theologie Eusebs von Casarea. Heidelberg. 1962.

Sansterre J.-M. Eusébe de Césarée et la naissance de la théorie césaropapiste. — Byz., 1972, 42, p. 131—195, 532—594.

Shadwick H. Early christian Thought and the classical Tradition. Studies in Justin, Clement and Origen. Oxford, 1966.

Sirinelli J. Les vues historiques d'Eusébe de Césarée durant la période prénicéenne. Dakar. 1961.

Wallace-Hadrill D. Die Kirchengeschichtswerke im oströmischen Reich. — BS, 1976.

Winkelmann F. Die Textbezeugung der Vita Constantini des Eusebii von Caesarea. B., 1962.

Winkelmann F. Die Vita Constantini des Eusebius. Halle, 1959.

Zimmermann. Ecclesia als Object der Historiographie. Wien, 1960.

Beucamp J. et al. Temps et Histoire. I. Le prologue de la Chronique paschale. — TM, 1979, 7, p. 223—301.

Bikerman E. Les Maccabées de Malalas. — Byz., 1951, 2. P. 63.—83.

Boor C. De. Zu Johannes Antiochenus. — Hermes, 1884. 19. S. 123—148; 1885, 20. S. 321—330.

Bourier H. Über die Quellen der ersten vierzehn Bücher der Johannes Malalas. Augsburg, 1899/1900. I—II.

Brooks E. W. The Date of the Historian John Malala. — The English Historical Review, 1892, 7, p. 291—301.

Chrysos E. Eine Konjektur zu Johannes Malalas. — JÖBG. 1966. XV.

Diller A. Excerpts from Strabo and Stephan in Byzantine Chronicles. — Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 1950, 81, p. 241—253.

Downey G. Malalas on the History of Antioch under Severus. — Transaction and Proceeding of the American Philological Assotiation, 1937, 68, p. 141—156.

Downey G. The Wall of Theodosios at Antioch. — American Journal of Philology, 1941, 62, p. 207—213.

Gleye C. E. Die Grusinische Malalasübersetzung. — BZ, 1913, XXII. S. 63—64.

Gleye C. E. Über monophysitische Spuren im Malalaswerke. — BZ, 1899, VIII. S. 312—327.

Grumel V. Jean Malalas ou Malelas. — Catholicisme, 1964, 6, p. 612.

Haury J. Johannes Malalas identisch mit Patriarchen Johannes Scholasticos? — BZ, 1900, IX. S. 337—356.

Jeffrey E. M. The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards Ancient History. — Byz., 1979, 49, p. 199—238.

Maas P. Eine neue Handschrift der Weltgeschichte des Eustaphios von Epiphaneia. — BZ, 1938. XXXVIII. S. 350.

Mercati G. A Study on the Paschal Chronicle. — Journal of Theol. Stud., 1906, 7, p. 397—412.

Nogack F. Der griechische Dictys. — Philologus, 1891—1893, 6. S. 403—500.

Patzig E. Die Abhängigkeit des Johannes Antiochenus von Johannes Malalas. — BZ, 1901, X, p. 40—57.

Patzig E. Der angebliche Monophysitismus des Malalas. — BZ, 1898, VII, p. 111—128.

Patzig E. Dictys Critensis. — BZ, 1892, I. S. 131—152.

Patzig E. Das griechischen Dictysfragment. — BZ, 1908, XVII.

Patzig E. Joannes Antiochenus und Johannes Malalas. Leipzig, 1892.

Patzig E. Malalas und Dictys führen zur Lösung eines archeologischen Problems. — Byz., 1927, 4, p. 281—300.

Patzig E. Vom Malalas zu Homer. — BZ, 1928, XXVIII, p. 1—11.

Schenk A. Von Staufenberg. Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Stuttgart, 1931.

Sotiriadis G. Zur Kritik des Johannes von Antiochia. — Jahrbücher für classische Philologie, 1888, 16. S. 1—25.

Wallon F. R. A. Neglected Historical Text. — Historia. 1965, 14, p. 241 f.

Wetkerhoff K. Studien zum Sprachgebrauch des Malalas. Oslo, 1963.

Barker J. W. Justinian and the Later Roman Empire. Madison, 1966.

Barker T. D. Constantine and Eusebius. Cambridge (Mass.), 1981.

Beck H.-G. Kirche und Klerus im staatlichen Leben von Byzanz. — REB, 1966. 24.

Beck H.-G. Res Publica Romana. Vom Staatsdenken der Byzantiner. — Bayrische Akad. Der Wiss. Phil.-Hist. Kl. Sitzungsberichte, 1970, Heft 2. S. 33—87.

Bonini R. Introduzione allo studio dell'età giustiniana, Bologna, 1977.

Bonini R. L'Oriente cristiano nella storia della civiltà. Roma, 1964.

Bury J. The Constitution of the Late Roman Empire. L., 1923.

Cameron A. Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium. Oxford, 1976.

Chastagnol A. L'évolution politique, sociale et économique du mode romain (284—363). P., 1982.

Constantelos D. J. Byzantine philanthropy and Social Welfare. New Brunswick; New Jersey, 1968.

Dagron G. L'Empire Roman d'orient au IV siècle et les traditions politique de l'Hellenisme. — TM. 1968. 3.

Dvornik F. Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background. Washington, 1966, vol. I—II.

Elia S. La civiltà del basso imperio nella storia dello civiltà antiche. — Koinonia, 1977, I.

Farina R. L'impero e l'imperatore christiano in Eusebio de Cesarea. Zürich, 1966.

Folz P. L'idée de l'empire en Occident du V^e au XIV^e siècle P., 1953.

Geanakoplos D. S. Church and State in the Byzantine Empire: a reconsideration of the problem of Caesaropapism. — Byzantine East and Latin West. Oxford. 1966.

L'imperatore Giustiano: storia e mito. Bari, 1977.

Ivanka E. Von. Rhomäerreich und Gottesvolk. Das Glauben, Staats- und Volksbewusstsein der Byzantiner und seine Auswirkung auf die ostkirchlich-osteuropäische Geisteshaltung. München, 1968.

Jones C. P. The Roman World of Dio Chrysostem. Cambridge (Mass), 1978.

Kaegi W. E. Patterns of Political Activity of the Armies of the Byzantine Empire. — In: On Military Intervention. Rotterdam, 1971, v. 2.

Karayannopoulos J. Der frühbyzantinische Kaiser. — BZ, 1956, XLIX.

Karayannopoulos J. 'Η πολιτική θεωρία των βυζαντινών — Byzantina. Thessalonike, 1970. II, p. 36—62.

Lechner K. Hellenen und Barbaren in Weltbild der Byzantiner. München. 1955.

Millar F. The Emperor in the Roman World (31 BC — 337). Ithaca, N. Y., 1977.

Morisi A. Recherche sull'ideologia imperiale a'Bizanzio. Acme, 1963, I.

Ohnsorge W. Abendland und Byzanz. Weimar, 1958.

Rosch G. ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Studien zum offiziellen Gebrauch des Kaisertitel in Spätantiker und frühbyzantinische Zeit. Wien, 1978.

Saerman E. Programmes politiques à l'époque de la crise du II^e siècle. — Cahier d'histoire mondiale, 1958. 4, p. 310—329.

Stetz S. Θεία βασιλεία. Hellenistic Theory and the foundations of imperial legitimacy AD 270—395 Ann Arbor. 1974.

Straub S. Vom Herrscherideal in der Spätantike. B., 1939.

Treitinger O. Die Oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell von Oströmischen Staats- und Reichsgedanken. Darmstadt. 1956.

Wittfogel K. A. Oriental Despotism. Study of total Power. — Gale univ. Press. 1963.

Zakythinos D. A. Etalisme byzantin et expérience hellénistique. — Mélanges H. Grégoire I. — Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves, 1950. T. 8.

Zakythinos D. La synthèse byzantine. — In: Les peuples de l'Europe du Sud-Est et leur rôle dans l'histoire. Sofia. 1966.

Kazhdan A. Hagiographical Notes. — Byz. 1984. T. 54.

Kondakov N. P. Les costumes orientaux à la cour byzantine. — Byz. 1924. T. 1.

Moravcsik Gy. Sagen und Legenden über Kaiser Basileios // DOP. 1961. Vol. 15.

Toynbee A. Constantine Porphirogenitus and his Age. L.; Oxford, 1973.

Beck H.-G. Besonderheiten der Literatur in der Palaiologenzzeit // Art et société à Byzance sous les Paléologues. Venise. 1971.

Genakoplos D. J. Bizanzio e il Rinascimento: Umanisti greci, Venezia e la diffusione del greco in Occidente (1400—1535). Roma, 1967.

Koukoules Ph. Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός. Ἀθήναι, 1954.

Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der Byzantinischen Literatur des 14. Jh. // Actes du XIV Congrès international des études byzantines. Bucarest, 1974. T. I.

Hunger H. Theodoros Metochites als Vorläufer des Humanismus in Byzanz // BZ, 1952. Bd. 27.

Hunger H. Zur Synkrisis des Manuel Chrysoloras, einem Vergleich zwischen Rom und Konstantinopel: Ein Beitrag zum italienischen Frühhumanismus // Klio. 1980. Bd. 60.

Kristeller P. Italian humanism and Byzantium // Renaissance concepts of man and other essays. N. Y., 1972.

Masai F. Pléthon et le platonisme de Mistra. P., 1956.

Medvedev I. P. Tendences vers une renaissance dans la culture byzantine tardive // Βυζαντικά, 1984. T. 4.

Runciman S. The last Byzantine Renaissance. Cambridge, 1970.

Setton K. The byzantine background of the italian Renaissance // Europe and the Levant in the Middle Ages and the Renaissance. L., 1974.

Sevčenko I. Theodore Metochites, the Chora and the intellectual background / Ed. P. Underwood. Princeton. 1975. Vol. 4.

Beck H.-G. Theodoros Metochites: die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. München. 1952.

Beyer H.-V. Nikephoros Gregoras als Theologe und erstes Auftreten gegen die Hesychasten // JÖB. 1971. Bd. 20.

Blume W. Georgios Gemistos Plethon: Politik, Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich, 1355—1452. Stuttgart, 1988.

Moutsopoulos E. Platon et la philosophie byzantine: Actualité et perspectives // ΕΕΒΣ. 1969/1970. T. 37.

Nikolau Th. Grundelgende über die byzantinische Philosophie // Byzantina. 1977. T. 9.

Turner C J Pages from Late Byzantine philosophy of history // BZ. 1964. Bd. 57.

Beck H. G. Reichsidee und nationale Politik im spat-byzantinischen Staat // Ideen und Realitäten in Byzanz. L., 1972.

Beck H.-G. Res Publica Romana: vom Staatsdenken der Byzantiner // Das Byzantinische Herrscherbild. Darmstadt 1975.

Dieten J. L. van. Politische Ideologie und Niedergang im Byzanz der Palaiologen // Ztschr. Hist. Forschungen. 1979. Bd 6, H. 1.

Hunger H. Prooimion: Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden. Wien, 1964.

Шангин М. А. Письма Арефы — новый источник о политических событиях в Византии 931—934 гг. // ВВ. 1947. Т. 1.

Ahrweiler H. Un discours inedit de Constantin VII Porphyrogenète. — TM, 1967 Т. 2.

Dehl Ch. Le Sénat et le peuple byzantin aux VII siècle // Byz. 1924. Т. 1.

Every G. The Byzantine Patriarchate, 451—1204. London. 1962.

Harkianakis St. Die Stellung des Kaisers in der byzantinischen Geistigkeit, dogmatisch gesehen // BYZANTINA. 1971. Т. 3.

Hussey J M The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford. 1986.

Karayannopulos J 'Η πολιτική θεωρία τῶν βυζαντινῶν. — Βυζαντινα. 1970. Т. 2.

Olster D. Priest and Emperor in the Seventh Century // The 17th International Byzantine Congress. 1986. Abstracts of short Papers. Wash., 1986.

Petrutakis J M Interventions dynamiques de l'empereur de Byzance dans les affaires ecclésiastiques // BYZANTINA. 1971. Т. 3.

Podskalsky D Byzantinische Reichsideologie: Die Periodisierung der Weltgeschichte in den vier Grossreichen und dem Tausendjährigen Eriedensreiche. Eine motivgeschichtliche Untersuchung. Munchen, 1972.

Runciman S. The Emperor Romanus Lecapenus. Cambrige. 1929

Runciman S. The Eastern Schism. Oxford, 1955.

Speck P. Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft München, 1978.

Thomas C. Private religions Foundations. Wash., 1988.

Trojanos Sp. Die Sonderstellung des Kaisers im früh- und mittelbyzantinischen kirchlichen Prozess // BYZANTINA. 1971. T. 3.

Tsirpanlis C. N. Byzantine Reactions to the Coronation of Charlemaque (780—813) // Byz. 1974. T. 6.

Tsolakes E. Th. 'Η Συνεχεια της χρονογραφίας του 'Ιωαννου Σκυλιτση Θεσσαλονίκη 1968.

Vogt A. Hausherr J. Oraison funebre de Basil I par son fils Leon VI le Sage // OC 1932. T. 26.

Winkelmann F. Staat und Ideologie bei Ubergang von der Spätantike zum byzantinischen Feudalismus // Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den frühen Jahrhunderten // Hrsg. H. Kopstein. B., 1983.

Anastasi R. Studi sulla «Chronographia» di Michele Psellos. Catania. 1969.

Beck H. G. Zur byzantinischen «Monchschronik» // Speculum historiale. Freiburg; München, 1965.

Browning R. Notes on the «Scriptor incertus de Leone Armenio» // Byz. 1965. T. 35.

Bury J. B. The Treatise De administrando imperio // BZ. 1906. Bd. 15.

Gadolin A. A. Theory of History and Society with Special Reference to the «Chronographia» of Michael Psellos. Stockholm; Göteborg; Uppsala, 1970.

Gerald E. Die Grundlagen der Byzantinischen Geschichtsschreibung // Byz. 1933. T. 8.

Gregoire H. Un nouveau fragment du «Scriptor incertus de Leone Armenio» // Byz. 1936. T. 11.

Jenkins R. The Chronological Accuracy of the «Logothete» for the Years A. D. 867—913 // DOP. 1965. N 19.

Jenkins R. The Classical Background of the Scriptores post Theophanem // DOP. 1954. N 8.

Katsaros V. A Contribution to the Exact Dating of the Death of the Byzantine Historian Nicetas Choniates // JOB. 1982. Bd. 32/2.

Kazhdan A. P. Some questions addressed to the scholars who believe in the authenticity of Kaminiates' «Capture of Thessalonica» // BZ. 1978. Bd. 71. Fase 2.

Kresten O. Phantomgestalten in der byzantinischen Literaturgeschichte // JÖB. 1976. Bd. 25.

Lampsides O. Δημοσιεύματα περί την Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μανασσῆ. Ἀθήναι, 1980.

Ljubarskij J. N. Théophanes Continuatus und Genesios: Das Problem einer gemeinsamen Quelle // BS. 1987. T. 48.

Marcopoulos A. Συμβολή στή χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ. — Σύμμεικτα. 1985. T. 6.

Marcopoulos A. Theodore Daphnopatès et la Continuation de Théophane // JÖB. 1985. Bd. 35.

Neumann C. Griechische Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jh. Leipzig, 1888.

Schreiner P. Das Herrscherbild in der byzantinischen Literatur des 9. bis 11. Jh. // Saeculum. 1984. Bd. 35.

Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken. Wien. 1975—1979. Bd. 1—3.

Sorlin I. La diffusion et la transmission de la littérature chronographique byzantine en Russie pré-mongole du XI^e au XIII^e siècle // TM. 1973. T. 5.

Sreznevskij V. I. Slavjanskij perevod chroniki Simeona Logofeta // Intr. by G. Ostrogorsky. pref. By I. Dujčev. L., 1971.

Tapkova-Zaimova V. Die byzantinische Chronographie, Wesen und Tendenzen // Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus. 1984. Bd. 8.

Treadgold W. T. The Chronological Accuracy of the Chronicle of Symeon the Logophete for the Years 813—845 // DOP, 1979. N 33.

Turtledore H. The Date of Composition of the Historia Syntomos of the Patriarch Nikephoros // Byzantine Studies in Honour of Milton V. Anastos (Byzantina kai Metabyzantina. T. 4). Malibu (California), 1985.

Mavromatis I. Storia del pensiero politico // La civiltà byzantina dal XII al XV secolo. Roma. 1982.

Teoteoi T. La conception de Jean VI Cantacuzène sur l'état byzantin, vue principalement à la lumière de son Histoire // RESEE. 1975. T. 13.

Tretinger O. Die oströmische Kaiser und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell. Darmstadt, 1956.

Arnakis G. George Pachymeres — A Byzantine humanist // Greek Orthodox Theological Rev. 1966—1967. Vol. 12.

Dieten J.-L. Entstehung und Überlieferung der Historia Rhomaike des Nikephoros Gregoras. Köln, 1975.

Hunger H. Thukydides bei Johannes Kantakuzenos: Beobachtungen zur Mimesis // JÖB. 1976. Bd. 25.

Kazhdan A. P. L'Histoire de Cantacuzène en tant qu'oeuvre littéraire // Byz. 1980. T. 50. Fasc. 1.

Barker J. W. Manuel II Paleologus (1391—1425): A study in late byzantine statesmanship. New Brunswick (N. J.), 1969.

Geanakoplos D. Emperor Michael Palaeologue and the West. 1258—1282; A study in Byzantine-Latin relations. Cambridge, 1959.

Gill J. Byzantium and the Papacy. 1198—1400. New Brunswick (N. J.) 1979.

Inalcik H. The Ottoman Empire: The classical age 1300—1600: History of civilization. L., 1973.

Kyrris C. John Cantacuzenus and the Genoese. 1321—1348 // Miscellanea Storica Ligure. Milano. 1963. Vol. 3.

Kyrris C. John Cantacuzenus, the Genoese, the Venetians and the Catalans (1348—1354) // Byzantina. 1972. T. 4.

Latou A. Constantinople and the Latins: The foreign policy of Andronicus II Palaeologus, 1282—1328. Cambridge (Mass), 1972.

Lemerle P. L'émirat d'Aydin, Byzance et l'Occident: Recherches sur la Geste d'Umur Pacha. P., 1957.

Meyendorff J. Byzantium and the rise of Russia: A study of Byzantine-Russian relations in the XIVth century. Cambridge, 1981.

Obolensky D. The Byzantine commonwealth: Eastern Europe, 500—1453. L., 1971.

Vryonis Sp. (Jr.) The decline of medieval hellenism in Asia Minor and the process of islamization from the XIth through the XVth century. Berkeley; Los Angeles, 1971.

Werner E. Die Geburt einer Grossmacht — die Osmanen (1300—1481): Ein Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus. Weimar, 1985.



СОКРАЩЕНИЯ

- Ап УРСР — Археологічні пам'ятки УРСР (Київ)
ВИ — Вопросы истории
ИФЖ — Историко-филологический журнал (Ереван)
СЭ — Советская этнография
BF — Byzantinische Forschungen

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- | | |
|------------|---|
| АДСВ | — Античная древность и средние века |
| ВВ | — Византийский временник |
| ВДИ | — Вестник древней истории |
| ЖМНП | — Журнал Министерства народного просвещения |
| ЗРВИ | — Сборник трудов Византологического института |
| Изв. ГАИМК | — Известия Государственной Академии истории материальной культуры |
| AHR | — American Historical Review |
| BNJ | — Byzantinisch-Neugriechisches Jahrbuch |
| BS | — Byzantinoslavica |
| Byz | — Byzantion |
| BZ | — Byzantinische Zeitschrift |
| CQ | — Classical Quarterly |
| DOP | — Dumbarton Oaks Papers |
| JÖB | — Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik |
| JÖBG | — Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft |
| JRS | — Journal of Roman Studies |
| OC | — Oriens Christianus |
| REB | — Revue des Etudes Byzantines |
| REG | — Revue des Etudes Grecues |
| RESEE | — Revue des Etudes Sud-Est Européenes |
| TM | — Travaux et Mémoires |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Творческий мир византийской литературы (Византийское литературоведение: традиции и современность)	5
--	---

РАННЕВИЗАНТИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Позднеантичная историческая проза (IV—V вв.) . .	40
2. Церковные историки	47
3. Прокопий и становление раннесредневековых принципов византийской историографии	57

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

1. Хронография: Феофан и его последователи	80
2. Историография эпохи «Византийского энциклопедизма»	94
3. Историческая поэзия эпохи «великих битв»	109
4. К проблеме историзма византийской историографии . .	121
5. Михаил Пселл и его современники	128
6. Историческая проза эпохи Комнинов	142
7. Историческая поэзия и риторика эпохи Комнинов .	160
8. Византийская историческая метафрастика	181
9. Мемуарная литература и Никита Хониат	186

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ (XIII—XV вв.)

1. Византийский историзм периода Никейской империи	221
2. Итало-византийские поэты	230
3. Гуманистические аспекты исторической прозы палеологовской Византии	235
4. Историческая проза эпохи османского завоевания и падения Византии	249

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. К проблеме средневекового историзма	267
---	-----

СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ	285
---------------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ	287
------------------------	-----

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	316
-----------------------------	-----